РОМАН-ГАЗЕТА
1
(1103) 1989
ИЗДАНИЕ ГОСКОМИЗДАТА СССР
МОСКВА
Анатолий Знаменский
КРАСНЫЕ ДНИ
РОМАН-ХРОНИКА
полка подъес. Филиппъ Казьмич Мироновъ.

Анатолий Дмитриевич ЗНАМЕНСКИЙ родился в 1923 году в хуторе Ежовском, ныне Алексеевского района Волгоградской области, в семье крестьянина.

Окончил десятилетку и Высшие литературные курсы.

В 1940 году был незаконно репрессирован и долгие годы находился в заключении и ссылке в Коми АССР. Сменил немало профессий: был строителем-разнорабочим, десятником каменного карьера, старшим нормировщиком и начальником отдела труда и заработной платы в управлении Верхне-Ижемского разведочного района, завотделом в районной газете «Ухта», редактором альманаха «Кубань».

Автор романов «Неиссякаемый пласт» (1950), «Ухтинская прорва» (1958), «Иван-чай» (1963), «Как все» («Год первого спутника», 1965), повестей «Сыновья Чистякова» (1961), «Осина при дороге» (1966), «Обратный адрес» (1967) и других произведений.

Член правления Союза писателей РСФСР.

Отдельные произведения переведены на иностранные языки, а также языки народов СССР.

РОМАН-ГАЗЕТА

ИЗДАНИЕ ГОСКОМИЗДАТА СССР
МОСКВА

1 (1103) · 1989
Основана в 1927 г.

Анатолий Знаменский

КРАСНЫЕ ДНИ

РОМАН-ХРОНИКА

И ложь оставалась ложью,
И правда становилась правдой.
Из Книги Бытия

Правда, являясь двигателем лучших, возвышенных сторон человеческой души... в своем голом виде тяжела, и кто поведет с нею дружбу, завидовать такому человеку не рекомендуется... Но жить без нее немыслимо. И всю жизнь я тянусь к этому идеалу...
Ф. К. Миронов. Из дневника

С первых дней июля 1906 года — в канун разгона Государственной думы в Петербурге — на паромном перевозе через Дон под окружной станицей Усть-Медведицкой дежурил неусыпно полицейский пристав Караченцев с нарядом казаков-сидельцев из станичного правления. Было предписание на арест зачинщика крупных беспорядков в округе подъесаула Миронова, недавно уехавшего с бунтарским приговором станичного общества в Петербург...

Когда именно возвратится подъесаул Миронов, никто не знал; арестовать же его, вместе с верным ему урядником Коноваловым, следовало тайно от населения, не производя волнения в станице, а поэтому дежурство было упредительное, на переправе.

Одна из самых многолюдных станиц Верхнего Дона Усть-Медведицкая (до пятнадцати тысяч казачьего, чиновного, учительского, духовного и прочего населения) громоздилась на высоком береговом обрыве вокруг золотоглавого собора, гимназии и купеческих лавок, сползая окраинными усадьбами и левадами по оврагам и широким водомоинам к берегу. Выше переправы, с левого лугового берега, в Дон впадала быстрая речка, разгульная в половодье, про которую издавна говорилось в присловье, что «невелика она, речка Медведица, а тихий Дон повернула...». И верно, за станичной горой широкий Дон резко забирал в сторону, кренился, точно конный казак на крутом повороте, и так, на много верст, река шла как бы набекрень до самой Иловли, чтобы окончательно

выправиться к закатной стороне, к Азову. Поил Дон рыбное, камышовое Приазовье с лиманами, а после вода его, голубая и чистая, пропадала в чужой безбрежности, за Керчью.

Перевозчик дед Евлампий, неряшливый казачишка, с нечаянным Георгиевским крестником на зипуне, сидевший все эти дни на краю парома вместе с приданными приставу старослужилыми казаками, так и говорил, что Дону-кормильцу тут бы вся статья пробиться ближним путем к Волге — промежутку-то оставалось меньше ста верст! — да слиться воедино, чтоб напоить Каспий, тогда бы и суховеев стало меньше. Да не получалось по верховой прикидке, немыслимо было обороть Дону все левобережные притоки. Так уж вышло в природе, что от самого Ельца, вон с каких русских высот, не вливалось в Дон ни малой, ни большой речки с правого, нагорного берега, а все били и плескали через край бешеные в паводки левосторонние притоки: Воронеж, Россошь, Икорец, Песковатка, чистый и светлый Хопер со своими притоками Карачаем, Еланью и Бузулуком, а тут и Медведица довершала дело. Кренился Дон, подмывал меловые кручи, где-то выше станицы выбивал в крутояре пещеры и водомоины и каждое лето выносил из старых, забытых погребений человеческие кости и обломки черепов на белую, песчаную косу против станицы. Ради их стараниями игуменьи здешнего монастыря поставлена была на высоком месте малая часовенка с шатром и зеленой луковкой купола, а в ней вырыт сухой колодец-склеп. Юные монахини собирали на косе и хоронили в колодце, в тихой глубине, старые казачьи кости. Дабы бродячие собаки не растаскивали их по округе.

Теперь многие считали, что те останки Дон выбирал из подмытого древнего кладбища, но самые старые жители упорно рассказывали одну и ту же легенду, не слабевшую с годами и как бы вписавшую в окрестном лесу и над белой горой, вокруг монастырских стен и упокойной часовенки. От старых молодым переходило сказание о том, что в давние времена монастырь был другой, не женский, а мужской, чернецкий, и располагался много выше, под крутой Соколиной горой. И будто в ту пору московский царь Петр Первый подавлял уже в несчетный раз казачью вольность на Дону, пытал и казнил мятежных булавинцев, выжигал дотла их городки, а население, частью, полуживое, под страхом солдатского штыка и кровавой казни загонялось гуртом обратно в помещичью и боярскую кабалу, частью, умерщвленное, пускалось на плавучих виселицах вниз по Дону... И вот разорили и выжгли солдаты-батальщики будто бы одну ближнюю станицу, начали развешивать строевых казаков на плавучие рели, а бабы с малолетками тем временем кинулись по зеленому займищу и речным излукам в бегство к монастырю, спасения искать. И велел тогда игумен старый раскрыть врата и дать приют несчастным и обездоленным казачьим женам с их малыми детьми. Но не было спасения и в самом приюте божьем; подошли батальщики в зеленых заморских мундирах, подняли бревно-сокол, ударили с размаху и пошатнули крепкие, глухие ворота, столетние дубовые верен. И вскричали в последнем отчаянии и заголосили матери, и заплакали невинные дети, треснули тесовые заплоты, обрушилось железо на души человечьи. И вздел игумен костлявые руки к небу и послал проклятия богу: «Если уж в храме твоем, господи, нет спасения сирым и обиженным, то не щади человеков боле, засыпь нас землей заживо, чтоб не терпели мы сверх силы своей». И ударил будто бы троекратно гром небесный со страшной силой и расколол нависавшую над монастырем и ближней округой Соколиную гору. Одна половина ее выдержала поднебесный удар и осталась над водой крутым обрывом, а другая рассыпалась до основания и упала тяжкой лавиной на монастырь и окрестный лес, погребла заживо и чернецкую братию, и жен казацких с малыми детьми, и карателей-солдат. Велик был гнев божий, и оттого погибли все — и грешные, и праведные. И теперь на песчаной косе за Доном никто не мог отличить черную кость грешника от святой косточки праведника. Да и люди, грешные и беспамятливые, не видели, по обыкновению, в том нужды...

С паромного причала видна была вся округа как на ладони — с зеленым займищем поймы и белым обрывом под станицей, с каменными колокольнями монастыря на отдалении и упокойной часовенкой близ Медведицы. Пожилые казаки-сидельцы хмуро вздыхали, слушая деда Евлампия, а пристав Караченцев в своем жарком по летнему времени, пропотевшем обмундировании тяжело и безучастно прохаживался на палубе, то и дело поглядывая на пустынную дорогу. Дорога уводила по лугам и займищу к далекой станции на железной дороге, Себряково, откуда мог с часу на час прибыть подъесаул Миронов.

Деды говорили меж собой и думали про жизнь, пристав же делал вид, что не замечает их и не слушает пустые стариковские побывальщины. Но всем вместе и каждому в отдельности было как-то неуютно на этом свете, глухая тревога выгрызала душу. С давних пор в мире божьем что-то повернулось не так, напротив сути человеческой, восторжествовала какая-то неведомая им и не имеющая звания, но определенно враждебная людям сила, страшная и неумолимая, как рок...

— От Петра это пошло, от Анны Иоанновны с немцем Бироном, говорят, все эти мундеры зеленые, казни неправые, деньга фальшивая...— в раздумье проговорил самый ветхий сиделец с нашивкой приказного на слинявшем от времени погоне и со шрамом наискосок морщинистого лба, как от удара плетью.— А може, еще от поганого самозванца-латинянина, что под Димитрия-царевича рядился?

— Кабы от кого одного, так скоро б разобрались...— вздохнул рассказчик, дед Евлампий.— Да в том дело, что много их на нашу беду, и всякая Идолища, по сказу,— о трех головах! Одну голову токо видно, а другие из-за тына либо ставни тебя ж на мушке и держут!

Старик-приказный искоса глянул на пристава, по-прежнему озиравшего пустынную дорогу к станции, и вздохнул тоскливо:

— Вот жизня-то выпала, прости господи, куда ни

кинь — кругом клин. И при ясном-то солнышке тьма египетская кругом!

Пристав Караченцев слышал, конечно, голоса стариков и понимал, о чем у них шла речь. И потому был особо насторожен и готов ко всему. В их потаенной беседе тоже была заключена некая гордыня человеческая и непокорство перед той самой окаянной силой, которую не дано обороть или обойти никому. Старики-сидельцы, по сути, были единомышленники подъесаула Миронова, да и вся станица сочувствовала ему, так что положение Караченцева как человека, приставленного к закону, было отчасти двусмысленным.

Раздумывал о Миронове.

Отец его, Кузьма Фролович, хотя и урядник, но слабосильный хлебороб с хутора Буерак-Сенюткин, не сумел по засушливому времени прокормить большой семьи со скудного земельного пая в шесть десятин, переехал на жительство в окружную станицу, стал возить на паре быков донскую воду в сорокаведерной бочке на верхние улицы. Богатые жители за неимением водопровода платили по гривеннику за ведро. Надумал урядник выводить в люди сметливого и проворного сына, отдал в гимназию. Филипп, умственно развитой мальчик, хорошо скакал, джигитовал, в пятнадцать лет водил за собою ватажки казачат, подавал надежды. Но с учением дальше второго класса гимназии ему не улыбнулось. После покушения на государя-императора Александра Третьего в Петербурге — а в деле активно участвовал студент из донских казаков Василий Генералов — вышел тогда высочайший указ: очистить все гимназии на Дону от детей «простого звания», сыновей рядовых казаков... По отцовской нижайшей просьбе взяли Филиппа переписчиком в канцелярию мирового судьи, а спустя время, при самых лучших характеристиках, писарем к окружному атаману. Служил исправно, подсоблял отцу, бесплатно составлял прошения всем нуждающимся казакам, понимал уже и по адвокатской части, так что еще до службы стал известным едва ли не на весь округ.

Один раз шел рыбалить по лесу, близ монастыря. Как любой из молодых станичных парней: на ногах простые чирики, шаровары с лампасами закатаны до колен, на плече пара удилищ и весло. Никаких мыслей, кроме рыбалки, в голове не было, одни сомы да сазаны. А возможно, и были уже мыслишки насчет «общественной справедливости»: к этому времени водил он дружбу с поднадзорным студентом Поповым Александром, который ныне ходил в писателях. Этот Попов-Серафимович готовил Филиппа Миронова к сдаче экзаменов в гимназии экстерном...

На спуске увидел Филипп: мелькнула к обрыву тонкая, обернутая в черную рясу, женщина. Побежал следом, екнув душой, угадав неладное в ее порыве. Уже над самым обрывом успел схватить за руку.

Монашке было лет шестнадцать, а бежала к Дону то ли утопиться с горя, то ли посидеть на круче и подумать над погибельной судьбой, слезу обронить в глубокое место перед скорым пострижением. Сначала ничего не говорила с испуга, только молилась быстрым крестом. И когда отвел он с ее лица черный плат, увидел слезы в три ручья да испуганные черные глаза, смотревшие со страхом и надеждой на мирянина. Рассказала послушница, что пропадает в заточении не по своей воле, а по отцовскому святому обету, данному перед кровавым боем на высокой балканской горе Шипке. Поклялся отец, что за спасение его жизни и ради семерых малых детей, оставшихся дома, пожертвует он младшую дочь на вечное служение богу — только бы оборонил господь от смерти и тяжкой раны! И возымела силу тяжкая клятва: вернулся отец к семье живым и здоровым, а генерал Скобелев побил турок... Через три дня — пострижение, а Стефанида душою на волю и в мир рвется. И нет ей никакого спасения, потому что духовную клятву с человека никто не волен снять, даже Священный Синод откажет...

Филипп Миронов, как уже стало теперь ясно, голову имел светлую, а сердце у него, по мнению многих, просто детское. Чья бы беда около ни ходила, какая бы слеза ни капнула, в душе у него — боль и, главное, неодолимое желание помочь, заслонить собственной грудью.

А тут речь шла о человеческой жизни.

Взял Филипп ее за тонкую, слабую руку и повел в станицу, в канцелярию окружного атамана. Знал, что духовный обет снять могут лишь мирские обязанности и долг человеческий перед самой Жизнью.

— Хочу на этой послушнице жениться, ваше высокоблагородие,— сказал писарь Миронов атаману-полковнику.— Пропадает чистая душа по давнему обету, а грехи пускай отмаливают за нас старые да убогие... Прошу вашего благословения, ради того хоть, чтоб племя казачье не убывало.

— По любви и согласию?— усмехнулся полковник. Он усматривал по-своему некую вынужденную обязанность Миронова к свадьбе, чего пока еще не было. И в своем положении и со своей просьбой Миронов не мог и не хотел возражать атаману.

— По любви и согласию,— пролепетала юная Стефанида, опустив глаза.

— По любви и согласию,— подтвердил Филипп.

Шел ему в ту пору восемнадцатый год...

Отец Стефаниды был казак состоятельный, свадьбу закатил такую, что все смутительные разговоры угасли. И на свадьбе той пролил радостные слезы: он даже подумать не мог еще вчера, что простой смертный может при чистом сердце и бескорыстном желании снять высший духовный обет другого человека.

После был призыв на службу, учения, бешеные скачки и призы, хвала начальства, юнкерское училище в Новочеркасске. Вышел Миронов подхорунжим, по второму разряду,— по первому выпускались только дети сословных казаков, дворян,— отслужил положенное, вышел на льготу. Выбрали Филиппа Миронова даже станичным атаманом в ближней Распопинской станице, но не ужился с начальством, начал выгадывать льготы и послабления своим безлошадным станичникам, а его, милого, к окружному: «Сотник Миронов, опять своевольные выдумки — на службе? Как смеете волновать казачество! С таким легкомыслием вы вряд ли оправдаете надежды, которые все мы питали, когда посылали в училище!»

— В таком случае, ваше высокоблагородие, забирайте насеку, разрешите взять шашку. Сегодня же подаю рапорт — добровольцем на войну с японцами!

— Похвально,— сказал полковник.

Сходил Миронов на войну, привез четыре офицерских ордена и славу на весь округ! Кампания на Дальнем Востоке, конечно, вышла во всех отношениях неудачной, но казаки-разведчики под командой Миронова и его друга сотника Таранина прошли по ночам дерзкими рейдами вдоль и поперек Маньчжурию, порезали телефонные линии, взяли много пленных. Бригадный генерал Абрамов поставил однажды Миронова перед строем и приказал полкам кричать «славу» сотнику Миронову — «герою тихого Дона». Донская газета частенько прославляла героев-земляков, дабы смягчить неутешительные сводки о ходе войны в Порт-Артуре и в особенности на море. Даже столичная «Нива» поместила фотографии Миронова и Таранина «с места события». Миронов на боевых позициях бороды не брил и в чем-то неуловимо напоминал на фотографиях Емельяна Пугачева...

Грудь у Миронова довольно широкая и блестит вроде иконостаса: ордена Святой Анны третьей и четвертой степени — за сметку и хладнокровие в поиске по вражьим тылам, Станислав третьей степени и Владимир с мечами и бантом — за отвагу и храбрость в рукопашных схватках, пленение желтых самураев. «В солнечный день поглядишь и зажмуришься»,— невесело размышлял пристав Караченцев. Главная же опасность заключалась, разумеется, не в наградах, а в невиданном авторитете Миронова среди казаков 26-го полка и всей 4-й Донской дивизии, возвратившейся теперь с войны, окружавшей неким ореолом его имя, да и местные казаки-сидельцы тоже сочувствовали ему...

Пристав Караченцев не мог, откровенно говоря, понять поступков Миронова, и, как все непонятное, они досаждали чем-то ему. В особенности презирал пристав неподходящую дружбу Миронова с цивильными гимназическими учителями, «шпаками», бывшим поднадзорным студентом Поповым и полукрамольным писателем Федором Крюковым, а также приезжающими на лето в станицу студентами и всей этой шумящей, бунтующей интеллигенцией, которая в дачное время наводняла станицу. Да и сам Миронов читал много книг, на сходках декламировал стихи — не офицер, а какой-то «сверхсрочный» студент, право слово!

Как его арестовывать, когда он поехал в Санкт-Петербург ходатаем от всей станицы? Если к тому же заявится он сюда средь бела дня, да в людный час, да соберется толпа?

Палуба парома нехорошо зыбнулась под ногами пристава. Жара как бы изнутри распекала и лишала упругости душу и тело, а дорога к станции по-прежнему пустовала. Кресты над дальними монастырскими куполами плавились под солнцем и слепили глаза.

— Марчуков! — окликнул пристав старшего казака с нашивкой приказного.— Ты, Марчуков, подежурь тут с исправностью, я отойду на час... Гляди по дороге: в обывательской повозке он вряд ли поедет, а какие дрожки либо тарантас покажутся, так зови! — и показал на дощатую будку паромщика под прохладной камышовой кровлей.— Да смотри у меня, брат, в оба. Сам знаешь, что с ним шутки плохи!

ДОКУМЕНТЫ

Из представления прокурора Усть-Медведицкого окружного суда об отказе станичного сбора послать казаков на охранную службу внутри империи
1906 года, 8 июля

В дополнение к представлению от 30 июня сего года № 1193 доношу вашему превосходительству, что из препровожденной мне канцелярией войскового наказного атамана войска Донского от 3 июля сего года переписки усматриваются нижеследующие обстоятельства:

Усть-Медведицкий станичный атаман, получив 11 июня с. г. объявление о состоявшемся Высочайшем повелении о вызове на службу трех сводных полков, назначил сбор на 18 июня. Когда к означенному сроку явились вызванные должностные и выборные лица, атаман объявил сбору сущность приказа. По выслушании такового члены сбора единогласно возразили, что «проверять очередных списков не будут, своих казаков на службу не пошлют, ибо мобилизованные казаки 2-й и 3-й очереди служат не государю, а несут полицейскую службу, охраняя имущество помещиков».

Дознаниями, произведенными после, было установлено, что в составе сбора находилось значительное количество посторонних лиц и, кроме подъесаула Миронова и дьякона Бурыкина, на сборе присутствовали студенты Агеев и Фомин, какие-то учителя и другие. Возбужденное настроение казаков, бывших в сборной комнате, и присутствие посторонних лиц, обсуждавших вопросы внутренней политики, придавали казачьему сбору характер митинга...

При дознании были допрошены некоторые бывшие на сходе лица, и между прочими названные Миронов, Бурыкин, Агеев и сотник Сдобнов, которые показали:

МИРОНОВ — что 18 июня он присутствовал на сборе, так как слышал, будто бы на сборе будет обсуждаться земельный вопрос, в котором он лично заинтересован. Находясь в правлении, он слышал голоса: «Не дадим...» Ему, Миронову, совершенно неизвестно, кто влиял на казаков при составлении приговора. По-видимому, никто не влиял, так как, по его мнению, у казаков просыпается самосознание, вследствие чего такие же приговоры составлялись не только в станице Усть-Медведицкой, но и в станице Распопинской, в станице Кепинской и других. По просьбе выборных он, Миронов, действительно читал по газетам речи донских депутатов в Государственной думе, а затем согласился отвезти в Петербург составленный сбором приговор...[1]

[1] 1905 год в Царицине: Сб. документов. Волгоград, 1960, с. 166—169.

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

Казаков и казачек хутора Заполянского Усть-Медведицкого округа области войска Донского

Заявление

Выражая свое полное сочувствие Государственной думе, как народному законодательному учреждению, и поддерживая все требования, предъявленные Думою правительству в ее ответном адресе на тронную речь, мы — казаки и казачки хутора Заполянского — горячо протестуем против правительства, не желающего считаться с народом в лице его представителей.

1. АМНИСТИЯ для политических заключенных, пострадавших за народное дело. 2. ЗЕМЛЯ для малоземельных и безземельных крестьян. 3. СВОБОДА для всех граждан Российской империи. 4. Введение в России НАРОДОВЛАСТИЯ — все эти требования, предъявляемые Думою правительству, были всегда заветной мечтой всего русского народа. И если правительство нашло возможным отказаться перед лицом Государственной думы от немедленного удовлетворения всех этих требований, то этим оно открыто заявило, что не желает служить народу. Но, не желая служить народу, оно тем самым освобождает весь русский народ от обязанности служить ему. Теперь служить правительству — значит изменять Родине и Отечеству. Ввиду всего этого мы, казаки и казачки хутора Заполянского, через посредство Государственной думы требуем от правительства немедленного освобождения казаков 2-й и 3-й очереди от охранной службы, так как считаем эту службу позорной для чести казачества и не соответствующей интересам всего русского народа. Казачество всегда проливало свою кровь за свободу и справедливость, а потому мы надеемся, что и теперь оно не замедлит стать в рядах крестьян и рабочих, борющихся с правительством и помещиками за свободу и землю.

1906 года, 6 июля[1].

Известный писатель, постоянный сотрудник журнала «Русское богатство», а ныне депутат Государственной думы от верхнедонских округов Федор Дмитриевич Крюков снимал обычно номер в гостинице «Пале-Рояль» на Пушкинской. Об этом предупредил отъезжающих студент Павел Агеев, который боготворил своего земляка-писателя и знал о нем решительно все. Приказал записать адрес для верности, но записывать не стали, Коновалов уверил, что он и без того запомнит слово «рояль», а Миронов от души рассмеялся и сказал, что с таким вестовым, как урядник, они нигде не пропадут... А что касается рыболовной прутяной сапетки с торчащим из нее луговым сеном нынешнего укоса, которую Павел навязал им в Петербург, то ее следовало бы увязать в мешок, что ли, дабы не удивлять встречных на Невском. Но взять эту захолустную плетенку все же приходилось не только ради шутливого приветствия «с берегов родной Медведицы», но и потому, что никакая другая упаковка не шла в сравнение с нею для хранения бутылок с игристым цимлянским...

Мокрый Санкт-Петербург, как и следовало, встретил донцов реденьким, сенокосным дождичком в накрап, запахом теплого асфальта и неожиданным парадом. Полицейский на перроне с нафабренными усами вытянулся в струну и машинально кинул правую руку под козырек, ошалев, видно, перед четырьмя новенькими орденами на груди поджарого и лихого на вид казачьего офицера, и сделал медленный полуоборот, провожая глазами. А едва погрузились в пролетку и свернули на Лиговку, выехал наперерез казачий патруль, полусотня красно-голубых атаманцев. И пока пропускали их у перекрестка, молодцеватый хорунжий успел рассмотреть смышлеными глазами седоков в родимом обмундировании и вдруг выдернул шашку «на караул». Негромко, внушительно бросил в строй не то команду, не то просьбу, как-то по-свойски смеясь глазами:

— Г-герою маньчжурских полей подъесаулу Миронову, братцы, — ура!

Полусотня дружно и взахлеб рявкнула, словно на высочайшем смотре. Кони заплясали, поджимая крупы, проплыли мимо веселые лица казаков, высокие, заломленные фуражки с широкими красными околышами, скрипучие ремни и седла. Миронов привстал и откликнулся, не скрывая волнения:

— Хоперцам и родной Усть-Медведице... Здорово, братцы!

Молодцеватый хорунжий кинул шашку в ножны и кивнул прощально. Задние казаки оглядывались, белозубо скалились. Коновалов, геройский в бою и простоватый в жизни сверхсрочник, не упустил случая погордиться:

— Вас что, Филипп Кузьмич, должно, по газетам сымали? Ежели и дальше так, то и желать, как говорится... Это ж надо — на первом перекрестке, как своего!..

— Нет, Коновалов, не снимали для газет,— засмеялся Миронов.— Просто в офицерском собрании у них, скорей всего, вывешивали карточку. Вот и запомнил, видно, хорунжий. А дальше будет совсем весело! Особо — на новочеркасской гауптвахте.

Лицо Миронова — энергичное и крепкое, с прищуром острых глаз — стало непроницаемым, каким оно становилось в самом начале трудного поиска в разведке или перед конной атакой. Тогда начиналась стремительная и захватывающая работа мысли, трудное состязание ума и воли с возникающими препятствиями в боевой обстановке, и надо было — коль ты уж назвался казачьим офицером! — найти лучший, единственно победный ход, чтобы сделать дело (иной раз заведомо невыполнимое), а вместе с тем спасти и себя, и людей, и лошадей даже, чтобы выйти к своим в полной форме...

Он так и сошел с пролетки у подъезда гостиницы — молча, с сосредоточенной усмешкой, хотя находился теперь отнюдь не на вражеской территории. Расплатился с извозчиком и, пока урядник снимал тяжелый баул и другие вещи, кликнул швейцара.

Номер Крюкова был в бельэтаже, и хозяин ока-

---

[1] Архив историка Д. С. Бабичева. Копия.

зался дома. Начались объятия и восторги, распаковка вещей, и, когда Коновалов водрузил на изящный, под красное дерево, боковой столик аляповато-громоздкую шпротяную сапетку с торчащим из нее клоком волглого сена, Федор Дмитриевич вовсе растрогался:

— Ну, молодцы, ну, окаянные разбойнички с родимого Дона, что придумали, а? — радостно и с преувеличенной горячностью обнимал он Миронова и оробевшего урядника и все оглядывался в глубь большой комнаты-залы, где в креслах сидел какой-то осанистый, барственно-важный человек в костюме-тройке, с темным галстуком, с окладистой бородкой, как видно, его хороший знакомый и гость.

Сам Крюков — гимназический учитель, писатель и думский депутат, выслуживший уже чин статского советника, — был в обиходе вообще-то простецким человеком, казаком до мозга костей и любил не только «приличное общество» и себя в нем, но пуще того — хуторской круг и карагот, старые донские песни на посиделках и в застолье, молодежное игрище. Все это пело и звенело в нем, переполняло душу, поэтому он способен был даже и в столичной компании разом сбросить с себя постоянную интеллигентную сдержанность, расслабить галстук и заходить, что называется, колесом, забросать грубоватыми хуторскими байками-анекдотами, станичным говорком, смешно смягчая окончания глаголов, потешая себя и окружающих. Он и теперь сверкал очками на всю комнату, задирал русую, окладистую бородку «под Короленко», бросался от одного гостя к другому несообразно возрасту (Крюков был старше Миронова на два с половиной года, и стукнуло ему уже тридцать шесть лет), говорил с жаром, разбрызгивая радость:

— Вы посмотрите, дражайший Владимир Галактионович, что они нам привезли-то!

С кресел в дальнем углу поднялся крепкий человек с губернаторской осанкой. Глаза, впрочем, не выказывали никакого властолюбия, были, скорее, сочувственно-внимательны. Миронов определил в его лице нечто неуловимо знакомое, сжал крепко протянутую руку и поклонился.

— Короленко, — сказал гость Крюкова. И, не выпуская руки Миронова, с интересом осмотрел его с ног до головы, как бы оценивая на силу и сообразительность.

— Да, да! Вот перед вами, Владимир Галактионович, совсем новый, так сказать, тип казачьего офицера, прошу любить и жаловать! — рекомендовал с жаром Федор Дмитриевич своего земляка, разом смахнув напускное шаловливое ухарство и развязность. — Впрочем, идите-ка, земляки, пыль дорожную смойте! — проводил он казаков в ванную и захлопнул за ними дверь. — Да! Это тот самый подъесаул, которым вы, Владимир Галактионович, интересовались... И кстати, Миронов — не единственный ныне офицер из наших, протестующий открыто и прямо против карательных мер правительства! — Крюков спешил, как видно, закончить начатый ранее разговор, убедить в чем-то Короленко: — Уроки, как говорят, не проходят бесследно. Недавно в Вильне восстала сотня 3-го Ермака Тимофеевича полка. Вся целиком арестована и отдана под суд за отказ чинить расправу над народом... В Бахмуте хорунжий Дементьев со своей командой пошел под суд за присоединение к рабочей забастовке! В октябре прошлого года из Воронежской губернии ушли домой «по староказачьей традиции», обсудив на кругу, сотни 3-го сводного и 2-й Лабинский из Гурии, а Урупский Кубанский полк вообще учинил вооруженный бунт! Да. — Передохнул, внимательно следя за выражением лица Короленко, и дополнил: — А в Юзовке что было?! Когда наши казачки отказались стрелять по манифестантам и их, разумеется, определили за решетку, шахтеры и рабочие с заводов, побольше трех тысяч, двинулись освобождать казаков из тюрьмы! Долг, так сказать, платежом красен! Ну о том, что в Ростове и Москве было примерно то же, вы знаете... Но — верх всему — поступок сотника Иловайского, посланного на усмирение крестьян. Сотня его, только что из Маньчжурии, перестреляла полицейских за попытку стрелять по безоружным мужикам. А Иловайский, заметьте, казачий дворянин, потомок былых войсковых атаманов.

Миронов стоял в полуоткрытой двери в белой сорочке с закатанными рукавами, вытирал жилистые, загорелые руки махровым полотенцем и с открытой насмешливостью слушал друга. Крюков заметил его выразительный прищур, махнул рукой — достаточно, мол, на эту тему! — и засмеялся:

— Ну, многоглаголанье, как говорил еще иеромонах у Пушкина, не есть души спасение! Вы-то с чем хорошим прибыли? Приговор станицы, письма с хуторов — вот что мне надо к завтрашнему выступлению, братцы! Есть?

— Все, что надо, привезли, но — после, — сказал Миронов. — Урядник, выкладывай гостинцы с Дона!

Он отнял у Коновалова сапетку, выдернул из нее пучок свежего, сильно пахнущего влажным лугом сена, стал выставлять на лакированный столик одну за другой черные бутылки с серебряной оберткой. Бутылки были облеплены волглыми травинками, а на затейливых вензелях наклеек золотились оттиски медалей самого высшего достоинства.

— Цимлянское игристое? — воодушевился мало пьющий Федор Дмитриевич. — По какому же случаю?

Миронов объяснил, что тащить за собой в Питер винные бутылки не очень разумно, легче при нужде купить бы на месте, но Павел Агеев как раз выдавал замуж свою двоюродную сестру; ну и, разумеется, не забыл своего покровителя и наставника Крюкова, прислал гостинец, с просьбой заочно поздравить молодых...

Федор Дмитриевич удовлетворенно кивнул и поднес клок сена к лицу, с молитвенным чувством вдохнул сильный луговой аромат, глядя в сторону Короленко и как бы желая передать и ему свое настроение.

— Вы, ваше высокоблагородие... не то принялись нюхать, — сказал со сдержанностью в голосе урядник Коновалов. — Если уж захотелось степь нашу вспомнить, то вот... — Он отвернул борт синего мундира и достал из потайного кармана на груди пучок сухой, невзрачной травки. — Вот. Возьмите, чебор!

Крюков порывисто обнял Коновалова и расцеловал в обе щеки, а затем, завладев пучком чебора, направился в угол к старшему гостю:

— И в самом деле — чебор! Ах, окаянные, да что же они со мной делают, ведь душу — вон! Вы оцените, Владимир Галактионович, оцените!

— Да? У нас, в Малороссии, чебрец, — сказал Короленко, добродушно усмехаясь в бороду. — Впрочем, дайте-ка, в нем, черт его знает, и в самом деле заключена какая-то первородная сила, чудный приворотный запах. Не передать словами даже, сколько аромата, полынной горечи и степной силы!

— Кто надоумил? — Крюков ел глазами урядника Коновалова.

— Да это уж близ Себрякова, — сказал урядник. — Стали спущаться к слободе, я на Веберовскую мельницу гляжу — больно уж высоченная громада, выше церкви! — а их благородие толкает с брички: сорви, говорит, чеборка на дорогу! А там, по скату, его сколько хошь!

— Спасибо, братцы. Это же — емшан! Погодите, сейчас вспомню, как там у Майкова... — Крюков смотрел на Короленко, который тоже с жадностью вдыхал запах немудреной степной травки-ползунка, а сам начал тихо, по памяти, декламировать стихи. Он, гимназический учитель, да еще степняк по рожденню, знал, конечно, эти строчки и мог читать наизусть:

Степной травы пучок сухой,
Он и сухой благоухает!
И разом степи надо мной
Все обаянье воскрешает...

Это была поэма о власти человеческой памяти, зове родной земли, верности Отчизне... Федор Дмитриевич сначала читал невнятно, как бы лишь для себя, повторяя знакомое и привычное, самый сказ. Но по мере того как углублялся и ширился стих, как кругами на воде расходилась непростая мысль и прояснялось настроение, голос чтеца стал сам собою крепнуть, выдавая волнение:

Скажи ему, чтоб бросил все,
Что умер враг, что спали цепи,
Чтоб шел в наследие свое,
В благоухающие степи!

На глазах Крюкова заблестели слезы. Было много недосказанного в этих стихах, того, что связывало всех присутствующих здесь в крепкий и единый круг, ради чего они и собрались вместе. Даже урядник Коновалов, никогда не читавший других книг, кроме духовных, понимал, что тут были не стихи в их общепринятом смысле, а тайная клятва.

Ему ты песен наших спой, —
Когда ж на песнь не отзовется,
Свяжи в пучок емшан седой
И дай ему —
· и он вернется!

Миронов перестал улыбаться, лицо его, и без того сухое и сосредоточенное, померкло в хмурой замкнутости. Короленко молчал, опустив голову, урядник жадно вбирал в себя не только новые, неизвестные для него мысли, но и настроение окружающих, единое для всех чувство от пронзающих душу слов: «Свяжи в пучок емшан седой и дай ему — и он вернется!» Крюков вытирал белым платком глаза.

За всем этим никто не расслышал вежливого стука, дверь внезапно и широко распахнулась. А в номер вошел еще один гость, знакомый всем, — бритоголовый, крепкий по виду человечище с выдубленно-коричневым лицом, аккуратно подстриженными усами и крошечной бородкой-эспаньолкой. На нем был новый, с иголочки, серый жилетный костюм. Сам он дружелюбно и по-станичному открыто улыбался.

— Конечно же! Можно и должно ожидать сентиментальных стихов, если в здешнем курене проживает наш премногоуважаемый писатель и певец зипунной донской старины нашей Федор Крюков! — громко возгласил вошедший, сразу найдя и выделив подслеповатыми глазами крупную фигуру Короленко. Золотое пенсне с небольшими овальными стеклами болталось у борта на шнурочке, фетровую мягкую шляпу вошедший смущенно поворачивал в руках. — Даже стука не слышат, изверги! Здорово дневали, станичники, и — извините великодушно за вторжение. Я, собственно, по делу... — вошедший хотел пройти прямо к Владимиру Галактионовичу, но в этот момент увидел стоящего чуть в стороне Миронова.

— Господи! И ты тут, Филя?! Сколько лет, боже, и — сколько орденов?!

— Александр Серафимыч! — громко воскликнул Миронов, шагнув навстречу гостю. — Ну, не думал, не думал... А мир и в самом деле тесен, вы посмотрите!

Они обнялись, и никому не надо было здесь объяснять, отчего так крепко объятие. Все ведь знали друг друга, и даже урядник Коновалов помнил земляка, бывшего поднадзорного студента Попова... Это он, кажется, готовил когда-то Филиппа Кузьмича к сдаче экзаменов в гимназии, говорили — экстерном... Свои же люди! Что касается Короленко, то именно с его легкой руки нищий, поднадзорный студент Попов и стал известным писателем Серафимовичем. Но жил теперь Серафимович в Москве, сотрудничал у Горького, и появление его в Петербурге, да еще в номере Крюкова, было отчасти и неожиданным. О визите к Федору Дмитриевичу, во всяком случае, следовало сообщить раньше, письмом или по телефону.

— Цыгане шумною толпой! — бормотал Попов-Серафимович, пытаясь вырваться из объятий Миронова. — Всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон, окаянные!.. Филипп, отпусти душу на покаяние, милый. Вижу, что вырос и возмужал, вижу!

— Филипп! — просительно возгласил Федор Дмитриевич Крюков, снимая цепкие руки Миронова с плеч московского гостя. — Оставь! Ты знаешь, простота станичная, с кем ты так прочувствованно обнимался? А? Да ты, сукин сын, обнимался с живым социал-демократом, да еще левого толка, — с большевиком! Понимаешь ли ты, до глубины и печенки, что он — твой враг и хорошего ждать от него... не нам с тобой!

— Федор, оставь! — обиделся Серафимович. — Шутки твои, знаешь, беспредельны! Я, впрочем, так и знал, что к тебе, из-за твоей меланхолической язви-

тельности, заходить опасно. И если бы не Владимир Галактионович... — Он прошел наконец-таки в глубину комнаты и церемонно склонил голову перед Короленко: — Я вас, собственно, искал. Был даже на квартире, Авдотья Семеновна сказала, что вы сегодня в гостях, некоторым образом, у Войска Донского. Ну, пришлось!

Крюков между тем старался объяснить Миронову причину своих разногласий с Серафимовичем, а заодно растолковать суть социал-демократической программы — разумеется, со своей точки зрения:

— Оголтелость, знаете... В один мах разрешить все мировые вопросы и скорбь тысячелетий. А отсюда — максимализм во всем, вплоть до вооруженных экспроприаций! Да вот спроси хоть у Владимира Галактионовича, он понятнее сможет втолковать. Во всяком случае, в более спокойной форме...

Серафимович с нескрываемым недовольством косился на хозяина. Были они земляками н дружили позже, на литературном поприще. Писатель Серафимович даже почитал писателя Крюкова за талант и мягкость души, но тут разногласия возникали и д е й н ы е, а потому о каком-либо единстве не могло быть и речи.

— Почему же, — постарался пригасить спор Короленко, усмехаясь в бороду с видом старца, взирающего сверху на расшалившихся отроков. — Вы напрасно, Федор Дмитриевич... Они, скорее, ваши союзники в Думе, и вообще-то славные люди! Плеханов, например, интеллигентный человек, или вот... младший брат Александра Ульянова, который в университете был кровно близок к донскому землячеству, дружил с Генераловым, да и Сашу Попова знал, наверное...

— Федя этого не хочет понимать! — сказал Серафимович. — Ему большевизм представляется «самородным», возникшим из западной философии. А он — исторически-то! — идет от «Народной воли», от Александра Ульянова, с которым рядом под виселицей стояли и наш Вася Генералов, и кубанец Пахом Андреюшкин! А Говорухина Ореста, нашего земляка, заочно приговорили к повешению, потому что успел бежать в Болгарию, к Благоеву... И Саша Александрии, одностаничник, тоже отбывал пожизненную ссылку в Сибири и только на днях по высочайшему разрешению вернулся домой... Болеет парень, н вообще устал, конечно, а все же закваска-то? Большевизм по корню — совершенно русское явление, это надо уяснить в первую очередь!

— Вот еще один молодой человек, по фамилии Фрунзе, — добавил Короленко весело. — Не слышали, разумеется? Скоро услышите. Представьте себе, приезжает в позапрошлом году откуда-то из Семиречья — из Верного, не то Пишпека, — такой плотненький, черноглазый юноша с рекомендательным письмом к Николаю Анненскому... А какие у вас наклонности, молодой человек? К каким наукам? Между прочим, рассказчик великолепный, мог бы, думаю, и в литературе себя попробовать, но нет! Наклонности сугубо общественные, профессора Политехнического Бойков и Ковалевский от него, что называется, в восторге, а студент Фрунзе нынче — чуть ли не главный социал-демократ по всему Шуйско-Ивановскому промышленному району, и-да! Ну, вы же, Федор Дмитриевич, как-то встречали его на средах у Анненского! И, помоему, даже заинтересовались, беседовали о семиреченских казаках что-то?

Крюков, конечно, не помнил той мимолетной встречи. К тому же теперь он был занят с официантом, делал заказ, втолковывал что-то насчет закусок. Потом обернулся к Серафимовичу с вопросом, уже без всякой игры и земляческого ерничества:

— Так ты, Александр, собственно, какими судьбами в Петербурге? Где остановился?

Когда Попов-Серафимович сказал, что остановился он, по обычаю, в «Бель-Вью», одной из самых фешенебельных гостиниц, Крюков пытался его и тут «подколоть» и высмеять за аристократические замашки и претензии, но успеха не имел. Веселая минута прошла. Короленко внимательно слушал Серафимовича, он хотел знать о московских литературных делах из первых рук.

— Как дела в «Знании»? Горький, кажется, уехал?

— Вышел последний, десятый сборник, — с удовольствием и подробно рассказывал Серафимович. — Там «К звездам» Андреева и мое «На Пресне», а вообще дела у нас плохи... На даче Телешовых теперь можно встретить только Бунина с братом, Голоушева, да разве вот Белоусова. Андреев оставил свою роскошную дачу в Грузинах и переехал в Гельсингфорс. Туда же, по слухам, отправился и Горький. Скрывается...

Тут опять возникла словесная перепалка с Крюковым (по поводу Горького), но Короленко сумел сразу же мягко отвести разговор в деловое русло.

— О себе-то скажите, — попросил он.

— Да что — я... — развел руками откровенно Серафимович. — «Современник» бросил, мало платят, хочу тут вот работать, но не знаю, как выйдет. Надо бы увидеть Куприна, да он уехал в Нижний. Пятницкий удрал к Андрееву, Елпатьевские по воскресеньям на даче... Пишу брошюры по общественным вопросам, вчера пил чай без хлеба, между прочим, — все пекари бастуют, оказывается... Нашими молитвами, как говорится... А дело вот какое, Владимир Галактионович. На одном вечере читал я стихотворение Белоусова, очень хорошо приняли, хотел показать вам, может быть, возьмете в «Русское богатство». Белоусову сейчас нужно помочь.

— Ну вот! — развел руками Короленко. — Лучше уж прямо к Федору Дмитриевичу с этим, он у нас заведует всей художественной литературой, и неплохо заведует. Договоритесь?

— Если талантливо, — сказал Крюков.

Принесли обед. Два официанта с подносами, повар в накрахмаленном колпаке стали накрывать на раздвинутый стол, бутылки с цимлянским тут же поставили в серебряные ведерки с колотым льдом.

Короленко утомили спорщики, и когда начали рассаживаться, он пригласил Миронова ближе к себе. Усатый поджарый офицер с умными глазами и неистощаемой недюжинной энергией, видно, заинтересовал

его. Но слушать до времени приходилось все того же Федора Дмитриевича, который не хотел прекращать слишком глубокого своего спора с Серафимовичем.

— Я, милый мой Александр, этого не могу понять, хоть убей: ты и — марксизм! Гм... Социализм без идеализма для меня непонятен! И не думаю, чтобы на общности материальных интересов можно было бы построить этику. А без этики — как же? Другое дело, наш умеренный подход к решению жизненных проблем, реформы, использование старых демократических традиций. Хотя бы — наших, староказачьих традиций! И название умеренное у нас — трудовики. История казачества — разве это не ценнейший опыт устроения жизни на началах свободы и равенства? Это, правда, не книжный, зато практический путь, и — с каких времен! Чуть ли не со времен Мономаха исхожено, изъезжено — дай бог!

Серафимович засовывал салфетку за ворот, усмехнулся вновь открыто и дерзко, не желая особо входить в спор:

— Ты, Федя, страшно увлечен всем этим!.. Скоро и самого Адама, кажись, оденешь в штаны с лампасами. А время катит в другую сторону! Не замечаешь?

— Замечаю, братец, замечаю, но — с горечью. И беспокоит особо судьба народа моего, рядового темного казака!

— Обо всей России пора думать, — трезво сказал Серафимович. — Вся Россия в одной петле задыхается.

— А кто спорит? — согласился Крюков. — Но нет более трагической страницы в русской истории, чем эта наша, окровавленная, железом паленная казачья страница! Да что там — из глубины веков!.. Вы подумайте, легко ли было холопу-то удрать от пана, от псаря с гончей сворой, а что его ждало там, на донском «приволье», если к каждому чуть ли не всю жизнь приходилось пикой и шашкой защищаться? Иван Третий отписывал княгине рязанской Агриппине, чтобы казнила тех, кто ослушается и «пойдет самодурью на Дон в молодечество»... Борис Годунов тоже с казаками не ладил и не преуспел в жестокостях лишь по причине краткого своего владычества. За то донцы сильно помогли Романовым на трон взойти, и вот юный Михаил, так сказать, в избытке благодарности немедля посылает на Дон карателя Карамышева с жестоким указом: привести в покорность! И что же оставалось казакам делать? Они исстари любили поговорку: нам не пир дорог, дорога честь молодецкая!

— И они, как водится, смирились? — усмехнулся Короленко, предчувствуя занятный рассказ «из прошлого черкасской вольницы», на которые Крюков был мастер.

— Само собой, — кивнул Федор Дмитриевич с притворным смирением. — Спустя время царь получил донскую отписку с их «государственными соображениями»... Это, доложу, братцы мои, верх дипломатии! И — художества! Я как прочел эту грамотку в архивах, так и самого потянуло в изящную словесность. Думаю, не положу охулки на руку, ведь тоже казак по крови! Как писать-то умели, окаянные! Хотите, дословно приведу?

— А вспомнишь? — спросил Серафимович, отчасти зная суть той отписки.

— Да как же тут не упомнить, это же альфа и омега казачества! Вы послушайте, каков слог! «...И мы, холопи, твоего указа и грамоты не поединожды у Ивана Карамышева спрашивали, и он ответил: «Нет-де у меня государевой грамоты» — и ни наказу никакого твоего государева нам не сказал, а нас своим злохитрством и умышленьем без винной вины хотел казнить, вешать, и в воду сажать, и кнутьями бить, и ножами резать, а сверх того Иван Карамышев учал с крымскими и с ногайскими людьми ссылатца, чтобы нас всех побеть и до конца разорить и городки наши без остатку пожечь. Аще благий, всещедрый, человеколюбивый и в троице славимый бог наш, не остави нас, и молитву и смирение раб своих услыша, и к тебе, государю, правую нашу службу видев, объявил нам Христос то злоумышленье Ивана Карамышева, что он без твоего, государева, указа умыслил... И мы, холопи твои, видя его над собою злоухищренье, от горечи душ своих и за его великую неправду того Ивана Карамышева... о-безгла-вили».

— Ка-а-ак? — весело насторожился Короленко и даже привстал в удивлении. Смесь казачьего лукавства, словесного покорства и ничем не прикрытой дерзости человечьей задевали за живое. Тут все разительно отличалось от знакомой Короленко крестьянской обыденности, никак не походило на горемычно-пропащий «Сон Макара». — Как, простите?

— Обезглавили. От горечи душ своих, — повторил Федор Дмитриевич почти непроницаемо.

Первыми захохотали Миронов и Коновалов, за ними грохнул раскатисто Серафимович, и Короленко вежливо прикрыл бородатое лицо ладонью, вздрагивал от смеха, доставая платок. Лишь Крюков хранил трудную, опасную веселым взрывом невозмутимость. Как опытный рассказчик, «добивал» слушателей концовкой той грамоты:

— Послушайте, каков финал, так сказать! «И будь мы, государь, тебе на Дону не годны, и великому твоему Московскому государству неприятны... то мы, государь, тебе не супротивники: Дон-реку от низу и до верху очистим, с Дону сойдем и — на другую реку уйдем!»

— Так его! — крякнул от удовольствия Миронов, вытирая горячие слезы и открыто, по-станичному, заходясь смехом. — Так! Оставайся, мол, один — с окрестными турками и ногаями лицом к лицу, с думными, заплечных дел мастерами Карамышевыми, шут с тобой! А мы, мол, поехали дальше!

— Каково? — как ни в чем не бывало спрашивал Крюков. — А между тем, братцы, за то красноречие вся наша зимовая станица в Москве была лютой смертью казнена. Да и в том ли дело, знали ведь, на что шли! И при Разине знали, и при Пугачеве, и при Булавине — дороже воли для наших предков ничего не было. И платили за нее к р а с н о, живою кровью!

Федор Дмитриевич был, что называется, в родной стихии, забыл даже о том, что пора бы и откупорить бутылки. Но его жаль было прерывать. Тут каждое слово было пережито и выстрадано:

— И вот этот прекрасный, чистый душою народ

медленно и целенаправленно стирается с лица земли, как извечный «рассадник крамолы», как архаическое излишество для абсолютистского государства! И чтобы разом довершить дело экономического разорения, решено было еще и снять с казаков традиционный ореол свободы, славы, их втравили целыми полками и дивизиями в позорную полицейскую работу, сделали самих карателями. Всего один-два года такой «службы» и — насмарку трехсотлетняя репутация, прощай гордость и слава!

— Ты, Федор, с такой горячностью говоришь, будто оправдываешься! — прервал Серафимович. — А все от незнания подлинных размеров бедствия! Разве только о казаках речь? Мы с Алексей Максимовичем недавно запрашивали военное ведомство, через своих людей, разумеется. Оказалось, что полицейской работой царь занял шестнадцать тысяч рот пехотных и четыре тысячи эскадронов и сотен! Так что наши «сотни» составляли едва ли десятую часть всего воинства. И не более того!

— Что мне чужие заботы? — сказал Федор Дмитриевич и, оборотясь к ящику письменного стола, быстро достал какую-то печатную бумагу. — Разве нашей так называемой общественности впервой валить вину с больной головы на здоровую? Дело в том, что... Впрочем, извольте прослушать некий документик, из стенографического отчета Московской думы за сентябрь—декабрь прошлого года...

Прочел с крайней выразительностью, помахивая пальцем:

— «Двенадцатого декабря в Москве и Одессе была развешена прокламация, в коей сказано: «казаков не жалейте, на них много народной крови, они всегдашние враги рабочих. Как только они выйдут на улицу, конные или пешие, вооруженные или безоружные...— слышите: даже безоружные! — смотрите на них как на злейших врагов и уничтожайте беспощадно!» Ну?

— Кто автор этого бреда? — спросил Короленко.

— По-видимому, чистая провокация, — сказал Серафимович.

— Да. Со стороны глянуть, непросвещенными мозгами, то прямо сплошная революционность. «Безумству храбрых поем мы песню!» А когда раскумекаешь... Бумажка-то, как выяснилось, из Одессы. А тамошняя некая община решила в прошлом году под видом рабочих акций протащить лозунг отделения града Одессы с прилегающим округом, портом и всей Южной Бессарабней до Аккермана в самостоятельный «Вольный город» по типу Сан-Марино или Монако. Говорят, уже и рулетку привезли. Так вот, государя это взбесило до крайности, ведь он эту масонскую общину всегда поощрял и оберегал. Именно он и приказал ввести в Одессу казачью дивизию при соответствующих инструкциях. И там казаки действительно не бунтовали и не шатались, а делали свое дело с пристрастием.

— Печально все это, — поник Короленко. — Нет ли тут какой провокации со стороны охранки? Или черной сотни?

— Черт их знает! — выругался Крюков. — Все запутано до невероятия. Недавно пришлось быть в компании одного сотника лейб-гвардии, он кричал в подпитии, что не только войско, но вся Россия отдана в руки немцам и жидо-масонам. Почему так случилось, мол, что министром внутренних дел у нас — фон Плеве, а петербургским губернатором фон Толь? Градоначальником фон Клейгельс, а полицмейстерами столичных округов фон Нольке и фон Вейдорф? Не беда, что при дворе царицы-немки министром двора и уделов — барон Фредерикс, но к чему нам-то, в Донское войско, впихнули начальником штаба другого фон Плеве? И вот, друзья, хоть я и не был пьян, но ответить атаманцу мне было нечего.

— Ты мог к этому добавить, Федя, — сказал Серафимович, — что и девять десятых нашей русской промышленности и наших национальных капиталов заграбастаны иностранными компаниями и фирмами, объединенным англо-французским и датско-немецко-бельгийским концерном Нобелей, Зингеров, Цейтлиных и Рябушинских, а это пострашнее чиновничьей олигархии! Здесь начало тайной колонизации всей страны, превращения великой Российской империи в громадную Анголу. Ваше «Русское богатство» — лишь популярный журнал, и не более того...

Крюков не обиделся по поводу «Русского богатства», кивнул согласно:

— Так мы и пришли к общей идее с о п р о т и в л е н и я, господа. Хоть через самого Адама в лампасах, хоть через популярный журнал «Русское богатство», а более всего — через исконно русские традиции казачьей старины и вольницы! — Крюков налил бокалы и склонился через стол, чтобы дотянуться до руки урядника Коновалова. Чокнулся с ним первым, чтобы уважить и приободрить в этой непривычной для него компании. — Выпьем, господа, за моих друзей-земляков, рискнувших в эту поездку и не убоявшихся возможных последствий... За православный тихий Дон!

Обед начался, приугасли споры. Миронов тоже осваивался рядом с именитым гостем, с его серебристой, всероссийски известной головой. И когда Короленко склонился к нему и доверительно спросил, какой же приговор станиц они привезли в Думу, с готовностью достал из потайного кармана свои опасные бумаги.

Короленко оставил без внимания роскошную писарскую скоропись с росчерками и завитками и, вчитавшись в смысл, внушительно поднял указательный палец, требуя внимания:

— Не угодно ли казачье требование из глубокой провинции, пункт третий: «Отнять землю, которую правительство роздало помещикам и дворянам в Области Войска Донского, и наделить ею безземельных иногородних крестьян»! Вы слышите? Этим пунктом заинтересуются не столько в Думе, сколько в жандармском ведомстве! Это же — из программы эсдеков, Федор Дмитриевич, а вы здесь на Серафимовича еще нападали, если мне память не изменяет?

Его как будто не заинтересовали пункты о запрещении смертной казни и даровании амнистии политзаключенным, он хотел подчеркнуть именно волю темных, простых станичников в части справедливой зе-

мельной реформы. Вновь склонился к Миронову, продолжая начатый с ним разговор:

— Знаете, Филипп Кузьмич, интересно мне ваше мнение и по такому вопросу... Наше поколение интеллигенции немножко залетело вверх, насколько я понимаю, занялось философией культуры, высокими материями. А сейчас, кажется мне, надо бы спуститься чуть ниже, до философии бытия, что ли. Или — где-то посреди, меж тем и другим. Выяснить, как сам народ ощущает свое историческое предназначение! Вы — ближе к этому. Тем более вы — казачий офицер и с этой стороны вовсе новый для меня человек. Бывают ли у вас какие-то сомнения, не раздирают ли противоречия, как нас, отлетевших от земной тверди? Это все, знаете ли, не так просто...

Миронов потупил голову, думал над вопросом. Ему понятен был ход мысли Короленко, но говорить самому об этом было ново и непривычно.

Сказал, не мудрствуя, от души, как оно лежало и раньше в сознании:

— Сомнения никто избежать не может, думаю. Но простых людей жизнь толкает не к раздумьям — хотя это самой собой... — а к действию. Выхода другого нет, Владимир Галактионович! Всему свой черед: весной — сеять, летом — косить, на пожаре — воду носить, огонь заливать. Сомневайся не сомневайся, а бегать будешь. А сейчас в особенности каждый понял: нельзя дальше так жить, с неправдой в обнимку. Люди скоро начнут погибать не с голоду, а — от тоски! Человек, всякий, есть живая душа, а не штык, не сабля, не рабочая скотина... И — отчего все так устроено, что ни живой мысли, ни честному поступку у нас, вроде, и ходу нет?

Получалось не совсем то, что хотел сказать, сносило на привычные, обкатанные трафареты мысли, но разговор затеялся до такой степени важный и волнующий, что собеседники перестали как бы замечать окружение. Миронов объяснял то, что ему казалось ясным и непреложным:

— Рабочий вопрос — одно, мужицкий — другое, а на поверку выходит причина одна: тупик на самом стрежневом направлении жизни. Или вот, нынешняя война с японцами, скажем... Если на море мы оказались слабее, там у них более современные корабли, то в Маньчжурии-то всяк можно бы выиграть кампанию. Были к тому силы, но — всё, будто во сне... И генералы, как дохлые мухи, и генеральный штаб, по всему видно, как играл по ночам в лото, так и до конца войны не отошел от стола... Ради того хотя бы, чтоб народ свой пожалеть, не удобрять нашей кровью чужую землю! Ясно — приходится бунтовать.

— А уфимское дело? Не смущает? — спросил Короленко.

— А вы и про Уфу знаете? — удивился отчасти Миронов.

— Ну как же! Если Столыпин знает, то нам и бог велел! Я вот тут, перед вашим появлением, как раз Федора Дмитриевича об этом пытал. Вся Россия полнится слухом, хотелось услышать подробнее.

В Уфе произошла задержка казачьих эшелонов, возвращающихся с войны. Бастовали железнодорожные бригады, деповцы, хотели выручить из тюрьмы политического, инженера Соколова, приговоренного к смертной казни. Весь город бурлил, не до работы. А казаки спешили домой, в эшелонах пошла речь уже о том, чтобы разгрузиться, оседлать коней, да взять забастовщиков в плети — другого выхода не предвиделось. Командир дивизии вызвал прославленного подъесаула Миронова и приказал обеспечить порядок в городе и продвижение составов. Миронов откозырял, выгрузил сотню и повел в город.

Через три, четыре ли часа железнодорожники взялись за котлы, расшуровали топки, паровоз дал свисток к отправлению. После, уже под Самарой, по вагонам стало известно от казаков мироновской сотни, что в оборот брали они не рабочую Уфу, а уфимскую тюрьму. Разоружили охрану, выпустили из камеры смертников инженера Соколова, созвали митинг. Оттого и прекратилась забастовка.

Конечно, по этому поводу где-то в верхах велось уголовное дело, да не с руки было арестовывать именно теперь героя-офицера, можно всю казачью дивизию взбунтовать. Всякое административное вмешательство требует выяснения подробностей, свою тайную глубину имеет.

— Вся Россия уже знает, — повторил Короленко. — Позвольте пожать вашу руку, подъесаул.

Он накрыл руку Миронова на подлокотнике кресла большой, мягкой, как бы отеческой ладонью. И несколько мгновений не снимал, сосредоточившись всем своим существом в этом закрытом, не терпящем ни огласки, ни постороннего взгляда общении.

На другом конце стола поднялся Крюков. Сказал, нервно поправляя пенсне:

— Завтра же передам приговор округа и другие бумаги с Дона Муромцеву. Сергей Андреевич, кстати, тоже хотел лично повидать тебя, Филипп Кузьмич, не однажды напоминал. Надо же, в конце концов, заткнуть рот «правым», они же с толку сбивают людей. «Нам не надо конституций, мы республик не хотим!» — олухи царя небесного. В гимназиях их учат, остолопов, и здравый смысл говорит, что правительства для того и существуют, чтобы видеть и разрешать жизненные вопросы и проблемы, иначе самое сильное государство сгниет на корню! Они же, кроме «аллилуйя», ни на что не способны. Трезвонят в парадный колокол, а там хоть трава не расти!

Глядя на Миронова, воскликнул с горечью:

— Вот где наши плети нужны, Филипп, вот кого бы перепороть, прямо — в Таврическом дворце н...

Пирушка получилась не совсем обычная. Цимлянское игристое, привезенное с Дона, не могло притушить столичных и всероссийских страстей. Государственный озноб прохватывал до костей даже веселых и в общем-то незлобивых донцов. Короленко, глянув на карманные часы, засобирался домой.

— А вам, дражайший депутат, не худо бы подготовиться к завтрашнему явлению на трибуне, — сказал на прощание Крюкову. — Самое время огласить в Думе именно донской запрос.

Вслед за Владимиром Галактионовичем поднялся и Серафимович.

Пока готовилось против Миронова по приказу Столыпина судебное дело, скрипели перья, учреждался надзор, сам подъесаул сидел на галерке, в одной из дальних лож, в зале заседаний Таврического дворца, и с любопытством рассматривал полукруг помещения, правительственную трибуну, стол председателя, затылки и спины господ депутатов. Седые, лысые, в пробор, зализанные и взбитые у парикмахеров волосы, белые стоячие воротнички, широкие и узкие плечи, сосредоточенные и небрежно развалистые позы...

Под высокими лепными потолками — уютное тихое пространство, и в нем гаснущий на отдалении, негромкий, но все же слышимый всеми присутствующими голос депутата от Верхнего Дона Федора Дмитриевича Крюкова:

— Господа народные представители. Тысячи казачьих семей и десятки тысяч казацких жен и детей ждут от Государственной думы решения вопроса об их отцах и кормильцах, не считаясь с тем, что компетенция нашего юного парламента в военных вопросах поставлена в самые тесные рамки... Уже два года, как казаки второй и третьей очереди призыва оторвались от родного угла, от родных семей и под видом исполнения воинского долга несут ярмо такой службы, которая покрыла позором все казачество...

В безупречно сидящем на нем учительском сюртуке, в крахмалке и с галстуком, с молодой окладистой бородкой, в золотом пенсне Крюков был не только красив, но даже импозантен; недаром в него коллективно влюблялись старшеклассницы Орловской гимназии, где он начинал преподавать, томные мечтательницы из исконно тургеневских мест.

Да, говорил он, конечно, хорошо, с небольшими литературными излишествами, по мнению Миронова, но какая стенографическая запись выдержит смысл этой речи? И не явятся ли до окончания ее жандармы, чтобы удалить оратора с трибуны?

— История не раз являла нам глубоко трагические зрелища. Не раз полуголодные, темные, беспросветные толпы, предводимые толпой фарисеев и первосвященников, кричали: «Распни его...» — и верили, что делают дело истинно патриотическое; не раз толпы народа, несчастного, задавленного нищетой, любовались яркими кострами, на которых пылали мученики за его блага, и в святой простоте подкладывали вязанки дров под эти костры... Но еще более трагическое зрелище, на мой взгляд, представляется, когда те люди, которые, хорошо сознавая, что дело, вмененное им в обязанность, есть страшное и позорное дело, все-таки должны делать его; должны потому, что существует целый кодекс, вменяющий им в обязанность повиновение без рассуждения, верность данной присяге. В таком положении находятся люди военной профессии, в таком положении находятся и казаки...

Особая казарменная атмосфера с ее беспощадной муштровкой, убивающей живую душу, с ее жестокими наказаниями, с ее изолированностью, с ее обычным развращением, замаскированным подкупом, водкой, все это приспособлено к тому, чтобы постепенно, незаметно людей простых, открытых, людей труда обратить в живые машины. Теперь представьте себе, что этот гипнотический процесс совершается не в тот сравнительно короткий срок, который ограничен казармой, но десятки лет или даже всю жизнь. Какой может получиться результат? В девятнадцать лет казак присягает и уже становится форменным нижним чином, или так называемой святой «серой скотиной»... Затем служба в очередных полках — четыре года, в двухочередных — четыре года, в трехочередных — четыре года и, наконец, стояние в запасе, всего приблизительно около четверти столетия!

Даже в мирной обстановке казак не должен забывать, что он прежде всего нижний чин, подлежащий воздействию военного начальства, и всякий начальник может распечь его за цивильный костюм, за чирики, за шаровары без лампасов. Казак не имеет права войти в общественное помещение, где хотя бы случайно был офицер; старик-казак не может сесть в присутствии офицера, хотя бы очень юного; казак не имеет права продать свою лошадь, не спросясь начальства, хотя бы эта лошадь пришла в совершенную негодность; но зато казак имеет право быть посаженным на несколько дней в кутузку за невычищенные сапоги или запыленное седло. Здесь не раз упоминалось о гнете земских начальников. Но что такое земский начальник по сравнению с нашим администратором, для которого закон не писан ни в буквальном, ни в переносном смысле?..

Как ни странно, никто не прерывал оратора, не было и жандармов. Миронов окончательно успокоился на этот счет, проникся вниманием к словам оратора и чувствовал, что от горя и внутреннего унижения у него что-то тугое и душащее подкатывает к горлу. Нет, это же, черт возьми, не человеческая, а какая-то каторжная жизнь! И ее терпят, к ней привыкли, как к неизбежности, даже гордятся по праздникам, заливая счастливое житье-бытье водкой и самогоном!

Крюков тут рассказывал как раз о приемке лошади и казачьей «справы» на призыве, придирках интендантских офицеров и прямо оперировал недавними случаями из его, мироновской, тяжбы с войсковым правительством в бытность атаманом в Распопинской станице:

— На алтарь Отечества казак несет не только свою силу, свою молодость и жизнь, он должен предстать во всеоружии нижнего чина, в полном обмундировании на свой счет, с значительной частью вооружения и даже с частью продовольственного запаса... И сколько крепких хозяйств, в которых не было недостатка в детях, сильных молодых работниках, разорялись на долгие годы! И все это сопровождается унизительными понуканиями, напоминаниями начальства. Такие понукания проникают решительно во все циркуляры и приказы, в которых разные титулованные и нетитулованные казнокрады напоминают казакам об их долге, забывая о своем собственном...

«Должны же быть жандармы, непременно его снимут с этой кафедры! — беспокойно оглядывался Филипп Кузьмич и чистым платком отирал вспотевший лоб и лицо. — Хорошего депутата послал в Санкт-Петербург наш кормилец Дон-Иванович, ей богу! Впрочем, какие же могут быть жандармы, когда он

пользуется правом непрнкосновености, как народиый нзбранинк! Похоже, дадут Федору Дмитриевичу довести речь до логического завершения...»

— Казаку закрыт также доступ к образоваиию, ибо невежество было признаио лучшим средством сохранить воиискнй казачий дух.

Казачьи офицеры... Онн, может быть, не хуже и не лучше офицеров остальной русской армии, онн прошли те же юнкерские школы с их культом безграмотности, иевежества, безделия и разврата, с особым воспнтательиым режимом, исключающим всякую мысль о гражданском правосозиании. Освободительное движеиие захватнло, конечио, иесколько идеалнстов в казачьих офицерских мундирах, глубокой скорбью болевшнх за свой край, за темных сограждан-станичников. Но где оии? Ные онн, эти офнцеры, за малым исключеинем, сндят по тюрьмам. Что же сказать об остальиой офнцерской массе? Лучше иичего ие говорить. Военно-адмииистративная среда, правда, выдвииула иесколько блестящнх имеи, но исключительио иа поприще хнщення и казнокрадства!

Поиемногу зал иачал ожнвать, слышались краткие возгласы и реплики, жнвой смешок иа левых скамьях, а то и вспыхивающне хлопкн. Взял-таки за живое депутат Крюков! Мироиов окоиательио успокоился за судьбу выступающего иа кафедре, тем более что Федор Дмнтриевич повел речь о другом:

— Но... господа, все-таки казак дорожит этим званием, и иа это у него есть весьма веские причнны. Он дорожнт им, может быть, иистииктивио, соедииияя с инм те отдаленные, но неугасшие традиции, которые вошли в его созианне с молоком матери, с дедовскими предаииями, с грустным напевом стариииой казачьей песин. Ведь отдалеиный предок казака бежал когда-то по снротской дороге иа Дои, бежал от панской иеволи, от жестокнх воевод и неправедных судей, которые писалн расправу иа его спние. Он бежал, бесправиый, от бесправиой жизии. Ои борьбой отстоял самое дорогое, самое высокое, самое светлое — человеческую личиость, ее достоииство н завещал своим потомкам свой боевой дух н ненавнсть к угнетателям, завет отстаивать борьбой права ие только свои, но и всех угнетеииых.

Я знаю казака в обыдеииой жизии! — с жаром продолжал Крюков. — Ои такой же простой, сердечиый и открытый человек, как и всякнй русский крестьяиии. Для того чтобы обратить его в зверя, господам русской земли удалось изобрести беспредельно подлую систему иатравлнвання, подкупов, спаиваиия, преступного попустительства, безответствеиности, которая разнуздывает н развращает не одних только министров.

Слева вспыхнули аплодисмеиты, и Миронов тоже ударил в ладоши как-то иепроизвольио, будто подожженный изиутри прямотой и отвагой оратора. Справа задвигали стульями, затопали, загудели. Крюков только взглянул в зал, поправнв пеисие, и подиял руку, прося не прерывать:

— Сообщалось недавио, что правительство желает облагодетельствовать казаков отобраиием войсковых запасиых земель, в которых казаки самн до зарезу иуждаются н которые являются запасными только по воле начальства. Конечно, «собствеиность священна» только помещичья, нбо доицы по опыту зиают, что казацкая собственность ие священиа и весьма прикосновения. В продолжеиие девятнадцатого века правительство два раза ограбнло казаков на три миллиона десятнн, обратнв лучшие казацкне земли в достояние господ дворян и чнновнннков... В критнческую минуту нет ннчего невозможного в том, что правительство преподнесет казакам такой сюрприз, который довершнт совершеиное нх разореиие. Разве это важно для правительства? Для иего гораздо важиее, чтобы казаки не поияли каким-лнбо образом, что и их кровиые ннтересы иеразлучины с интересами иарода, который борется за землю н волю и человеческие свои права. И вот правительство рассылает в марте месяце секретный циркуляр, в котором сообщает по стаиицам, что тысячи революциоиеров из виутреииих губерний (смежиых, главиым образом) поклялись сжечь все стаиицы и хутора казачьи, н рекомеидует иметь в виду их, для чего и роздало огиестрельиое оружие. Провокация действует, что мы видим нз получаемых писем и телеграмм...

Крюков закаичивал:

— Здесь ие так давно говорилось нам, что право и справедливость в русской армии покоятся иа незыблемых основаниях. Вот мы и хотели бы убедиться, иасколько эти основання иезыблемы... Мы избираем едииственио доступный путь для нас, чтобы исполнить долг нашей совести: мы несем иужды иашего края вам, представителям русского иарода!

Вновь возникло движение, разрозиенные шепоткн на правых скамьях, ио тут же иа иих обвалом упали дружные аплодисмеиты едва лн не всего зала. С особой иастойчнвостью выкрнкнвали «верно, браво!» левые скамьи и галерка, заполиеииые молодежью и представителями прессы. Крюков еще нзвинился за то, что отиял донским запросом слишком много виимаиия у члеиов Думы, и сошел с трибуны.

Мироиов, глубоко пережнвавший речь, чуть ли ие в изиеможении откииулся в кресле. «Вот так бы сказать иа всю Россию, звучио, ясио, откровенио, все, что думаешь, без всякого страха и — умереть...» — подумал с замирающим сердцем Филипп Кузьмич. И тут же усмехиулся своему слишком юиому порыву к смерти. Сказать-то хотелось, коиечно, но к чему же умирать, когда за словом неизбежио последует дело, ибо сказаииое еще и надо защищать! Истинио: вера без деяння мертва...

— Видншь, даже самые левые, социал-демократы, и те — за нас! — говорнл Федор Дмнтриевич, появившись в ложе за спиной Мироиова. — А этих, толстолобых законоправнтелей, справа, иичем, видно, не пробьешь!

— Когда загорится, то закрутятся, — кивнул Миронов.

...Ночевал Миронов в номере Крюкова на диване. Вечером в тихой беседе, закрыв дверь в передиюю, где уже всхрапывал устало урядник Коновалов, Федор Дмнтриевич разъяснял Мироиову всю сложность российской виутреиией жизни. Правительство — на

граин безумия, манифест 17 октября помог мало, скорее даже обострил проблемы. А забастовки, как явствует, инспирируются иногда не только рабочими комитетами, но и некоторыми последователями попа Гапона и даже самими владельцами фабрик, в особенности если они не подданные Российской империи либо держат капиталы в Лондоне и Брюсселе...

— Как это? — не понял Филипп Кузьмич. — Так-таки и поджигают... сами себя?

— Отнюдь! Цель дальняя для них гораздо важнее нынешнего мелкого благополучия. Их стесняет самодержавие, надо расшатать и навязать свое. Понимаешь? Подкоп под Россию со всех сторон, будто весь свет договорился срезать ее под корень! — горевал Крюков. — Тысячи взаимосвязей, десятки узлов!.. А еще этот неуместный мистицизм императрицы!.. Со всей Европы ко двору проникает через него всякая нечисть: спириты, гипнотизеры, лекари, пророки, несть им числа! Некий заезжий из Парижа, не то Мадрида Филипп — между прочим, тезка твой! — чуткий медиум из масонских кругов, лет пять проделывал спиритические пассы и старался предугадать точный день рождения наследника, после оказалось — шпион! Только прогнали одного прорицателя, немедля выкатился из того же рукава другой, некий Папюс. Выкурили Папюса, так духовник царя епископ Феофан к чему-то начал приручать ко двору нового старца и начетчика, какого-то вонючего конокрада, сектанта Григория... Мракобесие, в полном смысле, а ведь на дворе у нас двадцатый век, вот что удивительно!

И поздним часом, уже отходя ко сну, Федор Дмитриевич продолжал бормотать на манер молитвы:

— Не допускаю мысли, но... Царь по крови — датчанин, царица — немка, весь двор действительно забит иноземцами, неужели там негласный заговор против нас, народа русского, самой великой страны нашей?.. Неужели так проста отгадка величайших страданий людских? Ты — не спишь?

— От твоих слов, Федор Дмитриевич, не задремлешь, — усмехнулся Миронов.

— А все же?

— Черт его знает! Главная беда, что снизу, от плуга и поля, и даже с казачьего седла, мало что видно. Финансовые и промышленные узлы тем более нам неведомы, темным. Разве что думские деятели начнут помалу расковыривать это скопище паразитов. Да еще — рабочие комитеты помогут. — Миронов подумал некоторое время над услышанным и сказанным, а потом вдруг спросил с тревогой: — А не разгонят Думу, как по-твоему?

— Все возможно, Кузьмич. А надо тем не менее думать, ду-мать, иного выхода нет. Иначе все полетит к черту, в тартарары!

Миронов предполагал, что их с Коноваловым арестуют где-то на железной дороге, по пути домой. Скорее всего, на большой развилке, в Лисках, чтобы завезти оттуда в Новочеркасск. Но до Себряково, конечной станции, добрались благополучно. Отсюда до дому оставалось без малого девяносто верст пыльной степной дороги. День оказался базарным, встретились попутные казаки, Коновалов без труда нашел подходящую бричку с парной запряжкой.

Дорога за крайними дворами слободы сразу же шла в гору. Миронов устроился в задке брички, свесив ноги, смотрел с высоты на удалявшиеся дворы, насыпь и стрелки железной дороги, темную, прокопченную громаду паровой мельницы Вебера, думал о судьбе своего края.

Полтора столетия тому назад Петр Третий пожаловал придворному казачьему полковнику Себрякову Кобылянский юрт на реке Медведице в пятьсот двадцать четыре квадратных версты со всеми угодьями, куда велено было переселить тысячу крепостных из ближней Слободской Украины. Так, на исконно войсковой земле появилось уже не первое помещичье хозяйство, а казаки окрестных станиц лишились выпасов и охотничьего отвода, не говоря уже о запасном фонде на прирост населения. Теперь слобода Михайловка, названная в честь старшего сына Себрякова Михаила, разрослась в немалый город. Богатейший хлеботорговец Вебер (из немцев-колонистов) взгромоздил на окраине паровую мельницу, самую большую на всем Верхнем Дону от Царицына до Воронежа, а когда прошла тут колея Грязе-Царицынской дороги, фамилия владельцев была увековечена в названии станции Себряково. Обширная торговля, хлебные ссыпки, бойня, пивоваренный завод, бойкая станция железной дороги — со всем этим уже не могли соперничать даже окружные казачьи станицы Урюпинская и Усть-Медведица.

Михайловка, раскиданная в широкой низине, медленно скрывалась за краем взгорья, набегали сумерки, ветерок взбивал гривы резво бегущих лошадей, и Коновалов с казаком-подводчиком, не сговариваясь, заиграли протяжную дорожную песню, и Миронов сразу же начал подтягивать вполголоса, испытывая привычную тягу к этим людям, землякам, которых любил и понимал без слов. Еще с юности пробудилось и окрепло в нем чувство кровной близости и душевной причастности к окружавшим его станичникам, в особенности рядовым казакам старшего поколения, героям прошлых войн. По традициям семьи, твердому разуму матери Марии Ивановны или чрезмерной мягкости отца-урядника Кузьмы Фроловича, но иначе Миронов не мог себе представить своей жизни, как ради всех. Старое походное присловье «сам погибай, а товарища выручай», пожалуй, не то что пропитало сознание и душу, но стало как бы основой всего его существа, путеводной стрелкой и постоянно оправдывало себя, приносило чувство глубокого удовлетворения. Когда был в Распопинской атаманом, и особенно на военном театре в Маньчжурии, он имел достаточно случаев убедиться в ответной душевной преданности и даже любви к нему, офицеру, рядовых казаков. Приятно было сознавать укоренившееся в полку (и даже всей 4-й дивизии) мнение, что он — офицер необычный, редкий, образованный, знающий военное дело настолько, что умеет выиграть самый, казалось бы, безнадежный бой. Миронов даже команду никогда не отдавал властным окриком, а коротко и вполголоса бросал некую «подсказку» рядовым, ради общего же

успеха. За то и шли они за ним, что называется, в огонь и в воду.

Однажды полковник Багаев выстроил свою двухполковую бригаду на плацу и стал вызывать охотников в трудный поиск по маньчжурским ночным болотам. Бригада стояла молча, мялась, никто не хотел вызываться добровольно на рискованное дело. Обнимала длинный строй нехорошая робость, люди устали уже от бесконечной маеты и крови, трудно было смотреть в глаза командиру.

— Не вижу удали, казаки! — закричал зычно лихой полковник Багаев, умело скрыв внутреннее смущение от такого замешательства бригады.

Вышел — два шага вперед — сверхсрочник и георгиевский кавалер Коновалов, кинул пальцы к лохматой папахе:

— Р-рады стараться, ваш-высоко-бродь, но... не знают казаки, кто из господ офицеров поведет на этот раз! Тут надо знать, если — по охоте!

Полковник Багаев стерпел такой выход из строя, напружинился в стременах:

— Молодец, урядник! Га-ас-пада а-фи-церы, кто — из вас? Дело крайне рисковое, удалое!

Сотники и хорунжие замлели. Все знали, что дело предстояло почти безнадежное, идти, конечно, не хотелось, но теперь от добровольного выхода удерживало и другое, о чем, скорее всего, не догадывался и полковник. Риск был и в вопросе урядника: кто из офицеров поведет? Кого поддержат казаки?

Нехорошая робость овладела офицерами, никто не решался бросить вызов судьбе. И тогда Миронов шагнул вперед, взял папаху на руку, как на присяге, и сказал, как всегда, негромко, склонив голову:

— Благословите меня, полковник.

И в то же мгновение, по негласной команде, колыхнув и расстроив шеренгу, вышла вперед добрая сотня лихих голов-добровольцев, готовая за Мироновым и на подвиг, и на смерть.

Он стоял, вскинув голову, и только слухом прикидывал, сколько сдвоенных каблуков стали рядом. И в эти мгновения готов был, наверное, зарыдать от счастья на груди любого из этих молодых, простых, полуграмотных парней, поклясться отныне и навеки смертной клятвой: не давать их в обиду ни в завтрашнем деле, ни в последующих переделках, ни свирепому начальству в казарме. Тогда-то он и узнал полной мерой, что такое восторг товарищества, что такое решимость умереть за други своя!

В офицерской среде такое не прощалось. Штабные офицеры иногда завидовали ему, не стесняясь. Хорунжий Жиров, сын спившегося начальника новочеркасской военной гауптвахты, войскового старшины Жирова, говорил кисло на вечерией пирушке: «Черная кость! Второразрядник из юнкерского! Выслуживается!» И остальные офицеры согласно кивали, только один сотник Греков, из сословных казаков-дворяни, воспитанный в пажеском, резонно бросал через стол, залитый паршивой японской водкой-саке: «Выскочки, хорунжий, не хватают орденов по японским тылам! Себе дороже! Они предпочтают делать это в генеральских передних!»

Как бы то ни было, подвиг приносил не только славу, но и обиды.

С родными куренями и тихим Доном служивые повстречались радостно, позабылась на какое-то время даже горечь бесславной войны, распахнутый полноводный апрель взвеселил кровь. И вдруг, перед самым разъездом по домам, словно ушат холодной воды, — приказ по войску: «Полки дивизии по истечении краткосрочного отпуска... подлежат сбору в Новочеркасске для использования их на службе внутри империи...»

Не один подъесаул Миронов, не одна Усть-Медведицкая взволновались. Верные люди писали Крюкову из Новочеркасска, что из ста двадцати семи станиц Дона только в семи удалось добиться решений сходов, угодных атаману, с готовностью мобилизоваться. Поэтому-то с такой сравнительной легкостью выборные станиц поддержали его, Миронова, дьякона Бурыкина, студентов Агеева и Лапина и подписали приговор в Думу...

Но ответ за эту акцию придется, по-видимому, держать все же ему, как старшему и уже послужившему офицеру.

Лошади бежали резво, слабый ветерок принес из лощины прохладу, тронул холодком взбитые, жесткие на ощупь волосы Миронова. В передке брички вдруг всполошился урядник Коновалов, длинно прокричал во тьму:

— Ломай-ла! Моя-твоя, контро-ми, мей-юла! Лайла!

— Чего ты, урядник? — оборотился Миронов и с досады перекусил кисловатый стебелек тимофеевки, который все время гонял в зубах.

— Заяц! Земляной заяц, ваше благородие, тушкан, прям из-под колеса! — «Вашим благородием» Коновалов называл его при чужих или в строю, а то обходился домашним, по имени и отчеству.

— Так чего по-японски? Голосил бы уж по-своему, заяц этих восточных слов не понимает, — хмуро сказал Миронов, перенося ноги через колесо и садясь ближе. — Эти слова пора нам забывать. Скоро новые придется разучивать.

— А мы и новые разучим! — беспечно и даже дурашливо засмеялся урядник. За спиной такого офицера, как Миронов, он чувствовал себя уютно. А застолье в номере у Федора Дмитриевича Крюкова и вовсе укрепило его: очень важные люди им с Мироновым сочувствовали, а значит, и не бунт был тут, а справедливое ходатайство...

— Разучим и новые слова, наше дело такое. Двум смертям, как говорится, не бывать... Дозволь, Филипп Кузьмич, еще служивскую затянем?

— Да я и сам не прочь, — сказал Миронов и начал мягким баритоном старинную казачью: «Загоралась во поле ковылушка, не от тучи, не от грома она загоралася...»

За Кумылженской развилкой дали лошадям отдых. Распрягли в прохладной травянистой балочке, жгли костер. Старый бурьян-чернобыл прогорел бы-

стро, а дубовые сучья, нарубленные в верховье лесистого яра, едва теплились. Но из-за Хоперскнх бугров иалетал ннзовой ветер, и тогда костер шнпел и стрелял нскрамн, красные языки огня освещали тьму. Спутанные кони тихо, неторопко били сдвоеннымн копытами в землю, смачно стригли под корень свежую траву. Месяц катился иад темной степью, как сто и двести лет назад, как в пору Стеньки Разина и Кондратия Булавиил, на многие сотни верст степь лежала тнха и пустынна.

Дальше правнли лошадьми поочередно. Когда подъезжали на рассвете к Доиу, Миронов спал. Урядник, сидевший в это время в передке, оглядел побережье с причалом, увидел темные фигуры сидельцев и намеренно громко кашлянул, сигналя тревогу. Одернул Мнронова за ремень портупеи и стал нетороплнво выправлять брнчку на паромный причал.

Прохладное сизое утро наполняло займище оголтелым птичьим щебетом, роса гнула травы и тополевые ветки к земле, по желобкам листьев стекали прозрачные слезки. Хотелось подремать еще, как дремлется обычно на ранней рыбалке у спокойных закидных удочек-доиок. Но урядник, откинув за спину руку, вновь нашел портупею Мнронова.

— Прнехали! — сказал он громче положенного и спрыгнул через левый валек на взвоз. И тут Миронов почувствовал в голосе урядиика тревогу. А на пароме тотчас откликиулся весело и недобро голос прнстава Караченцева:

— С приездом! Ранние пташки... А мы вас тут прям заждались! С вечера сидим, казаки полный кисет табаку искурнли... — встретясь глазами с Мироиовым, добавил: — Все кости вам перемыли, подъесаул. Долгонько...

Мнронов без всякого удивления н без видимой тревоги глянул своимн жмуристыми глазами на Караченцева, будто так и следовало быть, чтобы пристав с вечера дежурил тут, иа переправе. Медлеино взошел за брнчкой иа причал.

Казаки-сидельцы побросали махорочные цигарки в зыбкую, раннюю воду у борта и, вытяиувшись в сторонке, придерживая ладонями ножны шашек, делали такой внд перед служивым, что ихнее дело в общемто сторона. Дежурят вот по уставу, и все. А там, как знаете...

— Понимаешь, какое дело, Филипп Кузьмич, — вяло, с мстительной усмешкой сказал пристав. — Велено, сам понимаешь, арестовать. Не нмей, как говорится, зла. Служба.

— Да уж на том свете сочтемся, — мнрно ответил Мнронов. — Но... почему не в Лисках? Я — там ждал, оттуда ближе к Новочеркасску н гауптвахте. И хлопот меньше. Не бережете казенных денег!

— Велено покамест в здешнюю тюгулевку. А там атаман рассудит.

— С семьей бы повидаться. Все же в гостях был.

— Извиняй, подъесаул, не могу. Прямо — в гору. Приказ.

— Шашку сейчас сдать?

— Неси до канцелярии, — тактично сказал пристав. — Ты же не будешь отмахиваться?

— Какой смысл? — усмехнулся Миронов. — Хотя... стоило бы, впрочем, замахнуться! За беспорядки. Полицейских своих прижалнваешь, а казаков по ночным дежурствам мотаешь! На чужбинку, как всегда.

Солнце всходило иад луговым берегом, парились и теплели желтые, тесаные бревна взвоза. В воде, на песчаном близком дне, задрожали светлые зайчики. Остро н по-домашнему пахло перетертым сенцом, табачно-сухим конским иавозом.

Когда перетянули на проволоке паром на другую сторону, Миронов попросил деда Евлампия известить домашних о его благополучном прибытии из Питера.

— А вот этого не иадо, — встревоженио потянулся Караченцев к деду. Но Мнронов лишь придержал его за рукав мундира н посмотрел в глаза, и пристав отчего-то замялся на полуслове. Темно-кофейные глаза Миронова и его мускулистое, как бы выдержанное на солнечном жаре лицо источали какую-то странную, видимую и ощутимую иа расстоянии энергию. Человек этот был в преизбытке воли и деятельного, недюжинного рассудка, с ним не поспоришь. Да и горяч он был в иное время не только на слово и иасмешку, но и на плеть. А по обстоятельствам — н на шашку.

— Так и перескажи, дед! — повторил Миронов спокойно. — Жив-здоров, мол, Филипп Кузьмич. В Думе был, с председателем Думы разговаривал... Только пускай передачу приносят: все бурсаки-подорожники мы в Питере съели. Недород там тоже и — тесто скисло!

После этого он померк глазами и послушно двинулся за приставом вверх по береговому откосу, к тюрьме. Урядника Коновалова сопровождали ветхие сидельцы.

ДОКУМЕНТЫ

Агентурная телеграмма корпуса жандармов о волнениях казаков станицы Усть-Медведицкой Донской области

Шифром, 1906 г., 11 июля

В станице Усть-Медведицкой станичный сбор вторично отказался 9 июля от мобилизации, потребовав освобождения политических — подъесаула Миронова, дьякона Бурыкина и студента Агеева. Пятитысячная толпа осадила тюрьму н освободила этих лиц, вынесши их на руках. Затем состоялся митинг, закончившийся пением революционных песен...[1]

Камера новочеркасской войсковой гауптвахты была просторная, офицерская, четыре шага в длину, три в ширину, и пристенный лежак-кровать на день не прнмыкался к стене. Можно даже днем лежать, закинув руки за голову, и думать.

Сам начальник, войсковой старшина Жиров, толстый, багрово-отечный от ежедневного похмелья, зашел в приемную, когда привезли Миронова. Пожелал принять лично в шкаф геройский мундир подъесаула

[1] Хрестоматия по истории родного края. Волгоград, 1970, с. 154.

с орденами. Улучив минуту, без посторонних, сказал отечески добрым голосом:

— Удивляюсь я вам, подъесаул. С такими-то заслугами, да за горячее хвататься! Сын вот приехал с востока — только о вас и разговоров! Миронов и сотник Тарарин! Сотник Тарарин и опять — Миронов! Свет на вас клином сошелся, скоро песни будут про вас петь. Всем бы так воевать, Россия-матушка горя б не знала! И вот, не угодно ли... ко мне, в заведение-с...

— Ваш сын тоже ведь не горит желанием размахивать плетью по рабочим слободкам, насколько я понимаю? — с досадой пробурчал Миронов.

— Можно бы, простите, на тормозах спустить дело, а не так уж, с вызовом...

Миронов не ответил на заведомую пошлость. Отдавая Жирову снятый мундир, не забыл вынуть из бокового кармана небольшую книжку с золотым тиснением по корешку и сунул, как гимназист, за пояс, приберегая для камерного безделья. Жиров по праву тюремщика наклонился и прочитал тиснение — это был томик Некрасова.

—Стишки-с? — подивился он искренне. Подъесаулу было уже за тридцать, отец четверых детей, в атаманах станичных ходил, сотней командовал в боевой обстановке, и тем удивительнее казалась эта книжонка у него за поясом, утеха гимназистов, да и то не всех. — Стишки? — в полной прострации ума развел руками Жиров. — А у меня... младший сын Борька... Не изволите ль знать, в пятом классе гимназии и — присобачился скоромные стишки сочинять при попустительстве учителей словесности! Так я его под горячую руку-с порю иной раз. Прямо примитивно, знаете ли, — розгой. Или ремнем. И — сладкого к чаю не приказываю давать.

«Форменный дед Евлампий с перевоза... Только в погонах и с подусниками...» — хмуро заключил Миронов.

Ночью вызывал ради первого знакомства и задушевной беседы жандармский полковник Сиволобов. Протокола не писал, имея склонность к философическим спорам, утолению праздного любопытства в части душевных переживаний и быта политических врагов империи. О поражении в минувшей войне с японцами судил полковник объективно, критически, но тем не менее понять не мог всяческих умственных шатаний именно в просвещенном обществе.

— Странно! — поднимал он толстый палец с полированным ногтем. — Нижние слои, как известно, перебунтовали сгоряча и уже уморились, пошли к станкам и наковальням. Поддерживают так или иначе государственный корабль. Но вот интеллигенция!.. Какой стыд, подъесаул, какой стыд!

Листал газеты и прочитывал вслух отмеченные в них красным карандашом — где в одну, где даже в две линии — речи думских депутатов.

— Вот-с... говорит не кто-нибудь, не пьяный мастеровой с ростовского Аксая, а кто бы вы думали? Думский депутат, доверенное лицо, юридически образованная личность! И некоторым образом мой коллега, товарищ прокурора Таганрогского окружного суда, небезызвестный красиобай Араканцев! Вы, кажется, именно это читали казакам на последнем сходе, подъесаул?

— Все, что было в газетах, читал, — скучно кивал Миронов, не выдерживая спектакля. И отчасти даже не понимая, чем может угрожать ему чтение столичных газет, пропущенных цензурой.

— О Крюкове я уж не говорю, пиявка! — в искреннем возмущении развел руками жандарм. — Рецидив пресловутой «Народной воли»! Позабыли не только присягу, но даже Отечество, курени, привилегии, наконец!

— Оставьте, господин полковник! — засмеялся Миронов. И оскалился грубо, с вызовом. — Смешно! Столько слов — на ветер!..

— Вы что, смеетесь над... Крюковым? — умело извернулся жандарм.

— Зачем же, смеюсь над «привилегиями»! Дурачат этими мифическими привилегиями всех, сверху донизу, пустые разговоры по России поощряют, а спросить — хотя бы и вас: о чем, по сути, речь? Какие именно привилегии? — полковник хотел что-то сказать, но Миронов не пожелал слушать пустых доводов, начал на память загибать по пальцам: — Беспошлинная торговля... солью! Со времен Бориса Годунова! Рыбные ловли — два! Тоже беспошлинно, на червячка. Ну и — беспошлинный самогон. И на том, кажется, конец. Вот разве еще пай земли в шесть-семь, а то и в четыре десятины, из которых половина неудобей, так ведь землю-то сами отвоевали либо распахали исстари, никто ее казакам не дарил!

— Позвольте, как же это — сами? — поразился полковник. — Все в руках и по милости государя, об этом нельзя...

— Ну хорошо! Арендная плата у нас два рубля за десятину. Значит, вся казачья льгота против иногороднего, у нас в станице шесть рублей в год, о чем говорим-то?! — с ненавистью закричал Миронов. — У других — восемь или десять! А конь, а справа — во сколько они обходятся рядовому казаку?!

Жандарм постарался успокоить беседой. Сетовал, что казачество окончательно погрязло в политике, вместо радения на том же земельном наделе разбегается по фабрикам и в кустарные промыслы, а сословные казаки записываются в кадеты и либералы, усердствуют не по разуму. Тот же Араканцев, как думский депутат, недавно вел следствие по Белостоцкому погрому и — представьте! — не постеснялся посадить на скамью подсудимых не только тайных организаторов из еврейской буржуазии, китов альянса «Израэлит-Цион», но также и уважаемых граждан из «Союза русского народа»! Черт знает что: без всякого различия! Но вот, кажется, и у правительства лопнуло терпение, вот уже и достукались!..

— Не хотите ли последние новости? — спросил полковник с тонкой усмешкой и ехидством. — Вот... Пишут в газетах: «Продолжаются преследования членов распущенной Государственной думы. Один депутат убит, один сошел с ума, два — подвергнуты истязаниям, десять — скрываются, пять — высланы (в том числе и ваш вдохновитель Крюков!), двадцать четы-

ре — заключены в тюрьму... Сто восемьдесят два — привлекаются к суду с отстранением от службы и лишением всех прав состояния...» Каково?

— Добавить к этому, как говорят, ничего не имею, — сказал Миронов после внушительной паузы.

— Почему же? Я как раз хотел узнать, куда, интересно, выслали Крюкова?

— Вам лучше знать, — нахмурился Миронов.

— Н-да. Советую обо всем этом хорошенько подумать, — сказал жандарм и велел увести.

Миронову было о чем подумать.

На руках семья в пять человек, сам шестой. Жили с отцом, который спокон веку кормил семью тем, что развозил в бочке донскую воду по нагорным улицам. Пароконная упряжка с сорокаведерной бочкой медленно всползала от берега на крутой подъем, до самой церкви, опрастывалась у калиток и вновь съезжала к Дону. Так целыми днями, в летнюю жару и зимнюю стужу, вверх и вниз, вверх и вниз... Зимой, просыпаясь, жители нижних улиц слышали в предрассветной тьме звон железной пешни о лед. И знали, что прорубь окалывает — в любую снеговерть, в крещенский мороз — Кузьма Миронов, желающий вывести сына в люди, в офицерья. Нынче же отец постарел, вся семья держалась, по сути, на офицерском жалованье Филиппа. Именно об этом и напоминал исподволь жандармский полковник. Да разве об этом Миронов и сам не знал? Лучше деда Евлампия им все равно не сказать!

Когда в прошлый раз переезжали Дон, пьяненький старик набрался храбрости, тронул его за ремешок портупеи и с каким-то умиленным, почти молитвенным придыханием стал заглядывать сбоку в глаза. Говорил задавленным полушепотом, как заговорщик:

— Филипп Кузьмич, милый ты мой, любовь ты наша! Живешь и — живи, чего надумал-то, лихая головушка? Ах ты ж... Ды на э т о м не одни казак жизни лишился! Не знаешь, что ля, сколо нас 'казнили да вешали от века, сколо позору на голову нашу перепало через непокорство наше? А иных, по-нынешнему, — в кандалы, вон как Ивана Тулака из Морозовской станицы о прошлом годе! Не знаешь, можа? Ну, а я как раз гостил в Морозовской у своих, а там — сход станичный, а на сходе бумагу с орлом читали: лишить чинов, орденов и казачьего звания, милый ты мой! Не знаешь еще? Ах ты, пропащая твоя голова, чертов сын! Сказку-то про это, как в лапы Идолищу Поганому попадать, тожа не слыхал?

От деда воняло хмельным перегаром и старостью, но сил как бы не хватало отойти прочь или отстранить его, боялся обидеть пожилого человека, слушал почти по принуждению.

— Ты сказку-то, сказку старую помнишь? — по тощему носу деда Евлампия покатилась пьяная слезинка. — И сказала Идолища Па-га-ная: отпущу, мол, я тебя, казак-молодец, не сумлевайся! Но иди токо вперед, не оглядывайся! Слышь? Токо и делов, что не ог-ля-дывай-ся! Оглянуться нам спокон веку не приказано, Филя, мой родный! Куда идешь, зачем, ради кого, чего кругом делается, на какую Голгофу они тебя выводят — не моги знать! Иди, значит, вперед, хоть лбом в стенку, но глаз не открывай! Вот ведь какое заклятье идольское, ты токо подумай!

И, приникая ближе, хрипел в самое ухо:

— А ты... прямо туда-сюда лупаешь глазами, открыто, окаянный! Не много думая, через левое плечо — кругом!.. Не возьмешь в понятие, что ты ведь теперя видный же человек, они тебе враз вязы-то повернут, как гусенку! Даром, что ты ерой, япошек много накострычил, царя-отечество прославил, да тут оно, еройство твое, не в счет!

С виду пустая и как бы даже суеверная болтовня деда оборачивалась крутым смыслом, таилось в ней вечное, почти безошибочное пророчество, от апокалипсиса, что ли, но живая душа не хотела мириться, и Миронов был тут не волен сам собой. Его только вчера вынесли на руках из окружной тюрьмы, и он говорил там, на стихийном митинге, что отныне шагу не ступит против простых людей, против народа, готов всю кровь, по капле, отдать за них. А ночью его вновь арестовали, и вот, после длительной дороги, сидел уже он в камере гауптвахты, в Новочеркасске.

После допроса он до вторых петухов читал Некрасова — сначала «Медвежью охоту», вдумываясь в разглагольствования князя Воехотского о человечьем житье-бытье, а потом начал большую поэму «Кому на Руси жить хорошо». Читал, думал, негодовал: получалось в поэме, что именно русским людям и горько, тяжко жить в родной стороне. А когда все-таки задремал под самый рассвет, пришел дежурный и велел собираться с вещами.

— Куда? — совсем не к делу спросил Миронов от изумления: из войсковой гауптвахты обычно никуда не отправляли, водили разве что на суд.

— Там скажут, — односложно сказал дежурный. В приемной комнате посоветовали побриться и ждать начальника.

Войсковой старшина Жиров, на удивление трезвый, отослал дежурного из комнаты и, достав мундир Миронова из шкафа, встряхнул так, что звякнули медали. Кинул на плечи арестованному:

— Надевай, — сказал Жиров и как-то потерянно усмехнулся в завядшие усы. — Надевай и — убирайся. К черту!

Миронов стоял перед ним, чуть разведя руки в стороны, не совсем понимая происходящее, а Жиров объяснил:

— Войсковой атаман распорядился, сам его высокопревосходительство князь Одоевский-Маслов... — Жиров относил себя к натурам демократичным, поэтому опустил приставку «их сиятельство» и усмехнулся так, будто все это он, Жиров, мог предполагать и заранее. — Чего глаза уставил, ваше благородие? Не моя же придумка, есть бумага, с печатями!

Миронов поверил, что Жиров не шутит, и пошел из приемной. Войсковой старшина проводил его через двор, а за калиткой вдруг взял под локоть и зашептал хрипло, таясь ближних стен и самого неба над новочеркасскими холмами:

— У меня друзья в канцелярии атамана, они бумагу читали из станицы... Понимаешь, станичники-то

твои такие же отпетые, как и ты! Окружного и станичного атаманов, окаянные, посадили силой в кутузку и обещают не выпускать, пока Миронова-де своими глазами не увидят дома целым и невредимым. По всему вашему округу — бунт! А войсковой будто бы пошумел-пошумел, а потом подумал, да и велел выпустить Миронова домой. Негоже в такое время посылать туда воинские части для усмирения: как-никак — Область Войска Донского! Видал, какие пироги? Езжай, в общем, да поскорее! Пожалей своих атаманов, бестия!

Напоследок добавил уже просительно:

— Мой совет, подъесаул: надо бы утихнуть и станицу успокоить. Беды не миновать! Одно — прошло, другое — сошло с рук, а третье — не пройдет!

— Прощайте, — сказал Миронов коротко. — Поклон от меня полковнику Сиволобову!

На вторые сутки, к вечеру, он подъезжал знакомой дорогой к станичной переправе. Из-за белых меловых отрогов на той стороне Дона находила гроза. Весь край неба занимала черная наволочь, с непроглядной сумрачной глубиной в серединном скоплении и рваными седыми закрайками, похожими на клочья серой овчины. А вперехват ей били низкие, веерные сполохи закатного солнца и золотили над здешней луговой стороной малое, высоко летящее бело-жемчужное облачко, которое по неведомым законам мировых коловращений стремительно приближалось к тучевой громаде.

— Глядите, ваше благородие... — указал кнутовищем вперед и над собою попутный казак, одновременно поторапливая лошадь вожжами. — Чего же это ему нужно? Другие облака по сторонам тоже, вроде, в эту сторону отплывают, а тут такая планида у него, что, значит, вихрем захватило и затягивает в самую грозу. Ать, чертова карусель! Успеем ли до грозы-то переправиться?

Миронов полулежал на охапке вялой травы, подкошенной еще утром где-то под Арчединской, при спуске в займище, облокотясь на дрожащую от работы колес наклеску, и молча следил за высокой небесной игрой грозовых сил.

Вот малое, осиянное солнцем облачко развернулось в неведомом водовороте, коснулось перламутровым закрайком синей тучевой глыбы... И враз померкло пространство, невидимое кресало ударило о небесный кремень, изломистая, искрящая молния резанула сквозь аспидную тьму тучи и, разбрызгивая искры, вонзилась в горную макушку. И тут неспешно, со старческого ворчания начал нарождаться понад всем противоположным взгорьем затяжной громовой раскат. Потом ударило страшно, будто за станицей треснула и осыпалась в раскол гора Пирамида...

А облачко высекло яростный, громотворящий огонь из недр темной тучи и — сгорело, смешалось с овчинно-серыми, рваными краями и круговращением тьмы. Ветер теперь дул только в одном направлении, с гор, опаивая луга речной и дождевой влагой, запахом остывающих под вечер песков, тленом подсыхающих на илистом бережку ракушек и рыбьей чешуи.

Как и в прошлый раз, паром стоял у здешнего, понизового берега. Но сидельцев и пристава не было, только один перевозчик дед Евлампий ждал на борту, свесив ноги в разбитых чириках и белых шерстяных чулках, опасливо оглядывался на тучу. А увидя подводу, он вскочил, словно по тревоге, кинул свой линялый картуз с красным околышем на конец приготовленного к этому случаю шеста и, подняв его вроде походного бунчука, начал, размахивая, сигналить на тот берег. И Георгиевский крестик болтался в лад на его выношенном до ветхости зипуне.

Когда упиравшуюся лошадь ввели на палубу, Миронов посмотрел через Дон и понял, к чему дед сигналил на ту сторону. Весь противоположный берег под горой запружали станичники, и с верхов еще сбегались другие, а на воде, встречь парому, с веселым смехом и криками гребцов отплывали десятки легких баркасов и челноков-долбушек.

Дед Евлампий поплевал на ладони, натянул рваные рукавицы и, сказав «с богом», схватился за трос. Помогали Миронов и попутный казак, паром скоро вынесло на стрежневую быстрину.

— Видал?! — с придыханием, с азартом говорил дед, то кивая на тот берег, то оборачивая к Миронову залохматевший рот. — Народу-то! Видал, что деется? Не то слава, не то погибель твоя, Филя! Попервам-то слава, а после завсегда — погибель, прости меня грешного. И не обижайся, ваше благородь, жизня — она такая, завлекательная стерьва!

Лодочная флотилия между тем уже одолела свою часть пути, окружала паром. На переднем баркасе гребли двое юнцов в студенческих фуражках, а на носовой банке стоял коленями Павел Агеев и что-то кричал сквозь шум ветра, плеск волн и размахивал руками. На нем была красная косоворотка.

Дед Евлампий крестился под рокотание грома, шептал малодушно, чуть не плача:

— Божья благодать, Филиппушка, благая весть с небеси, а — страшно, милый! Стра-ш-шно...

Охлестываемый влажным ветром, Миронов стоял на носу парома, сняв фуражку и чуть наморщив лицо от ненастья. Стоял недвижно, как на присяге. А люди кричали ему славу, и там уже начинался митинг, толпа грудилась вокруг дьякона Бурыкина, сотника Сдобнова и студента Скачкова. Соскакивая с парома, Миронов поклонился людям и сразу же оказался в центре скопления, поднял руку:

— Станичники! Спасибо вам за мою свободу, по гроб не забуду ни вашей заботы, ни этой великой чести, братцы!.. Не сломят людей никакие вражьи силы, если мы так вот... объединимся, сцепимся рука за руку вкруговую за общее дело, за свое спасение!

Он известил всех о разгоне Государственной думы, призвал к единению, говорил что-то о долге каждого честного человека стоять до конца за единую и неделимую человеческую правду, гражданскую совесть. И тут полил дождь, как на пропасть, Миронов оборвал речь на полуслове, разглядел сразу под карнизом паромной сторожки жену и детей. Они все: Стеша, Мария, Валя и Клаия — испуганно смотрели на ревущую под дождем реку, и у Стефаниды было

бледное, измученное долгим ожиданием и страхом за него, какое-то окаменевшее лицо. Время от времени она мимолетно осеняла себя крестом, отводя глаза. Мария — ей было уже пятнадцать лет — поддерживала мать под левую руку, а около них, в ногах, ютился беспечно веселый Никодимка.

«Милые вы мои!» — хотелось воскликнуть ему, и Миронов, еще раз поклонившись людям, стал протискиваться к семье. Сразу же схватил на руки сына, и Никодим засмеялся, обнял ручонками за шею, прижимаясь к мокрому серебру на отцовской груди.

— Папа, я тоже... казак! — стыдясь чужих людей, сказал на ухо отцу. — Я тоже буду ездить далеко, а потом приезжать... к маме... а?

— Казак, казак, чего уж там! — засмеялся Филипп, пересилив вдруг тугую спазму в горле. — Некуда нам податься больше, сынок. Из самого себя не выпрыгнешь!

Лицо было мокро от дождя, поэтому он не стал целовать жену и дочерей, только старался прикрыть их своим телом от ветра и летучих брызг.

Пятнадцатилетняя девочка-гимназистка, наверное, Машина или Валина подружка, промокшая до костей, дрожа подбородком, по которому скатывались крупные дождевые капли, держала в поднятой руке маленькую красную косынку. Она ничего не боялась с этим флажком: за нею стояла вся бунтующая Усть-Медведицкая станица, а за станицей — готовый к бунту казачий округ в сорок станиц и хуторов. Они не дали в обиду отца подружки, подъесаула Миронова, не дадут и ее...

Миронов поставил сына к ногам матери, расцеловал дочерей, а после обернулся к отчаянной девочке. Забрал ее маленькую, холодную, как ледышка, руку в свою ладонь и опустил вместе с косынкой.

— Не надо... Накрой лучше головку, простудишься, — сказал он тихо.

Павел Агеев протиснулся с большим брезентовым пологом и начал раскидывать и расправлять его над мироновским семейством.

— Не надо, Павел. Крикни, чтобы расходились, этот дождь надолго. И надо сказать казакам, чтобы выпустили атаманов. Пока не прислали жандармов: в Новочеркасске — переполох!

— Я уже послал казаков, — кивнул радостно-напряженный Агеев. — Уговор дороже денег. Как тебя, Филипп Кузьмич, на той стороне увидали, так и послали освобождать их, чертей!

— Каша заваривается, как видно, густая, — вздохнул Миронов, выводя семью из толпы, правя к своей улице.

Дождь хлестал обильно по сникшим садам и соломенным крышам, гудел на железных кровлях, надолго обложив станицу...

ДОКУМЕНТЫ

В Главное управление казачьих войск
13 августа 1906 года. № 268.

По поступившим в Министерство внутренних дел сведениям, подвергнутый задержанию подъесаул Миронов, будучи освобожден из-под ареста по распоряжению наказного войскового атамана, 14-го, минувшего июля, вернулся в означенную станицу и, встреченный толпой местных жителей, обратился к ним с речью, в которой благодарил за свое освобождение, указывал на необходимость скорейшего созыва Государственной думы и выражал готовность снять с себя мундир и ордена, лишь бы иметь возможность стоять за народ, как он выразился. По окончании речи толпа проводила Миронова с пением революционных песен...[1]

Из газеты «Царицынский вестник»
от 23 сентября 1906 г.

Усть-Медведица, Области Войска Донского

После июльских грандиозных митингов наш Усть-Медведицкий округ попал в опалу. Теперь в окружной станице расквартировано 2 сотни «верных» оренбургских казаков, которые нехорошо себя чувствуют среди «крамольного» казачьего стана... На охрану из Усть-Медведицкого округа почти ни один казак не согласился. Во многих станицах по приговорам станичных сходов запрещено наниматься в охранники. На тех, кто приходит с усмирений или охраны, смотрят, как на врагов...

Глубокой осенью, когда, по мнению полицейского ведомства, в России наступило некоторое умиротворение и поулеглись страсти, Филиппа Миронова вызвали в окружное правление и вручили предписание войскового наказного атамана прибыть незамедлительно в Новочеркасск, ввиду «истечения отпускной льготы и назначения на новое место службы».

Миронов понимал ясно, что в этом обыденном служебном предписании, как это часто бывает, заключен был великий обман: его попросту вызывали в суд — уголовный либо суд чести, безразлично, — но в такой форме, чтобы не встревожить станицу, не дать повода служилым казакам к какому-либо возмущению. Начиналась для него новая полоса жизни.

Вышел из правления и направился почему-то не к дому, а в сторону пристани, к береговому обрыву. Отсюда открывался с высоты широкий и дальний обзор всей задонской низменной равнины, охваченной желтым и красным огнем займища, еще не сбросившего листвы, и донской быстрины. Хотелось постоять тут, над отвесной кручей, уединенно, как бы даже в тайне от окружающих, чтобы отойти душой и поклониться всему родному краю перед неминучей и долгой разлукой. В кармане лежала всего-навсего бумага с печатью, а на самом-то деле это был сокрушительный удар под дых, в самое дыхание, чтобы человек оторопел хоть на мгновение, а потом задумался и осознал: жизнь мизерна и быстролетна, а суть ее укладывается в иные веки целиком в потертый и пустой кошелек. Если, допустим, живешь ты не сам-перст, а большая семья у тебя на плечах, дом, офицерский послужной список с просроченным уже повышением по службе... Но Миронов знал все это напе-

[1] ЦГВИА, ф. 4, 5-е отд., 1906, д. 127, л. 17.

ред и потому видел в жизни совсем иной смысл. Как всякий человек от земли, он не был подвержен соблазну легкого успеха и легкой жизни.

Но душа болела, искала приюта, быть может, в самой бесприютности осеннего простора с серым небом и криком отлетающих журавлиных стай.

Стоял Миронов над многосаженным обрывом, на страшной высоте, сняв фуражку, и ветер трепал и сбрасывал на лоб и лицо его высокий, густой зачес. Сладко ныли суставы, и предательски пела под сердцем острастка высоты, хотелось вдруг жуткого, смертельного падения, как взлета. Тихо погромыхивала за Доном последняя в этом году гроза. Сквозь шум ветра, золотое и рдяное кипение листвы, от тополей и верб, от притаившихся в займище чаканных музг, от дальних хоперских излучин достиг его слуха невысказанный, немой, но понятный в его положении вопрос:

— Чем заплатишь ты за огромное и ни с чем не сравнимое счастье быть человеком, Миронов?..

С ответом спешить он не мог. Безбрежный и дорогой ему мир открывался во все стороны, и забот житейских много возникало за плечами, и ставка была слишком велика. Стоял молча, подняв сухое, словно выкованное, лицо к небу, и слышал отчетливо, как сами донские волны, и посвист ветра, и жесткие осенние травы прошептали ответ отрешенно и неумолимо:

— Жизнью. Только одной жизнью...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

8 февраля 1919 года газета «Правда» сообщила о занятии красными частями окружной станицы Усть-Медведицкой без боя. Попутно на сторону красных добровольно перешли семь белых полков. Захвачен бронепоезд, аэроплан, несколько паровозов, вагоны, 5800 снарядов и большой обоз... Этот 31-й номер газеты привез в Усть-Медведицкую Сокольников, а с ним в машине вернулся из Лисок комиссар Ковалев[1].

Черный, открытый автомобиль-ландо стоял на площади, у собора, в машине поместились, кроме приезжих, командгруппы Миронов, начштаба Сдобнов и Николай Степанятов. Бригада Блинова выстроилась полудужьем по краю площади в конном строю. Сам Миша Блинов стоял под знаменем бригады, бледный от волнения, с шашкой на караул.

Оттепельные снежинки, словно ленивые мухи, медленно опускались на плечи, черный лак машины, выпущенные казачьи чубы, жесткие гривы лошадей.

Гудел крепковатым баском высокий, затянутый в черную кожу, член Реввоенсовета Сокольников:

— Товарищи бойцы 23-й мироновской дивизии, наши красные орлы! Товарищи конники легендарной блиновской бригады! Крылатая слава о ваших подвигах летит не только над вашими родными придонскими холмами и вольной степью, она повергает в жалкий трепет последних прислужников мировой буржуазии, генералов Краснова и Деникина вместе с их прихвостнями, она вселяет гордость в сердца рабочих и крестьян, о вас знают рабочие Москвы, ее славной Красной Пресни, и рабочий Питер, и Север, и Восток, ваша слава летит и за Урал, куда мы посылаем теперь на борьбу с Колчаком казачьи полки с Дона... Слава революционному казачеству!

Грохнуло троекратное ура, стая сизых галок поднялась с криком над церковной колокольней, закружилась с тихим снижением, как после пожара... Сокольников еще выше вскинул руку:

— Как вам, должно быть, известно, товарищи, Советское правительство высоко оценило заслуги вашего геройского командира товарища Миронова Филиппа Кузьмича! По ходатайству Высшего военного совета он награжден главным нашим военным знаком доблести и геройства — орденом Красного Знамени! Он — третий человек в Республике, удостоенный такой высокой награды... — Сокольников сделал паузу, задохнувшись сырым ветром, а еще и от некоторой неловкости — орден этот Миронов не получил и вряд ли скоро получит из-за канцелярской путаницы. Но суть дела была не в том, и потому он вел речь свою дальше: — Кроме того, товарищи, на днях Реввоенсовет вашей 9-й армии наградил товарища Миронова за храбрость в решающих боях декабря и января именной шашкой в серебряном окладе, а также золотыми часами и выносит товарищу Миронову благодарность! Вручаю вам, Филипп Кузьмич, эту боевую награду, серебряную шашку революции... чтобы вы и дальше!..

Миронов отцепил с портупеи прежнюю свою серебряную шашку с красным темляком, передал вестовому, и на те же кольца Сокольников не спеша прихватил зажимами новый наградной клинок.

Рев на площади достиг такой силы, что галки сизой тучей обошли круг и, кренясь в полете, направились через Дон, а затем с новым поворотом к куполам монастырских церквей. Зимние папахи, легкие кубанки и фуражки с красными околышами взлетали над конным строем, кони беспокойно сучили передними ногами, поджимали крупы, как перед атакой. Да нет, и в атаках не ревели так дружно и с таким ожесточением мироновские конники, называемые теперь, после лихого рейда под Филоново, еще и блиновцами...

Филипп Кузьмич привычным движением прихватил тяжеловатые, на совесть отделанные серебряной чеканкой ножны, нашел правой кистью незнакомый еще, непривычный до времени эфес, попробовал на вынос клинка. Сталь прошла в мягкой внутренней оклейке легко, плавно, захотелось даже выхватить клинок на всю длину. Но сдержал руку и сердце, потому что главное в нынешнем торжестве было еще впереди.

— Товарищ Ковалев! — Сокольников пригласил ко-

---

[1] Ковалев — большевик с 1904 года. В 1918 г. председатель ЦИК Донской Советской республики, затем политкомиссар 23-й мироновской дивизии.

миссара ближе, известил бригаду: — Товарищн бойцы! Реввоенсовет фроита доверяет вашему геройскому комиссару, большевнку-политкаторжаннну товарищу Ковалеву... зачитать иовое постаиовление ВЦИК о награждении...

Ковалев дрожащимн рукамн взял большой формеиный лнст, начал читать знакомый текст — основания к иему он сам н составлял, тогда еще, после взятия крупной станцин Фнлоиово, — и по мере того как смысл бумаги прнближался к коицу, к имеин награждаемого, костенела тншиииа, восторг распирал иекую общую грудь брнгады.

За отчаянную храбрость!

В состоянии тяжелого пулевого ранеиия! Умелое проведение операции на решающем участке боя!

Беззаветную преданность рабочим и крестьянам, партии большевиков-коммунистов и ее вождям... награждается орденом боевого Красиого Знамени командир бригады 23-й мироновской дивизни Блннов Михаил Федосеевич!

«Не ослышалнсь ли? Нашего Мишу? Мишатку? Урядиика из Кепннской? Правда, что ль? На Павлиину бы глянуть, оиа-то где? Жнва ли баба нли уж водой отливают? — бормотали в толпе жителей, собравшейся иа площади. — Так это же все Ковалев сработал, ои же его любит, как младшего брата! Вместе с Кузьмичом, ясное дело... Планты-то вместе разработали, этот тугодум Сдобнов, поди, заранее все расчертил красиым карандашом, а Блннову, ему того и дай ввязаться в рубку, ои тут как тут! Погляди-ка, сндит как мертвый на своем булаиом! Ну, черти бы их взяли, кругом работают чнсто! Скоро, вндать, и вправду Новочеркасск возьмем ради круглого счету...»

— Товарищ Блииов! Подойдите к получеиию награды! — голос Сокольннкова.

Чертом подлетел к лошади комбрига вестовой Яшка Буравлев, взял под уздцы, вроде она дикая нли уж сам Блниов в такую миииуту и поводья не в состоянии держать. Михаил Федосеевич свою шашку, что держал иа караул, кинул в ножины, начал слезать с седла... Людн смотрели со всех сторон. О-хо-хошеиьки, до чего же долго иогу-то переносил через заднюю луку, через лошадниый круп, все думали, что прямо упадет, вроде как пьяный. Нет, иичего, повод кннул на луку, прифасонился, дериул к автомобилю строевым, четкнм, иа каблук...

Дверца распахиулась, длииный Сокольииков, весь в коже, вышел с орденом в руке... Блинов в заломлеиной серой папахе взял под козырек. Полушубка на ием ие было, ему и в тощем старроказачьем сукониом чекмеие жарко. Прокололи старое сукио иа уровие сердца, приложил товарищ Сокольннков к тому месту красную розетку из кумачной леиты и сверху припечатал штампованиым иа веки вечные серебряным знаком, а с изнаики закрепнл винтом — по заслуге н честь!

— Поздравляю, товарищ Блииов, от лица правительства и Реввоенсовета Республики! Больших успехов вам!

Вот тут-то и грохнул ружейный салют, и раскииулось ура иад станицей, и кони заржали иа левом фланге, прося повода, переплясывая перед большой дорогой.

Вручали еще имеииые часы бойцам-коииикам, двадцать серебряных н сто обычных.

Блнное сказал с автомобиля свое слово, потом Мироиов выдериул-такн иад головой сухое литье клинка, зажег бригаду известиыми только ему, жгущими правдой и верой, калеными словами о вере и правде человеческой. И весь коииый строй, вся бригада, осияиная переливчатым блеском клинков у своего знамеии, молча повторяла его долгожданный призыв:

— На Новочеркасск!..

2

В кануи общего иаступления в стаиицу неожидаино прибыл из Михайловкн Мнханл Даиилов. При нем — бумажка Слободского ревкома, извещавшая, что ревком находит нужным поставить военным комендантом в слободе своего человека. А Даиилов для этого, мол, иегож...

— Оии что там, белены объелись? — страшио вспылил Миронов. — Военных комендаитов отродясь военные власти ставили! А ты что улыбаешься?

Начинала уж претить ему беспечность Даиилова. Вечно он показывал свои молодые зубы, даже еслн ему иаступали иа мозоли! Написал короткую запнску: «Прошу ие вмешиваться в мое распоряжеиие, а вместе с Севастьяновым и Рузановым прибыть на фронт и взять внитовкн, как сбежавшне с фронта дезертнры, помочь добить врага...» Присовокупил еще пару веских фраз и отправнл Данилова обратио. Было такое убеждеиие, что предревкома Федорцов учтет замечание, он явио перелезал граиицы своих прав.

Дня через два после этого вестовой привез письмо от Даиилова, в котором тот просил прощения, что сам распорядился дальнейшей своей судьбой — уезжал в Москву. «Они вручили мне, Филипп Кузьмич, запиcку, в которой уведомляли вас, что ие подчиняются военным властям и начдиву Миронову, а подчиняются граждаиупру Сырцову. Я, коиечно, не мог быть почтальоном такого рода. Записку эту я порвал и сегодня же уезжаю в Москву. Казачий отдел я, конечно, поставлю обо всем этом в известность, а вы тут сами с ними договаривайтесь, я не в силах...» Такая была страиная грамота. Комиссар штаба Бураго сказал, что дело нечисто, это какая-то провокация.

Миронов отбил официальиую телеграмму за № 44 в три адреса:

Алексиково. Командарму-9 Княгницкому
Копия: Балашов. Реввоенсовет и Политкомандарм
Предвоенсовета Троцкому по месту нахождения

Весь Усть-Медведицкий округ за исключением 2—3 стаииц и волости очищен от контрреволюционных баид, обстоятельства требуют иемедлеиного восстановлеиия революциоиной власти для урегулирования политической и экоиомической жизии округа, ввиду

этого прошу об утверждении в должности чрезвычайного комендаита округа помначштадива-23 тов. Карпова Ивана Николаевича, который временно исполняет эту должность.

Выдвинутые кандидатуры политкомдивом Дьяченко товарищей Севастьянова, Федорцова и Рузанова в окружную власть не могут быть допущены по тому поведению, которое проявили в тяжкий момент революции. Теперь революция сильна, все слизняки ползут на солнце и делают пятна на нем.

Командгруппы *Миронов*[1].

Вызвал Карпова и сказал в присутствии комиссара штаба:

— Вот прочти, Иван Николаевич, и прочувствуй. Дам тебе комендантский эскадрон для патрульной службы, и езжай в Михайловку. С ревкомом не связывайся, Федорцову от меня «горячий» привет. Все. Ты член партии, разберись там. Ж-жуки-короеды!

Карпов собирался недолго. Зашел попрощаться, пожелал боевых успехов под Суровикином и на Донце, откланялся. Но у порога будто вспомнил что, вернулся и сказал как бы между делом и тоном извинения:

— Такое дело, Филипп Кузьмич... Помнишь, наверно, дедка Евлампия Веденеича? Что на пароме служил? Просил зайти, проститься.

— А он — живой? — несколько удивился Миронов. — Мы его как-то вспоминали...

— Плохой, уже соборовали... Просил ныне, очень хочет свидеться.

Миронов укорил себя мысленно, сказал, что пойдет обязательно.

Свободная минута выпала после обеда, прошел в самый конец станицы вдвоем с ординарцем, а там свернули узким проулком к Холодному оврагу, над которым крайней свисала бедная саманная хатенка под соломой.

Нищета тут была страшная: полусгнившие двери вперекос, осколок мельничного жернова вместо порожка и крыльца, глиной обмазанные глазки окон, вполукруг, только бы сберечь утлое тепло в этой хате, напоминавшей по виду овчарню. А жил в ней георгиевский кавалер с давней русско-турецкой войны, казак Веденеев... Защитник Отечества. Радетель на земле, праведная душа. Не захочешь, да заплачешь...

Толкнул дверь Миронов, за ней — другую и оказался в низкой хибаре с двумя мутными оконцами, большой беленой печью, некрашеным столом в три широких доски на шпонах, а над ним, в переднем углу, теплилась красно бедная лампада перед ликом богородицы. Старухи не было, ушла по какой-то нужде к соседям, дед Евлампий — не сказать, что постаревший, но бледный и маленький, с тощей бородкой — лежал на деревянной кровати в холодном углу. Был ли жив — не понять, руки вытянуты по швам, как в строю, глаза впали и полузакрыты, в разрезе чистой белой рубахи седая шерстка на груди торчит...

— Живой, Веденеич? — громко окликнул Филипп Кузьмич, подходя ближе. И увидел, как зашевелились сначала пальцы руки, лежавшей по краю кровати, потом с усилием дрогнули брови, шире приоткрылись глаза. Тощая борода все так же недвижимо торчала кверху. — Живой, говорю? — повторил Миронов, глядя прямо в мутные, потухшие глаза старца. Различил в них некое подобие блеска и мысли — в глубине, тайно ото всех, от всего мира — и сказал веселее: — А люди говорят, не сторожует уже на пароме Евлампий Веденеич, остарел, а я не поверил!.. Не такой человек, чтоб дело бросить... А? Евлампий Веденеевич?!

Солнце грело ледяные кущи на стеклах окошка, но мало было света, и потому он не мог разглядеть лик умирающего, мысль в запавших глазах. Понимал лишь, что старик не потерял еще разум и, возможно, память...

— Это ты, Филиппушка? — едва слышно, в одно дуновение легкого ветра, какой бывает где-нибудь в затишке, у прикладка, спросил старик. — Ты, ты, чую — холодом понесло, как от полой воды на Дону... Значит, пришел, родимый, шашка о порог стукнула...

Старик говорил слабо, с видимым напряжением сил и после каждого слова переводил дух, как бы угасал.

— Пришел, Веденеевич, проведать тебя, как-никак свои люди, — сказал Миронов. — Отступал ведь, оттого и не виделись...

Старик молчал, закрыв глаза, собирался с силами. И от желания пересилить немочь шевелил пальцами, сухой кадык ходил вверх и вниз, глотая воздух.

Затих вроде совсем, дыхание ушло внутрь, и вдруг открыл веки, дрожа кустистыми бровями, и вновь будто легкий ветер прошелся по низкой хатенке:

— Одолел ты их, супостатов... сынок?..

— Одолею, отец, — сказал Миронов, пристально глядя в угасавшее лицо старого казака.

— Филя... Помни, что сказал я тебе на той переправе... про Идолищу... О трех головах Идолища... О трех...

Боже мой, и в смертный час свой мыслит последним проблеском сознания о коварстве жизни — можно ли так? Неужели это главное, что выносит с собой человеческий опыт под гробовую доску? Или тут побеждает все непереносимый страх смерти, недоумевал Миронов.

Старик затих снова. Только правая рука дрогнула и сложились пальцы в троеперстие, переползли с одеяла на тощую, птичью грудь.

— Помни, родимый наш... Филя... — И, будто вдохнув новых сил, выговорил точнее: — Народ наш — дитя доверчивое, у нас и Гришка Отрепьев с поляками правил... Не дай, сынок, народ в трату... Сила тебе дана великая, бла-го-словля-ю на мирской подвиг... — кисть вроде бы поднялась трепетно, с желанием перекрестить названого сына своего, Филиппа, но не хватило воли и жизни, упала рука на чистую рубаху, на седые шерстинки в разрезе ворота, и — только шевеление сухих губ:

---

[1] ЦГАСА, ф. 192, оп. 1, д. 19, л. 29—30.

— Три головы... у Идолища, помни...

Лампада едва теплилась, фитиль нагорел, и оттого перед ликом иконы светил прозрачный уголек, похожий на красную звездочку.

Старик утих вовсе, Миронов позвал ординарца проститься, и за ним вошли три старухи. Хозяйка еще не причитала, стала на колени и прижалась тонким лбом, седыми косицами к холодеющей руке старика.

Миронов попрощался с ними и вышел из хаты.

Яркий свет дня ударил в глаза. С соломенной крыши капало, и в Холодном овраге, на противоположной стороне, оттаяли, обнажились из-под слоистого, стеклянно-игольчатого снега красносуглинистые пласты земли.

«Тает... Спешить надо», — подумал Филипп Кузьмич, занятый главной своей мыслью на будущее: посеять и убрать урожай в этом, *мирном* году. Предостережение умирающего старика рассеялось и отступило перед большими заботами этого весеннего дня.

ДОКУМЕНТЫ

Приказ
всевеликому Войску Донскому № 161 от 20 января 1919 года

Войска Хоперского округа под давлением красных... очистили округ. Казаки, бежавшие из хуторов, станиц, занятых мироновскими бандами, передают, что Миронов немедленно всех сдавшихся ему казаков... мобилизует и отправляет на Балашов... для дальней перевозки их на Сибирский фронт против Колчака. Теплая одежда и обувь отбирается, взамен выдаются ботинки с обмотками. Хлеб, скотина и имущество отбирается красными самым беспощадным образом... Весь хлеб из станиц и хуторов Хоперского округа спешно вывозится к ближайшим станциям. Перевозить хлеб заставляют самих казаков под угрозой расстрела. Так осуществляет свое право победителя над своими братьями-казаками тов. Миронов. Тот самый Миронов, который забрасывает наш фронт своими прокламациями, сулящими рай на земле казакам.

Знайте, казаки, против кого вы воюете и от кого вы защищаете свои семьи! Горе малодушным, поверившим в мир и добрые отношения с красными! Скорее за винтовку и шашку, напором спасите стариков-отцов от позора мироновского плена и мобилизации!

Тихий Дон не простит изменнику Миронову! Тихий Дон никогда не оправдает предателей-вешенцев!

Донской атаман генерал от кавалерии
П. Н. Краснов[1].

Приказ
по войскам Ударной группы войск 9-й армии № 14
10 февраля 1919 г.

Не получая в течение 10 дней указаний от штаба 9-й армии, а руководствуясь создавшейся обстановкой, повелительно требующей движения вперед, ПРИКАЗЫВАЮ НАСТУПАТЬ ПО ВСЕМУ ФРОНТУ, не теряя ни минуты.

Товарищи красноармейцы и красные начальники всех степеней! Помните о революционном долге, и ни звука ропота на тяжесть войны, переходов, холод и всевозможное недоедание! Впереди победа над злым авангардом мировой контрреволюции в лице всевеликого разбойника и предателя народа — генерала Краснова и его постоянных соратников, генералов Денисова, Яковлева, Гусельщикова, Фицхелаурова и иже несть числа, — их всех на веревку, если не покаются перед народом!

За поимку меня они объявили награду в 400 тысяч рублей.

За поимку их — жалко тратить ломаного гроша, мы их поймаем бесплатно.

ВПЕРЕД, ТОВАРИЩИ, ЗА ТОРЖЕСТВО ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

Командгруппы *Миронов*[1].

¹ ЦГАСА, ф. 60, оп. 1, д. 7, л. 57.

¹ ЦГАСА, ф. 1304, оп. 1, д. 164, л. 49.

3

Пока Москва проводила в жизнь лозунги революции, билась над осуществлением ближайших социально-хозяйственных планов, организовывала оборону на фронтах и труд внутри Республики, Лев Троцкий, как всякий самозваный триумфатор и «вождь», спешил расставить на всех мало-мальски важных участках новой государственности *своих людей*. Это могло обеспечить ему победу в будущем без всякой борьбы, так сказать, естественно и *по преемственности*.

Наметки социальных преобразований Троцкого были весьма туманны, ненаучны и неопределенны, лишь одно знал он хорошо: учитывая будущие затруднения в устройстве некой немыслимой, подконвойной *муниципии* в России по своим теориям, Троцкий обязан был думать о превентивном устранении с пути всех более или менее активных, думающих деятелей — как партийцев, так и беспартийных, могущих ему помешать.

В начале 1918 года такой фигурой был главком Кубани Автономов, собравший под своим началом боеспособную Красную Армию, до ста тысяч штыков и сабель, которая и решила участь белого движения в его первый период, привела к крушению генерала Корнилова. Теперь Автономова как главкома не было (не стало, правда, и армии — остатки ее, обливаясь кровью, замерзая и голодая, в тифу, гибли в зимних песках между Кизляром и Астраханью...), и речь могла идти о донцах, таких, как Ковалев, Миронов, Думенко, Шевкоплясов, Буденный...

Самой серьезной фигурой был, разумеется, старый большевик Ковалев, но при его тяжелой болезни забота снималась «товарищеским вниманием, временной передвижкой на легкую должность», недопущением к активной деятельности из гуманных соображений. Ковалев же, прямой и бескомпромиссный партиец, воспринял назначение комиссаром в родную для него

дивизию с большевистским пониманием, без обиды и протеста. Да и в самом деле его мучила и ломала тяжкая, каторжная чахотка, и товарищи из Реввоенсовета дали ему в такой трудный момент отдых, время на поправку под крылом таких сильных помощников и друзей, как Миронов, Сдобнов, Блинов и комиссар штаба — старый питерский коммунист Бураго, — чего здесь не понять?

После ликвидации Донской республики Ковалева просто изолировали от сложных вопросов на Дону. Миронов — другое дело. Миронов рос и креп в этой гражданской сумятице, в сложнейшей из войн, он проявлял такую военную и гражданскую зрелость, что стал едва ли не главной фигурой на всем Южном фронте. Этот «самовыдвиженец» с легкой руки Сокольникова стал фактически уже командармом-9, ибо в руках у него оказались все три боевые дивизии.

24 февраля 1919 года в Москве, на представительном собрании в Доме Союзов, Троцкий заявил, что «с врагом на Юге все покончено», и, не мешкая, выехал на фронт, чтобы «отметить и наградить» победителей, в том числе и Миронова.

Для устранения неугодных проще простого воспользоваться уже неоднократно оправдавшей себя «волчьей ямой». Собственно, как она организуется?

Для начала находят маленький, ничтожный к р и м и н а л... Желательно самый ничтожный — это действует наиболее сильно! Конечно, в пределах 23-й дивизии ничего подобного организовать нельзя ввиду безоговорочного авторитета и силы ее командира. Тогда можно подобрать нечто в смежной организации, скажем — в окружном ревкоме...

Каждому известно, что после захвата крупного населенного пункта командование назначает временно своего военного коменданта. Так и поступил Миронов, по традиции, в слободе Михайловке, причем назначил комендантом не какого-то своего адъютанта-любимчика, не мелкого интенданта-казнокрада, а попросил занять этот пост одного из работников Казачьего отдела ВЦИК, человека во всех отношениях авторитетного. Через неделю подъехали из Царицына и бывшие члены Михайловского ревкома — Федорцов с друзьями. Касалось ли их назначение Данилова военным комендантом? Нет, не касалось, они могли войти с ним в контакт и работать сообща. Но... именно в этот момент кто-то из тех, кто понимает великолепно о б щ у ю задачу, возможно Груднер из особого отдела, как бы мимоходом сказал Федорцову:

— Что это Миронов так разгулялся, что даже в чужой монастырь со своим уставом лезет? Надо бы ему дать понять, Алеша, кто в слободе хозяин...

В острый момент спроси такого: говорил? давал установку? — да, ей-богу, не вспомнит! Скажет: что-то такое, кажется, было, но — не помню. Мелочь. В запарке дня...

Ну а Федорцов, он что, глупый, не понимает, чего от него хотят? Может, и понимает, но он тоже душа живая, ему завидки чужой авторитет, слава боевая, да и, к слову, этот Миронов его немного обидел как-то, при эвакуации Михайловки.

Федорцов мог бы задуматься, как местный человек: кто и что ему советует? Зачем? Против кого? Увы, это исключено... Широта души не позволяет ему унизиться до понимания соседа, своекорыстие — увидеть общий интерес. Каждый федорцов по-своему мнит себя неведомым миру Иваном Калитой, собирателем Руси...

Ревком — в полном составе! — решил в грубой форме одернуть зарвавшегося красноамейского кумира Миронова. Отослали Данилова (не побоясь обидеть человека, тоже товарища по борьбе) в Усть-Медведицу, как неподходящую личность для должности окрвоенкома...

Дальнейшее разыгрывается словно по нотам, без всякой сторонней инициативы и как бы само по себе. Миронов задет за живое: факт неслыханный! Ревкомовцы — все как один бывшие его ротные командиры — разгулялись! По-видимому, спьяну... Пишет им записку — для начала мирно-увещевательную, но Федорцов опять-таки разве не имеет самолюбия? Он тоже пишет под диктовку краткую записку, смысл которой можно передать в три слова: «А пошел ты!..»

Тут уж вмешиваются и штаб, и комиссар Бураго, потому что налицо хулиганство ревкомовцев. Но — это еще как посмотреть! Вся эта переписка занимала Льва Троцкого исключительно с комической стороны. Он мог только удивляться человеческим слабостям, промахам, благоглупости и — бессилию правоты... Посмотрите, что делает обескураженный Миронов! Тут он явно не стратег!..

На столе Троцкого мелькнула еще одна записка:

Михайловка. Ревком. Федорцову

Именем социалистической революции протестую против вашего пребывания у власти, а также Рузанова и других, и требую прибыть ко мне в штаб. БОЙТЕСЬ РЕВОЛЮЦИИ, ОНА ВАС НЕ ПРОСТИТ за те минуты, которые вам хорошо известны.

Еще раз приказываю прибыть.

Командующий группой войск Миронов.
Политком Бураго.

Миронов, ответственный человек, конечно, послал параллельно мотивированное письмо в штаб и Реввоенсовет. По существу он прав, Донбюро должно бы поставить на место Федорцова с компанией. Это, собственно, так и будет, но — потом... После Миронова. А сейчас пусть будет так, как есть.

Между тем в недрах РВС родился еще один документ, уже сурового свойства.

Председателю РВС Республики тов. Троцкому

Сокольников сообщает, что начдив-23 Миронов в Михайловке ПЫТАЛСЯ АРЕСТОВАТЬ членов Усть-Медведицкого ревкома, назначенных Южфронтом. Считали бы совершенно своевременным УДАЛИТЬ Миронова от родных станиц на другой фронт, хотя бы с повышением в должности.

И — подписи.

Если бы по-человечески, по-партийному, так можно прямо спросить: да что вы, друзья мои, белены объелись? Где же попытка ареста ревкома? Ведь просто погрызлись, повздорили два наших товарища, оба — красные. Помилуйте! Ведь и Миронов у т в е р ж д е н и назначен Южфронтом, а у вас что получается? Вроде он откуда-то со стороны прискакал разгонять ревком. Чуть ли не из Новочеркасска.

Все это, разумеется, так. Но это — после. Федорцова этого можно потом даже расстрелять, дурака. Можно просто загнать обратно в телеграфисты (откуда его вытащил в свое время Миронов же!), плюнуть и забыть о нем до второго пришествия. Но пока все это важно лишь для решения судьбы Миронова. И кстати, не забыть о Бураго, он тоже после исчезнет, как человек, мешающий основному делу... Но это все — после взятия Новочеркасска.

В Козлове Троцкому передали копию записки Миронова на имя Сокольникова[1]. Он пожал плечами от недоумения (бывают же такие смельчаки из простых смертных!) и спешно выехал в Балашов, предпочтя 8-й армии штаб 9-й.

Между прочим, в портфеле его уже лежала записка Сырцова, обрекающая на гражданскую смерть всех трех михайловских ревкомовцев — ее нелишне было бы знать всем доморощенным «собирателям пенок»:

...Деятельность ревкома Усть-Медведицкого района в первоначальном составе из 3 чел. (Федорцов, Рузанов, Севастьянов) протекала весьма неудовлетворительно. Эти местные работники по своим качествам, по своему кругозору были мало подготовлены для ответственной работы, но совершенное отсутствие в Усть-Медведицком районе работников заставило остановиться на них...

Княгницкий по-прежнему валялся в тифу, парад встречи председателю РВС устраивал временный командующий Всеволодов, блестящий военный, высокий и откормленный полковник генштаба, который глубоко импонировал председателю РВС и наркому.

Вечером в интимной беседе и как бы между делом Троцкий спросил Всеволодова, каково его личное мнение о начдиве-23 Миронове. Всеволодов ответил сначала без резко выраженной неприязни, сохраняя такт и видимость объективности, что Миронов, несомненно, большой военный талант, не проиграл ни одного более или менее серьезного боя, а если отходил перед сильнейшим противником, то лишь по причинам общефронтового масштаба, и отходил всегда последним. Прекрасный оратор и вождь красного казачества. Имеет неограниченный авторитет среди бойцов и местного населения... Но, уловив некое движение в острых чертах наркомвоена, Всеволодов понял, что вопрос этот задан не случайно и что он напрасно церемонится и скромничает. Без всякой поспешности, впрочем, Всеволодов сделал само собой возникшее дополнение к сказанному:

— Но это-то как раз и плохо, товарищ Троцкий. Плохо! Весь этот, несколько... дешевый авторитет и вождизм, если хотите... Все это кружит ему голову, возбуждает подхалимство вокруг, он игнорирует деловые советы и даже приказы.

— Н-дэ? — надменно кашлянул Троцкий.

— Я обращал на это внимание товарища Сокольникова... — тонкий штабист Всеволодов знал, что Сокольников до последнего времени пытался отстаивать самостоятельность и не входил прямо в «когорту славных», как именовали в приватных разговорах людей Троцкого. На него оказывалось серьезное давление, и никто не знал, надолго ли хватит товарища Сокольникова в этом смысле, но сейчас-то он был еще «необъезженной лошадкой», можно было тихонько выдвинуть его под удар — «вождя»... Троцкий, однако, сделал недовольную гримасу, дернул носом, и Всеволодов переключил внимание на другое: — А недавно был разговор с начальником политотдела фронта товарищем Ходоровским. Иосиф Исаевич — глубокий человек и тоже подозревает, что мироновский рывок к Донцу и Новочеркасску не что иное, как авантюра. За Донцом он попадет в мертвое окружение и погубит свои дивизии. Либо... предаст и перейдет к белым.

— Даже так? — подивился Троцкий

— А почему бы и нет? Получит генеральский чин и булаву походного атамана. Такой вариант у Большого круга есть... Краснов шатается, если еще не сгорел вовсе, так что предполагать можно всякое...

— Н-дэ?

Почтительнейше склонив дородное тело свое к наркому в другой раз, Всеволодов вдруг заметил, кроме золотых запонок на манжетах у Троцкого, еще и маленький, черный железный перстень в форме изящной виноградной веточки на безымянном пальце. Эта изящная чернь как-то не вязалась с ясным золотом запонок и золотыми коронками в оскале Троцкого. К тому же Всеволодов вспомнил, очень некстати, что подобные перстни-печатки что-то собой выражали, какую-то принадлежность их хозяев, но какую именно — вспомнить было трудно. Все же Всеволодов был не антиквар, не нумизмат, даже не филателист, чтобы разбираться в подобных тонкостях. Он был всего-навсего военный... Мелькнула мысль, что подобный железный перстень, кажется, предпочитали всем другим члены какой-то масонской ложи, весьма отдаленной от социал-демократии и большевизма, в частности, такой знак как бы и не подходил товарищу Троцкому... Но — в жизни и не такое приходилось встречать. Да и раздумывать на эту тему было недосуг — момент был очень острый.

— У нас неплохо работает контрразведка, товарищ Троцкий. Смею заверить! Так вот, товарищ Ходоровский лично позвонил Миронову в Морозовскую, чтобы он отвел войска на сто верст, дабы подтянуть тылы и войти в соприкосновение с соседями — 8-й и 10-й армиями, которые отстают от него на целую неделю переходов. И что бы вы думали? Миронов да-

[1] Миронов писал в ЦК: «Не пора ли разогнать некоторых авантюристов из Донбюро, а за ними — и Троцкого из армии...»

же засмеялся по телефону. Говорит: враг-де полностью деморализован, было бы преступлением перед революцией задержать преследование даже на один час!

— Может, это так и есть? — позабавился Троцкий.

— Очень зыбок этот прорыв. Я даже хотел приказом удержать Ударную группу, но было бы нелогично: Миронов только что получил серебряную шашку и золотые часы из рук товарища Сокольникова. Был приказ командарма Княгницкого.

— Тогда, может быть, позволить все же ему взять Новочеркасск?

— Ни в коем случае! — вскричал Всеволодов в панике, позабыв всю свою благовоспитанность и не побоявшись выдать даже некоего тайного стимула своего в этом разговоре. Склонился к наркому ближе, насколько позволяли приличия и субординация, и заговорил чуть ли не шепотом, давая понять, что испуг его глубоко обоснован, а высказывается он лишь в порядке исключительности и при полном взаимодоверии: — Я об этом долго думал, товарищ Троцкий... Как русский человек, отрицающий всякий федерализм и сепаратистские увлечения всякого рода, модные на нынешнем бурном горизонте. Да. Миронов во главе трех наших дивизий Новочеркасск, без сомнения, возьмет! И даже не пятого марта, как обещал Сокольникову, а третьего, возможно, второго! Но... поймите же, он возьмет его для себя! Во всяком случае, вам... — на слове **в а м** он сделал сильное ударение, нажим, — вам он его не даст! Будет что угодно: Донская Советская республика, Донской всенародный круг, живой коммунизм, так сказать, но — автономный, в лампасах! И тогда....

— Тогда? — переспросил Троцкий с любопытством. Он понимал, что никакие мелкие зигзаги большой политики ему не угрожают: судьба России едина, отдельного донского либо тамбовского коммунизма ждать глупо. Все это просто забавляло его.

— Тогда под его рукой объединятся Дон и вся Кубань, Деникин уйдет вслед Краснову, и уж тогда нам — красным, я имею в виду, — станет, вне всякого сомнения, труднее. Атаман Миронов — это пострашнее, знаете, Краснова, Колчака и Юденича, вместе взятых! Положим, не как политические фигуры, ставленники Антанты, а в чисто военном смысле.

Всеволодов вытер лоб платочком, аккуратно свернутым в треугольник. Было немножко рискованно сказано, немного фантастично, отчасти глупо: за Мироновым войсковой круг в Новочеркасске с прошлого года числил не булаву походного атамана, а только намыленную веревочную петлю, и повесить его хотели почему-то не посреди Новочеркасска, а в том же хуторе Пономареве, где были зарыты в землю подтелковцы, весь цвет первого Донского ревкома. К слову, Миронов был и не настолько чужд большевизму, чтобы так безоглядно клеветать на него. Но у Всеволодова не было иного выхода, а Троцкий почему-то поверил.

— Придется, значит, убирать его до Новочеркасска? — переспросил он.

— Разумеется, выход один. Но... есть небольшое осложнение. Его очень поддерживает временный начдив 16-й Медведовский, а он — старый член партии. Комиссар группы войск Ковалев, как земляк, тоже, знаете, души в Миронове не чает, да и комиссар штаба Бураго еще со времен бригады полностью подпал под влияние! С ними будет трудно.

— Все это нам известно. О Ковалеве стоит вопрос особо... Он шлет сигналы в Москву, настаивает на разных глупых версиях. Придется обсудить, — сказал Троцкий, нарушая тут всякую партийную этику и даже дисциплину, но великодушно прощая это себе. — Я вас прошу через свою радиостанцию от моего имени вызвать на завтра в Балашов... на срочное заседание весь состав Донбюро во главе с Сырцовым — он, кажется, сейчас в Воронеже, должен поспеть! А также Гродиера из Михайловки, ну и... Ковалева. На завтра, без каких-либо отсрочек и проволочек. Немедленно!

— Я понял, — сказал Всеволодов и вытянулся перед Троцким в такую образцовую строевую жилу, как не тянулся даже в кадетском корпусе.

4

Первые февральские оттепели на юге обманчивы. Даже и в позднюю ростепель, в канун марта, после полуденной талой голубени в вечерних сумерках вдруг вызвездит небо, прихватит лютый заморозок, падет на поля и крыши тонкая изморозь, а на осевшей дорожной колее под конской подковой хрупнет свежий, звонкий ледок. И тогда тонкий запах едва ожившей на придорожье ивы и вишневой почки мигом истает, рассеется под обжигающим дыханием поздней стужи.

Самое голодное, волчье время.

Ковалев ехал в Балашов на важное совещание, знал, что предстоит трудный бой из-за его писем в Москву, и сдерживал внутреннюю ярость. Боялся перегореть до времени, даже пытался убедить себя, что ничего страшного еще не произошло, все можно доказать и поправить. В дороге мерз и потел одновременно, молча нахлобучивал на глаза лохматую папаху.

Первым, кого он увидел в штабе, был Ипполит Дорошев[1], почти как в стихах, «худой, небритый, но живой» после тифа. Улыбаясь через силу вывернутыми губами, с невеселой, наголо стриженной головой, он обнял Ковалева за худые, острые плечи:

— Хорошо воюете, орлы, только поменьше б писали бумаг! Шум вот из-за вас: там Сокольников руками разводит, тут Троцкий прискакал как на пожар... Неужели нельзя было приехать на очередное заседание Донбюро и выяснить дело?

Ипполит был еще слаб после болезни и, как видно, из чувства самосохранения хотел миновать острые углы, сложившийся порядок в Донбюро и Гражданупре, обойти хотя бы бочком, не вникая в глубинную суть разногласий.

[1] Дорошев — бывший офицер, председатель солдатского комитета 5-й Донской казачьей армии, большевик, член Донбюро РКП(б).

— Надеешься, что можно еще «выясить»? — спросил Ковалев. Он остановился в прихожей и заговорил, не успев снять папахи и раздеться. — Ты знаешь, какое решение они выработали по Донской области?

— Слышал... — сказал Дорошев с выражением насмешливого бессилия. — Это они из упоения победами и... от прошлых обид! Ты же знаешь Френкеля: не смог удержать Подтелкова от пасхального христосования с повстанцами, а теперь хочет за это всю Донщину выжечь каленым железом. Каратель!

— Ну, так как же нам жить при таком отходе от основных декретов и предписаний ЦК? — Ковалев подумал о Подтелкове, его политическом младенчестве (неподсудном, впрочем, уже сейчас) и добавил: — У меня вон Миронов не станет христосоваться, а мягче его в обращении с пленными нет человека!.. А следом за нами бегут мелкие политики, не нюхавшие пороха, но желающие «мстить». Кому? Настоящие белогвардейцы — за Донцом, вот бери винтовку в руки, иди и мсти, никто не возразит! А тут — народ, полтора миллиона казачьих животов да миллион иногородних мужиков, лояльных к большевизму. И тут — не позволим!

Ковалев скинул у вешалки полушубок-боярку, одернул френч. И спросил с неожиданным интересом:

— Слушай, Ипполит! А ведь я писал докладную-то в Центральный Комитет! Зачем же Лев прискакал ее обсуждать? Ведомство-то не его?

Пришлось уйти за шкаф, подальше от секретарши. Ипполит присел боком на широкий подоконник, закурил под открытой форткой аккуратную завертку из наборного мундштучка.

— Понимаешь, Виктор... Владимир Ильич до сих пор часто болеет, еще не оправился после ранения, ЦК даже запрещает ему иногда работать. А Свердлов сейчас, что называется, не спит и не ест — готовит материалы на VIII партсъезд, времени-то в обрез! Практически все дела скапливаются пока в Реввоенсовете.

— Н-да, — выразительно, с чувством замычал Ковалев.

На заседание все собрались вовремя. Приехал Сырцов (он сухо кивнул Ковалеву издали и не подошел поздороваться), Лукашин-Срабионян зато дружелюбно кивнул, как бы понимая положение Ковалева, и стал быстро снимать казачий полушубок и лохматую кавказскую папаху у вешалки. Арон Френкель, оказывается, прибыл загодя и сейчас разговаривал уже с Троцким в отдельной комнате. Блохин, правда, некстати заболел, но были приглашенные с мест: председатель Хоперского окружного ревкома Виталий Ларин (новочеркасский комиссар в дни борьбы с Богаевским и Голубовым), мужичок молоденький, но грамотный, из учительской семьи, реалист, и еще — Гроднер из Михайловки и с ним две какие-то женщины, ярко выраженные активистки агитпропа по женскому вопросу. С короткими стрижками и подбритыми шеями, с папиросками в зубах, быстрые в походке, с руками, глубоко спущенными в карманы черных кожаных курток. Грамотные, черти: не только Маркса, Дюринга и Бебеля, но и Каутского, и Бернштейна знали назубок, могли в политическом диспуте любому оппоненту дать сто очков вперед... Щаденко — комиссара Царицынского фронта и Семена Кудинова из Каменской не пригласили за дальностью расстояния.

«Н-да, — повторил как бы про себя Ковалев. — Такой вот кворум. А Ленин болеет. А Яков Свердлов, значит, по горло занят подготовкой съезда... Получается не коллективное, а единоличное, почти диктаторское руководство. «Межрайонцы» ни с того ни с сего оказались во главе угла, так сказать...»

И еще подумал, что, видимо, Блохин уклонился от совещания не без причины, а Щаденко и Кудинова забыли пригласить умышленно. Теперь весь вопрос в том, как поведут себя Дорошев и Лукашин... Ипполит по виду совершенно смят болезнью и деморализован, надежда только на армянина Лукашина... Черт бы побрал этот тиф и эту проклятую суку Каплан, смешавшую нам все карты!

Наконец Троцкий пригласил всех к себе.

Весь в черной коже, при белоснежном воротничке, маленький, похожий на уездного акцизного инспектора или провизора из городской аптеки, он был пронзителен и резок в движениях. О нем за глаза говорили, что он «весь из острых углов»... Лицо также поражало обостренностью черт, иногда асимметричных: горбатый нос, острая бородка, стоящие дыбом кудрявые волосы по углам высокого лба... В глубине черных глаз можно было заметить и крупицу самодовольства, понимания своей роли на данном этапе. Иногда это лицо искажала как бы по диагонали острая, саркастическая усмешка, и тогда становилось действительно не по себе. Именно так он взглянул на Ковалева, здороваясь, — с выражением ледяной отчужденности и даже угрозы... В чём дело, почему? Только ли из-за разногласий по текущим вопросам?

Не вдаваясь глубоко в повестку, Троцкий предоставил слово Сырцову. Сергей пригладил трепещущей ладошкой волнистые волосы спереди назад, развернул грудь, как прилежный ученик за партой... Успел страдательно глянуть на Френкеля, затем на Гроднера, вздохнул и — начал:

— Товарищи... Январские и февральские прорывы на фронте, освобождение большей части Донской области от белых банд... ставят вопрос, естественно, о власти. Как мы уже говорили, полное засилие в области однородной крестьянско-казачьей массы при почти полном отсутствии фабрично-заводского пролетариата... выдвигает перед нами сложную дилемму: временный отход от выборных органов власти, которые в данный момент недопустимы. На днях по нашей директиве ликвидирован, как несвоевременно и самостийно возникший, окружной исполком в станице Качалинской, в бывшем Втором Донском округе. С другой стороны...

— Как?! — вдруг вспыхнул Ковалев, и руки его непроизвольно задвигались на зеленом сукне стола, как бы прибирая к себе нечто неуловимое. — Совет... ликвидировали? Именно в этом и выражается ваша «свобода личного мнения»? Кто давал предписание?

— Бумагу подписал член РВС фронта Ходоровский, но не в этом дело, не волнуйся, Ковалев. Так вот. С другой стороны... группа Ковалева — у него, как мы знаем, есть сторонники на местах и в Казачьем отделе ВЦИК... группа Ковалева выдвигает в данное время Донревком почти в старом составе, за исключением, разумеется, погибших... Предлагает ввести в него наиболее зарекомендовавших себя за период вооруженной борьбы с белогвардейщиной военных товарищей, таких, как Миронов (при этих словах Троцкий сделал выразительное движение: сначала выкатил глаза, как бы удивляясь, потом задрал бородку и покрутил головой, будто хотел освободить шею от тесного воротничка с галстуком)... как Миронов, — продолжал Сергей Сырцов, — Шевкоплясов, командир 1-й социалистической Донской дивизии, Мухоперец — командир Донецко-Морозовской, Щаденко — бывший портной из Каменской и так далее и тому подобное... Этот вопрос, разумеется, может быть поставлен и обсужден, в нем есть рациональное зерно. А что уж совершенно неприемлемо, товарищи, так это — политическая сторона вопроса. Товарищ Ковалев упорно настаивает, товарищи, на политике соглашения с казачеством!..

— С трудовым казачеством, — как бы подтверждая эту точку зрения, кивнул стриженой головой Дорошев и начал разглаживать исхудавшими пальцами какие-то старые складочки на зеленом сукне стола.

— Он же — председатель ЦИК бывшей Донской республики, какую иную программу он должен выдвигать? Должна же быть преемственность, — с улыбкой сказал Лукашин-Срабионян, поддерживая Дорошева и Ковалева, но не возражая особо и против тона товарища Сырцова.

— Именно б ы в ш е й Донской республики, товарищ Саркис! — осадил Лукашина Френкель и гневно посмотрел огромными, выпуклыми, как у больного базедовой болезнью, глазами. Стекла очков блеснули. — Пора уже забывать эти сепаратистские и областнические увлечения прошлого года!

Ковалева снова заело, он крякнул от досады:

— А никто за них и не держится, товарищ Френкель! Как и Донецко-Криворожская, Донская республика была создана по указанию ЦК с исключительной целью: противопоставить ее германскому нашествию, заявившему свои права на Украину! Учитывались и пожелания фронтовиков, что ж тут такого? Эти республики выполнили свою историческую миссию, и не стоит плевать назад, может получиться «против ветра»...

— Товарищ Ковалев, да успокойся же! Дай говорить докладчику! — положил ему на руку свою большую ладонь Гроднер.

Между тем Сырцов, оглянувшись на председательствующего Льва Давидовича, принимался теперь уже персонально за Ковалева:

— Мы не можем принять эту ошибочную точку зрения Ковалева. Боязнь Ковалевым пули в отношении наших врагов и эта жажда увещеваний — старая беда казаков-большевиков: «как-нибудь миром уладим со своими...» Близорукая слабость, за которую сотни и тысячи из них уже поплатились! Ибо это в конце концов выливалось в сговоры с контрреволюцией, а последняя...

Ковалев встал, одернул на себе френч. Это было уже из рук вон!

— Товарищи! Я попросил бы... более осторожно употреблять слова в этом... не сказать «докладе», но, как все понимают, отнюдь и не рядовом выступлении лично товарища Сырцова! Где, когда, какие сговоры? Что за терминология?

— Ответим после. Я прошу меня не прерывать, — невозмутимо продолжал Сырцов, чуть побледнев и раздувая ноздри. Он волновался, разумеется, не из-за реплик Ковалева, а от непомерно тяжелой обязанности, взваленной на него Троцким и Френкелем: ставить всю жизнь, все подробности и обстоятельства истекшего года «с ног на голову», чтобы побить тактического противника. — Итак, товарищи... повторяю: в с г о в о р ы с контрреволюцией, а последняя жестоко расправлялась с теми глупцами, которые думали сговориться, убедить контрреволюцию!

Ох уж эти политические разногласия! Ленин не один раз говорил, что внимание следует обращать не столько на формальную логику того или иного тезиса, сколько на цель: во имя ч е г о и к о г о тезис-то выдвигается! Ковалев сидел бледный как мел, Дорошев не поднимал головы. Лукашин выразительно сопел, глядя в зеленую скатерть.

То, что сам Троцкий и большинство из его окружения старались постепенно дезавуировать местных работников, было уже ясно. Но Срабионян никак не мог внутренне принять этого зоологического ожесточения Сырцова, Френкеля, самого Троцкого к казачеству вообще, как целой этнической группе русского народа. Они намеренно путали казачьи войска, привлекавшиеся к полицейской работе, с хуторянами и станичниками, ведущими крестьянский образ жизни, не говоря уже о женщинах и детишках... Саркис Срабионян, как и многие донские армяне-нахичеванцы, глубоко понимал казачью проблему, знал всю ее сложность и поэтому никак не мог стать на точку зрения Троцкого и Френкеля.

Конечно, в девятьсот пятом царь, не терпевший казачьих традиций и их «областного демократизма», попросту втравил казачьи части в карательную работу, дабы раз и навсегда снять с казачества давний ореол вольницы! Да, в той же Нахичевани охранные казаки иной раз вздорно и недостойно относились к армянам, как инородцам, провожали их унизительными песенками, вроде пошлой частушки: «Карапет мой бедный, отчего ты бледный?..», но были и другие случаи в жизни, которые ни один человек — казак он, армянин или еврей — не могли упускать из виду. Были факты, которые следует помнить вечно... Саркис Срабионян смотрел на Сырцова, ниспровергавшего донцов, а мысленно видел и вспоминал другое.

Однажды под городом Карсом, в начале германской, турецкие конники — башибузуки, влетев в армянское село, обнаружили, что все население от мала до велика оставило дома, и устремились в погоню. Более тысячи безоружных мужчин, женщин, де-

тей и старнков с бедным скарбом тащилнсь по каменистому плоскогорью в сторону русских частей, ища за их штыками спасения. И вот их стала нагонять орда башибузуков с ятаганами в руках... Уже стали видны красные фески, уже слышен был ужасный вопль «ал-ла», от которого стыла кровь в жилах. Молодые армяне побежали быстрее, а старые и дети обречены былн умереть. Старухи садились на пыльную дорогу и закрывалн глаза рукамн, молилн бога о спасенни.

Но спасения не было, каждый, кто мог, бежал нз последних сил.

Среди бегущих был и двоюродный брат Срабионяна, подросток Армен, быстрый на ноги, с красивыми, зоркими глазами. Он-то и увидел одним из первых спасительную конную лаву с русской стороны.

Он не знал ни одного слова по-русски, но, когда кто-то с дикой радостью закричал рядом одно только протяжное слово «ка-за-ки-н-и!», Армен тоже заплакал от радостн н сел на теплую дорогу, скрестив ноги. И стал молиться нстово, вытирая слезы.

— Ка-за-ки-н! — кричалн женские голоса там, дальше, позадн, откуда надвигалась смертельная волна турецкой конницы. Умирая от усталости, женщины теперь бежали назад, к брошенным старикам и детншкам.

А казачья лава с налета подмяла турецкую конницу, заблестели тонкне шашки, вспыхнули острия пик, н пыльное облако, ставшее кровавым при заходящем солнце, покатилось назад, к городу Карсу...

Армен после спросил своего дедушку: кто такие казакн? Дедушка сказал: это русские воины, наши единоверцы. Их ннкто еще не побеждал в честном бою.

Так было. Этого Армен, а с ним и Саркис не забудут до конца дней.

— ...Если Советская власть на Дону вместо энергнчного дела станет снова уговаривать ка эр элементы, то этой Советской власти придется опять быть ниспровергнутой кулакамн, восстаниями при помощи иностранных штыков и их косвенном содействии, — твердым голосом продолжал Сырцов. — Поэтому Донбюро полагает, что в Донском исполкоме должно быть место не «заслуженным н известным на Дону людям», как предлагает товарнщ Ковалев в своей записке в центр, а опытным и дельным, энергнчным товарищам, хотя бы и со стороны, и, на мой взгляд, должно быть, прншлым нз других городов, с большнм опытом и энергией!

Пока Сырцов довершал доклад, в комнату два-три раза входила одна из черноволосых стриженых дам, на которых еще вначале обратил внимание Ковалев. Входнла быстрымн шагами, зажав в зубах неприкуренную папиросу, бегло озирала все, вслушивалась, как бы собираясь попроснть у мужчнн огонька, и тут же уходнла, в чем-то удостоверившнсь. Опытному взгляду могло показаться, что контролирует совещанне вовсе н не сам Троцкий, а именно эта стремительная женщина с неприкуренной папиросой в плотно сжатых, крупных зубах. Ковалеву показалось вдруг, что он где-то и когда-то уже видел эту женщину... Ныплывом, как бывает в летучем сне, возннкло вйденне... Нет, не видел, а скорее просто она была очень похожа на Ирину Шорникову, то бнш Казанскую! Штатного провокатора охранки в 1904 году! И он досадливо встряхнул головой, отгоняя возникшее наважденне.

— Почему же именно «пришлым»? — вдруг засмеялся между тем Лукашин. — А нас, местных, ростово-нахичеванскнх, куда же? Я ведь тоже член Донского ЦИК, н вы, Сырцов, и вот товарищ Ипполит.

Сам Лукашин был член РСДРП (б) с 1903 года, со II съезда.

— Товарищ Саркис, — вмешался Френкель, идя на помощь докладчику Сырцову. — Вас, по крайней мере, ннкто не отводнл и не отводнт! Речь же идет лишь о принципе подхода к этому вопросу! Товарищ Ковалев рекомендует в Донревком неграмотного командира дивнзин казака Шевкоплясова, а он...

— Позволь! — вспылнл со своей стороны Дорошев. — Шевкоплясов, во-первых, не казак, он нз иногороднus крестьян, бывшнй вахмнстр драгунского полка! Вместе с Ннкифоровым, Думенко и Буденным они организовалн отряд Красной гвардин в районе Торговой — Велнкокняжеской и разгромили банду походного атамана Попова, опору всей местной контры тех дней! Не понимаю, как можно столь голословно н, прости меня, Арон, чистоплюйски отзываться о товарищах... Что значнт, например, «неграмотный командир дивнзии»? Когда надо было отстоять Царицын, то Шевкоплясов был грамотный и подходил в самый раз, а теперь вдруг обнаружил невежество?

Френкель снлк, но линия осталась непоколебленной — снова взял слово Сырцов:

— Товарищи... конкретно! Донское бюро категорически возражает против кандидатуры Миронова, так как... он хотя и хороший боевой командир, не однажды нами же и награжденный, но... в политическом отношении величина крайне неопределенная...

Все молчали. Одни подавленно, другие в ожидании уже предопределенного решення: отказать в доверии местному активу. Сырцов выждал длнтельную паузу н отрубил в заключение:

— С бывшими казачьими офнцерамн, пришедшими к нам, надо быть очень осторожными, так как о них — имею в виду Голубова и Автономова — Советская власть не раз обожглась.

Ковалев выставил на сукно сухой, костистый кулак. Сказал, едва шевеля челюстью от напряжения:

— Товарищ Дорошев, дайте справку по Автономову. Когда н где именно на нем «обожглись»? И где он, по крайней мере, сейчас?

— А Голубов? — напомнил Френкель, не скрывая раздражения.

— На Голубова никто не делал ставки. Ни политической, ни военной, — процедил Ковалев. — То был авантюрист, случайный попутчик.

— Подтелков делал! — очень выгодно бросил реплику молчавший до сей поры Ларин.

Ковалев взглянул на него мельком и молча, с явным безразличием. Не найдя ничего лучшего, по-

вторил свою просьбу к Дорошеву. Тот поднялся, сдерживая в себе нечто взрывчатое:

— Разрешите, товарищи? Вопрос об отношении к местным военным кадрам, безусловно, сложный, — сказал он. — Но нельзя же так запросто навешивать ярлыки и развенчивать не виновых ничем, исключительно преданных нам людей! Пусть даже и бывших офицеров! — Тут политичный Дорошев склонил голову в сторону Троцкого: — Нарком и председатель РВС сам не раз указывал на полную возможность и даже необходимость сотрудничества с ними, поскольку...

Троцкий благосклонно кивнул в ответ:

— Военное искусство... э-э... помимо знаний требует особого воспитания ума и воли. Но речь должна идти о персональном подходе!

— В том-то и дело! — повеселел Дорошев. — Именно Автономов и доказал свою полную преданность. Он сформировал армию, разбил Корнилова на Кубани и немцев под Батайском. А когда его отстранили, принял новое назначение, как следует солдату революции. В данное время... он формирует отряды горцев на Северном Кавказе...

— И — много наформировал? — едко спросил Френкель.

— Такими сведениями мы не располагаем. Обстановка сложная, там вообще вся 11-я армия под угрозой разгрома, — Дорошев знал, что стараниями «левых» и ходом обстоятельств 11-я армия уже на грани гибели, но из понятных соображений смягчил слова.

— Достаточно, — сказал Троцкий. Он, конечно, знал, что данные об Автономове несколько устарели: еще в октябре он лично подписал новый приказ о назначении Автономова временно исполняющим обязанности командующего 12-й армией при члене РВС Орджоникидзе. Предполагалось, что они смогут сколотить боеспособную часть из остатков 11-й... Предположения не осуществились: было уже поздно. И не стоило в данный момент ничего уточнять.

— А какие же имеются претензии к Миронову?— уже плохо владея собой, спросил Ковалев. — Он... в авангарде всей 9-й армии...

Троцкий, улыбаясь краешками губ, перебил:

— Товарищ Ковалев, на совещании в Царицыне, помнится, я уже как-то предупреждал вас о секретных данных, имеющихся в нашем распоряжении. Н-дэ... Вы, например, могли бы поручиться, что, взяв Новочеркасск, Миронов... не объявит себя новоявленным донским атаманом? Или каким-нибудь маленьким Бонапартом?

Ковалев опешил. Дальше, как говорится, было уж некуда...

Смотрел поочередно на каждого из своих в н е з а п н о в о з н и к ш и х противников, оценивал. Сырцов, Френкель, Ларин, Гродиер да и сам Троцкий, кто они? Разве были они с винтовками на баррикадах девятьсот пятого, разве работали они в тягчайшем подполье при Столыпине? Почему с ними нянчились в охранке, никто не попал на виселицу или каторгу? Вообще, откуда они взялись иные? Взлетели на гребне событий, выползли из углов и щелей, почуя запах жареного? Троцкий вступил в партию когда? Что им до народа, от имени которого они тут ведут речь? Да разве это — товарищи по идее, единомышленники; если стараются, как сказал однажды Ипполит, утопить в ложке воды?.. Они уже забыли, кто поднимал большевистское знамя на Дону год назад, им даже и Щаденко не нужен: председателя окружкома партии они тут именуют... бывшим портным, и только! И Ковалев тут лишний, и Дорошев сбоку припека... Как же получилось так, что они сорганизовались в прочную цепь, а нас осталось наперечет? Только потому, что честные партийцы один за другим гибли на позициях, а Ленина вывела из строя эта проклятая террористка Каплан? Как мы могли довериться этим ползучим уклонистам и оппортунистам разных мастей?

Надо бороться, Ковалев, даже здесь, надо взять себя в руки... Бороться изо всех сил, как положено большевику.

Он встал над столом, высоченный и слабый, напрягся. В больной груди что-то клокотало и пекло. Сказал со спазмой в горле:

— Все здесь... надеюсь, понимают, что речь нынче не о том, кому быть в Донбюро, а кому нет... Это дело в общем-то десятое... Но речь — о направлении политики! Всей нашей политики по отношению к народу и внутри его, о людях в руководстве, которые способны такую политику проводить в жизнь... — Он обвел глазами всех и неожиданно увидел в дальнем углу внимательное и настороженное лицо молодого председателя Царицынского совдепа Левина: он смотрел с сочувствием. Двадцатилетний Рувим Левин, в силу возраста не нажувший еще очков и бородки «под вождя левых», смотрел дружелюбно, и Ковалев заговорил горячее, будто для одного Левина: — Я заявлял и заявляю со всей ответственностью, что казаков, даже чуждых нам, победить можно не только пулей, но и силой убеждения, и своей правотой по отношению к ним! Если же они перейдут к нам исключительно под силой оружия, то это будет не политическая победа... Тогда мы должны будем делать то, что делал Петр Первый, когда усмирял Кондрата Булавина. Он делал это для укрепления самодержавия, нам же придется делать это для укрепления социализма. Не вяжется одно с другим, товарищ Френкель!

Неожиданно горло Ковалева перехватил кашель. Он прижал платок к губам, сотрясался чахоточным приступом, багровел лицом. Все терпеливо молчали. Наконец дыхание восстановилось, он скомкал платок, цветущий кровавыми кляксами, и сказал с надрывом:

— Казачий отдел ВЦИК категорически настаивал и настаивает на неукоснительном исполнении на Дону и в других казачьих областях июньского декрета, поскольку его никто не отменял! Это — партийная линия: привлечение казачьей бедноты и середняков к строительству новой жизни. А вы даже и сами Советы в этих областях подвергаете сомнению? — он снова удушливо, глубоко закашлялся. На белом платке вновь зацвели кровавые пятна мокроты. Дорошев

звякнул стеклянной пробкой графина и стаканом, но Ковалев повел рукой отрицательно и сказал, вовсе захлебываясь: — О Миронове... Товарищ Миронов, кроме ордена ВЦИК и серебряной шашки от штаба армии... имеет четыре ранения за этот год! За революцию и Советскую власть...

Удушье перехватило горло, Ковалев бессильно оглядел совещание и резко двинул стулом, разворачивая его на задней ножке, быстро вышел в коридор, а оттуда на крыльцо, на воздух. Хлопнула дверь.

Посидели в неловком молчании, затем Сырцов докончил свою речь:

— Донбюро выступает самым решительным образом и против кандидатуры самого Ковалева, так как он, будучи в Донском ЦИК, в Ростове и Царицыне, своими действиями доказал свою неспособность к политической и военной деятельности. У меня все.

Троцкий выжидал с интересом, какое будет впечатление. Все молчали. Потом Лукашин переборол тягостность минуты и внимательно, с излишним пристрастием посмотрел на Троцкого.

— Лев Давидович... В таком случае нам всем следовало бы подать в отставку, — тихо и вполне мирно, по-деловому сказал он. — Суть в том, что мы, члены Донского ЦИК, по предложению Орджоникидзе, согласованному с Москвой и ЦК, голосовали и выбирали Ковалева... Был съезд Советов; делегаты с мест. С этим нельзя не считаться. Непонятно, в чем Ковалев проявил несостоятельность?

— ЦИК не сумел организовать достаточно сильной армии из казаков для своей защиты, — сказал Троцкий смело. — Это первое.

Тут забрало Дорошева, он был с самого начала военным комиссаром на Дону.

— Товарищ Троцкий, наш ЦИК существовал до подхода немцев в Ростов — д в а д ц а т ь д н е й! С 10 апреля до 1 мая!.. Можно бы, разумеется, и за это время сколотить шесть-семь дивизий, к этому были все условия в настроениях казачьей массы. Но — политическая обстановка! Не было декрета о мобилизации в Красную Армию, он принят только 7 июня. Я вас не понимаю, нет никакой объективности в оценках... ЦИК и Совнарком Донской республики сумели за счет добровольцев создать вокруг станичных и окружных ревкомов вооруженную охрану, заложить основу нынешних побед. Как можно этого не видеть?

Троцкий собирался возразить, но в углу поднялся Рувим Левин. Сидевший все время с задумчиво опущенной чубатой головой мастерового, он как бы очнулся и с недоумением оглядел совещание:

— Товарищи, все это выходит за всякие рамки... Я здесь с совещательным голосом, но... надо же прислушаться хотя бы к тому, что говорят товарищи Ковалев и Дорошев! Они первыми начали вооруженную борьбу, первыми отбили в Сальских степях вылазки атамана Попова! Наконец, вся окружающая нас масса казачества не есть единое целое, и все декреты центра были основаны именно на этом... — Все понимали, что Рувим не оспаривает главного теоретического постулата, что во главе мировой революции должны стоять исключительно люди Троцкого. Но он не понимал убожества проводимой тактики — отталкивая союзников в общей борьбе. Наконец, кто завтра пойдет в окопы, на позиции, мобилизовать массы со штыком и саблей в руке?

Первым оглянулся Френкель и сказал с издевкой:

— Рувим, ты забываешь Ветхий завет и тринадцатую заповедь: «Всяко благодеяние наказуемо».

Рувим Левин считал себя марксистом и атеистом. Он сказал:

— Оставьте эту ветошь где-нибудь в чулане или у порога старой синагоги, где вам будет угодно, Арон.

Тут усмехнулся сам Троцкий, по-отечески взирая на бойкую молодежь, которую он считал, правда, авангардом революции, но отчасти и презирал.

— Товарищ Рувим слишком молод и не отдает отчета... — сказал Лев Давидович. — Он, по-видимому, еще не имел случая увидеть живых казаков лицом к лицу, с их дурацкими чубами, монархическими лампасами и возведенной в достоинство нагайкой!

Дорошев готов был сорваться, но на крыльце гулко и болезненно закашлял Ковалев. Ипполит обошел стол заседания и направился к двери. Все понимали, что надо бы вернуть Ковалева в тепло, может быть, даже помочь как-то, поэтому извинили Дорошева.

— Вы разве не читали до сих пор, Рувим, нашей директивной статьи «Борьба с Доном»? Надо следить за нашими газетами, — сказал Троцкий. Он взял разостланную на столе газету «Известия Наркомвоена», просмотрел номер, поднял другой и, найдя нужное, прочел внятно: — Вот. «...Служба, требующая от казаков античных качеств: свирепости, беспощадности, кулачества, и полная возможность безнаказанно грабить чужое добро и богатеть исключительно за счет грабежа... К чему это могло привести? А это все именно и обратило в с е казачество в прелюбопытнейший вид самостийных разбойников! Общий закон культурного развития их вовсе и не коснулся, это своего рода з о о л о г и ч е с к а я с р е д а, и не более того...» — Лев Троцкий взял еще один номер газеты и прочел концовку: — «Стомиллионный русский пролетариат даже с точки зрения нравственной не имеет права здесь на какое-то великодушие. Мы говорили и говорим: очистительное пламя должно пройти по всему Дону и на всех них навести страх и почти религиозный ужас... Пусть последние их остатки, словно евангельские свиньи, будут сброшены в Черное море!» Только так, товарищ Рувим! И — никаких интеллигентских шатаний!

Рувим, побледнев от недоумения и молодой горячности, молчал. Его поставил в тупик «стомиллионный» пролетариат в крестьянской стране России, а также и «казаки — грабители чужого добра». Кто там, в центре, все это выдумал? И зачем?

Дорошев не мог слышать последних нравоучений Троцкого. Под его каблуками, словно битый фарфор, захрустел тонкий ледок на крыльце, опахнуло заморозком. Ковалев, надломившись, лежал грудью на плоской дощатой кромке барьера и содрогался от бьющего кашля и холода. Дорошев порывисто подошел и попробовал поднять его. Но Ковалев упирался, не хо-

тел идти в дом. Хватал ртом ночной воздух, напитанный запахом талых дневных сосулек и отошедшего за край земли солнца. Ипполит пощупал лоб Ковалева, холодная испарина остудила кожу ладони.

— Пойдем как-нибудь, Виктор, — сказал Дорошев. — Пойдем, простынешь!

— Вынеси полушубок, — клацая зубами, с трудом перемогая кровавый кашель, попросил Ковалев. Луна мертвенно светнулась на его приподнятом лице. — Н-не могу... больше! Они перехватили и последнюю докладную в ЦК! Надо самому ехать, если сил соберу... К Ленину — лично!

5

В Новочеркасске царила паника. Миронов перешел Донец!

Мчались по улицам верховые, адъютанты и ординарцы штаб-офицеров, тарахтели по мостовым колеса и взвизгивали подреза саней, двигались груженые возы с имуществом, мешками зерна, кадушками сала — и все в одну сторону, к Крещенскому спуску, прочь из города!

Пока у Африкана Богаевского шло последнее заседание, тянувшееся непрерывно вторые сутки, генералитет и офицерский корпус исподволь укладывали имущество в возки. На нового главкома Сидорина особых надежд никто не возлагал. Тягаться с Мироновым на этот раз было некому, не говоря о том, что на подмогу его ударной группе шла с севера вся 8-я армия красных под командованием какого-то Тухачевского...

Борис Жиров, штабной подъесаул, известный больше как балагур и завсегдатай небогатых пирушек, бежал поздним вечером от сидоринского штаба вверх по Платовскому, искал номер дома, в котором жил временно Федор Дмитриевич Крюков. Имея болезненное пристрастие к печатному слову, Жиров почти боготворил ж и в о г о писателя Крюкова и благодарил в эти минуты его величество случай, дающий возможность не только лично познакомиться с общественным деятелем, но и решительным образом помочь в тягостную минуту всеобщего испытания. Именно он, Жиров, побеспокоился о том, чтобы предоставить Крюкову и его сестрам в уходящем завтра обозе пароконную бричку, а возможно, еще и санитарную двуколку под архив.

Вечер был оттепельный, Жиров порядочно вспотел, пока нашел нужный дом. Окна в доме светились, и он позвонил.

Нахохлившаяся и похожая на старую монахиню женщина (как оказалось, старшая сестра Крюкова) провела его в комнату, служившую кабинетом. Федор Дмитриевич сидел без сюртука, в белой рубахе с закатанными рукавами, спиной к творилу ярко пылавшей голландки. Писал что-то в раскрытой тетради, оторвался от работы с неудовольствием, встал...

— Да? — сказал он, снимая очки и близоруко щурясь.

Тихо, уютно было в комнате, никакого волнения. И главное, эта раскрытая толстая тетрадь в холщовом переплете — Жиров отдал бы полжизни за одну только возможность заглянуть в нее, запечатлеть летучий и нервный почерк писателя! Что-то выведать и понять!

— Я — из штаба, подъесаул Жиров, — представился он. — Полковник Греков просил передать, что утром обоз уходит, Федор Дмитриевич. Надо бы собраться. Я к вашим услугам.

— Слава богу, — перекрестилась стоявшая у двери женщина в черном.

— Постой, Маня, — досадливо отмахнулся Крюков. — Так в чем дело-то?

Он снова надел очки на нос и теперь рассматривал вестового офицера более внимательно, его новенький френч и стоптанные старые сапоги.

— Пора уезжать, — сказал Жиров. Он сгорал от желания выкрикнуть паническую фразу «Миронов перешел Донец», но она каким-то образом тянула за собой другую банальную фразу — «Ганнибал у ворот!», и он крепился, не спешил с объяснениями. — Полковник Греков лично просил, — добавил он.

— А что главнокомандующий Сидорин? — спросил Крюков с ледяным спокойствием, и в тоне, каким был задан вопрос, Жиров уловил издевку.

— Генерал не теряет надежды, но... силы неравны, — вежливо объяснил Жиров. Терпение не покидало его.

— Он, как всегда, пьян? В ресторане решает стратегию?

Жиров замялся.

— Так что от меня-то требуется? — спросил Крюков с неприязнью.

— Только собраться, Федор Дмитриевич. Больше ничего. Сани или тачанку подадим утром.

— Та-а-а-к... — сказал Крюков, как бы утверждая нечто известное ему, и медленно опустился на венский стул. Широко, по-купечески раздвинул колени и, горбясь, облокотился на них. — Та-ак... Бежим, значит? К теплым морям? Или куда-нибудь за границу, к доброхотам «Тройственного согласия»?

Жиров стоял перед ним навытяжку. Не только потому, что Крюков был статский советник, а по причине его причастности к святому искусству, печатным книгам.

— Отступление, надо полагать, будет временным, Федор Дмитриевич, — сказал Жиров.

Крюков свел колени, распрямил спину, сказал грустно:

— Нет, подъесаул, к сожалению, это отступление будет последним. В том-то и ужас, что... дележ шкуры неубитого медведя всегда приводит... Впрочем, что ж распространяться на эту больную и необъятную по своему значению тему! Зачем? Но, знаете ли, я раздумал ехать. Не стоит... А полковнику Грекову передайте от меня искреннюю благодарность за внимание, я тронут. От всей души, — тут Крюков вежливо поднялся.

Жиров все понял, однако же не мог так просто согласиться с ответом писателя.

— Но как же... — он развел руками. — Ведь Миронов перешел уже Донец, остается каких-то два конных перехода, и блиновцы-головорезы начнут гарце-

вать по нашим улицам. Теперь их уж никакая сила не остановит. Печально, но это живая действительность, скрывать уж нечего.

— Я об этом знаю еще с утра, подъесаул, — грустно сказал Крюков, посмотрев почему-то на раскрытую тетрадь и как бы потянувшись к ней всей душой. — Знаю, но ехать не думаю. Пока не решил, точнее... Некуда, мне кажется, ехать. Всем нам, если трезво оценить положение и наше будущее, — некуда!

Слышно было, как тихо угасают угли в голландке, потрескивает фитиль висячей лампы-молнии с молочно-белым фарфоровым абажуром. И казалось, что точно так же дотлевает что-то горькое и чуть теплое в душе Федора Дмитриевича. Он смотрел на жирное лицо подъесаула, почему-то любовно и жадно взиравшего на него, не понимал его чувств и поэтому думал о другом. Совершенно о другом.

Не хватало сил на все это. Эвакуация у Крюкова совершалась в душе, и уже продолжительное время...

У художника, думающего и болеющего душой, неминуемо не хватит сил до конца жизни. Он иссякнет. Тем более в «минуты роковые» мира сего, когда кровь и ненависть льются через край, а добро и милосердие забираются под лавку, в подворотню, откуда и лаять-то даже нельзя, а только скулить возможно... Вот совсем на днях умер друг, хороший донской литератор Роман Петрович Кумов. Врачи признали — тиф. Но и тиф ведь прилип к нему не без причины. Кумов написал в сердцах перед тем четверостишие, страшное по своей сути:

Распята Россия врагами
На старом библейском кресте,
Который воздвигли мы сами
В душевной своей простоте...

Да. Только — из подворотни... Скулить! Но кому нужен скулеж? Ни на той, ни на этой стороне на подобные излияния души спроса нет и не будет. И там, и здесь нужна пропаганда мужества и самопожертвования, а иначе как же? Иначе мир просто издохнет от мировой скорби...

Все эти мысли пронеслись спутанно и вскачь, в панике, из них не удавалось выудить стройного вывода, какой-то законченности, но это не помешало сказать напоследок посыльному подъесаулу:

— Нет, я пока что раздумал уезжать. Дело тут не в отступлении как таковом, подъесаул... Просто у меня особые на то причины: от себя не могу никуда уехать. От себя...

Жиров развел руками. Затем откланялся и вышел, аккуратно прикрыв за собой двери.

«Все эти пишущие, думающие, которым везет в печати, не от мира сего... — с чувством некоторой обиды и столь же непроясненной зависти подумал Жиров. — Счастливы в призвании, так сказать, за счет своей психической неуравновешенности, а может, и неполноценности... Или что-то не так?..»

Думать об этом не хватало времени. Город жил, несмотря на позднее время, горячкой эвакуации. Мало кто спал в домах. На востоке, за Донцом, погромыхивало, и темноту зимней ночи подсвечивали совсем летние зарницы артиллерийских залпов...

6

Голова Миронова была аккуратно перебинтована, и все же слева, над височной костью, кровенело большое пятно. Пуля на излете сорвала клочок кожи, как бы пробороздив путь свой по черепной коробке, а кровь при головных ранениях льет неудержимо. Еще бы, как говорится, на полдюйма, на полпальца, и — заказывай духовой оркестр... Была и контузия небольшая в первый момент, Филипп Кузьмич не мог теперь много говорить, больше объяснялся жестами, движениями головы.

Говорить-то, собственно, было не время, дела были горячие... Только здесь, на узком плацдарме за Донцом, наконец начались настоящие бои, по ярости, накалу и кровопролитию подобные лишь тем, что были прошлой осенью, когда бригаду выбивали с линии железной дороги Поворино — Иловля. Теперь повторялась обратная ситуация: массы белоказаков, их было здесь, против 8-й и 9-й армий, тысяч пятнадцать — шестнадцать, — наиболее упорные, виновные в карательных действиях, просто боевое офицерство, не ждущее пощады от Миронова и Тухачевского (жмущего с севера на Каменскую), — оборонялись из последних сил, стояли насмерть. Новочеркасск был в панике, и войска белых принуждались к этим арьергардным, безнадежным, но тяжелым боям...

Февраль уже был на исходе, а к началу марта, как понимал Миронов, надо было во что бы то ни стало приканчивать гражданскую войну на Дону. Как сказал комендант штаба Хорошеньков: «Тут уж кровь из носу или из обоих ушей, но отвоеваться надо и хлеб посеять, а то в зиму помрем с голоду...» Миронов мотался по фронту, с левого берега Донца на правый, из-за ранения Блинова сам взлетал на коня, из кавбригады, где временно командовал Мордовин, мчался в стрелковые полки, из родной 23-й дивизии в 16-ю, к Медведовскому, наседал на телефон, подгоняя 14-ю, где исправно командовал латыш Александр Карлович Степинь. Бойцы называли его просто Стёпиным, приняв за доброго командира.

Позиции на узком плацдарме за Донцом были уже хорошо освоены, укреплены ячейками для стрелков и пулеметчиков, в балочках и закрытых местах таились пулеметные тачанки, а к тому берегу уже подтягивалась артиллерия. Но что настораживало и торопило командующего, так это довольно быстрое потепление, слабый «наслуз» на донецком льду, образование первых береговых проталин. Не дай бог тронется река до 3—5 марта, так сразу хватит разливом, оставит наступающие авангардные части без тылов, без боевого подкрепления, свяжет маневр на узкой полосе, прижатой к половодной грани.

Сдобнова все не было из Усть-Медведицкой, Миронов приказал своему помощнику Голикову осмотреть подробно передний край, готовить предварительную рекогносцировку для боевого приказа на 2 марта: лихим ударом по фронту и с фланга в течение суток взять Новочеркасск! — а сам, с больной, гудящей головой, уехал к Донцу, где уже третий день без сна и отдыха по его же распоряжению трудились

обозники всех разрядов и даже штабные писаря, укрепляя ледовые переправы.

Правый, высокий, берег весь был в подталинах, в черных и рыжих, глинистых голызинах. Левый, низменный, еще утопал в глубоких пойменных снегах. Само русло, полоса обдутого кое-где льда, пучилось горбом, ноздреватыми торосами, отпущенной в оттепели рыхлостью.

Миронов остановил коня над обрывом, смотрел с высоты, как и что делалось тут «на всякий случай».

У самого берега, в расщелине, где частично отошел лед, жутко и предательски позванивала зеленая вода, и потому на реке спешили.

Поперек русла в две полосы, на полверсты одна от другой, укладывали старые плетни, доски от заборов, жерди прясел, порубленный хворост и хмыз — тонкие ветки дровяного долготья. Все это прикатывалось каменными катками, засыпалось привозным с берега снегом и под вечер обливалось из ближних прорубей водой. За ночь эти горбатые укрепления поперек Донца схватывал мороз, а днем по свежей подталости их присыпали соломой и вновь поливали водой. Две таких трехсаженных полосы с мертвой наледью могли не только сослужить добрую службу при проходе тяжелой артиллерии и груженных снарядами фур, но и сдержать на какое-то время близившийся ледоход. Политрукам эскадронов и рот было строго-настрого указано: ни в коем случае не допускать в боевых порядках разговоров про эти ледянки на Донце, чтобы не заронить сомнения в успехе операции («Для возможного отступления-де готовит сметливый Миронов мосточки-то!..»). Но, если правде смотреть в глаза, Миронов и крайние случаи никогда не упускал из виду...

Свежий, отдающий солнечным теплом ветер тянул с понизовой стороны, приносил тонкий горьковатый аромат вербовой и тополевой коры, сладость притаявшего конского помета, птичьего линялого пера, весны. Такое время года всегда волновало Миронова. Как в детстве, томили счастливые предчувствия, ощущалась полнота жизни, жар кипучей, еще не сморившейся, мужской крови. Голова понемногу здоровела, боль слабела, только еще мутило при быстрой езде, словно с крепкого похмелья.

Двое вестовых горячили коней позади командующего. Степан Воропаев указал коротким черенком плети с высоты на ту сторону, присвистнул. Но и без того видно было, что от станицы Екатерининской двигались небольшой вытянувшийся по займищу обоз и десятка два всадников с красным эскадронным значком на пике. Пройдя по льду реки, ударились в галоп, наискось преодолевая подъем. Обоз отставал.

Миронов угадал впереди на сером крупном жеребце Ивана Карпова, остававшегося в Михайловке чрезвычайным окружным военкомом. Тот взбирался на крутизну споро, лежа на седельной луке и тем облегчая коня.

Когда поднялись на береговой срез, Карпов козырнул по уставу, а Филипп Кузьмич снял с руки теплую пуховую перчатку и, огладив усы, поздоровался со станичником за руку.

— Снаряды привез? — стараясь говорить тихим голосом, спросил он. — А Сдобнов что же?.. Не прихватили с собой? Что-то он залеживается там!

— Привет передавал, — сказал Карпов, не поддержав беспечно-веселого тона, которым по обычаю разговаривал командующий при встречах со старыми знакомыми. — Сдобнов-то на днях приедет, Филипп Кузьмич, тиф его, можно сказать, отпустил еще землю топтать, а вот другая беда: комиссар наш совсем свалился, лежит в Михайловке с крупозным воспалением. В армейский госпиталь его забрали... Передавали из слободы.

Миронов насторожился. Что-то не понравилось ему в самих обстоятельствах, помимо даже болезни Ковалева. Медленно натянул на горячую руку пуховую перчатку.

— Передавали? Из слободы? Да ты сам-то откуда? Должен был сидеть в Михайловке и пуще глаза охранять комиссара! Когда простудили-то? Опять он мотался с агитацией?

Карпов ерзнул в седле, виновно огладил правой рукой разметанную лошадиную гриву на холке.

— Я, Филипп Кузьмич, уже целую неделю околачивался в Усть-Медведицкой, назначен ихним приказом председателем станичного ревкома. А из Михайловки о н и меня все же вытурили (кто они, было ясно, и поэтому Карпову не пришлось много объяснять). Так что последние новости из округа у меня только почтово-телеграфные... Между прочим, весь штаб Княгницкого и вся армейская амуниция спустились из Балашова в Михайловку, там теперь столпотворение вавилонское и без нас народу хватает.

— Не мытьем, так катаньем, а сделали по-своему? — процедил Миронов сквозь зубы. Он не понимал, почему его письмо в штарм и лично председателю РВС Республики не возымело действия, почему авторитет Федорцова и авторитет «заболевших» при отступлении ревкомовцев взял на этот раз верх. Троцкий, как видно, не очень-то разобрался в этой истории и поддержал неправую сторону. Либо игнорировал его, Миронова, как сугубо военного и беспартийного человека.

— Ну ничего, — сказал Миронов, медленно разворачивая коня по дороге к полевому штабу. — Ничего. Скоро кончим войну, поеду вместе с Ковалевым прямо в Москву. Не может быть. Найдем управу.

По дороге Карпов докладывал подробную обстановку в станице и округе. В народе подымался ропот и даже страх перед сплошными реквизициями, говорили о бессудных расстрелах в красных тылах. Советской власти не выбирали, Граждаупр Южного фронта насаждал ревкомы из пришлых и случайных лиц с уголовным прошлым... Сеять в этом году люди будут, по-видимому, немного, только на личный прокорм, потому что сил маловато, да и потому, что опять все продразверстка заберет — не только излишки, но и самое кровное... А за всем этим надо ждать голода. Тревожно повсюду.

— Ничего, — успокаивал Миронов, — главное — кончить бои, войну эту, а за ней и продразверстка отпадет. Там, в Москве, умные люди, поймут, что вре-

менную и чрезвычайную меру нельзя тянуть до бесконечности, из года в год. На Волге уже были крестьянские бунты, теперь, слышно, в Тамбовской — надо полагать, к этому прислушаются... Ковалев больше надежды возлагает на VIII партийный съезд по части обращения с крестьянством.

Он поддавал каблуками под конское брюхо, непомерно спеша к своему штабу, как будто именно там и должны были решиться все больные вопросы и сомнения.

— Оно-то так, — соглашался Карпов, едущий на полконя за Мироновым, с трудом поспевая на заморенном маштаке. — Оно-то так, но и дураков, Филипп Кузьмич, кругом тоже немало. И откуда их нанесло ноне к нам на Дон, этих ретивых, а? Скажи, как лесного дряму в полую воду, не прогребешь и веслом! И все по столу кулаком стучат, нам вроде и доверия нет.

— Такое место у нас — окраина бывшей империи, Иван Николаевич, да и вода течет в эту сторону... — бурчал озабоченно Миронов и все торопил коня. — И не простая окраина, а казачья, со своим, так сказать, уставом и часословом... Недаром ведь и вся белогвардейщина сюда скатилась с генералом Корниловым, потому что надежду большую возлагала на донскую Вандею... Ну, Вандеи-то, положим, не получилось, сильно покраснел Дон к тому времени, а слава-то еще с девятьсот пятого дымит по городам и весям... «Казаки — старорежимцы, нагаечники...» Добрая слава помалкивает, дурная по ветру носится; вот к нам и посылают из Москвы самых рьяных да зубастых, чтоб тут их побаивались. Во всем этом свой резон есть, но... — махнул рукой, огладил усы и лицо, скрывая гримасу боли от длительного разговора. — Ладно, Иван Николаич, вечером еще об этом договорим. Тут главное — момент этот перетерпеть, он должен быть коротким. Советская власть, она по сути справедливая власть и народ в обиду не допустит.

Легко соскочил с коня, кинул повод ординарцу, взбежал на низкое крылечко бывшего поповского дома у самой церкви. Тут, в небольшом правобережном хуторе, был временный полевой штаб группы войск Миронова.

Начальник штаба Степанятов только мельком кивнул Карпову и с озабоченностью подал Миронову бланк свежей телеграммы. Тот прочел с маху, кинул тяжелую, волглую папаху на стол и сам опустился на жиденький венский стульчик, загремев ножками.

— Не пойму... С ума они там посходили, чи шо?

Украинские слова и поговорочки Миронов употреблял обычно в минуты самого сильного раздражения, заместо матерщины.

В телеграмме от 28 февраля значилось:

Ввиду предположения дать начдиву Миронову более ответственное назначение, отправить его немедленно в Серпухов (штаб Наркомвоена), дабы дать возможность штабу и мне ближе с ним познакомиться.

Троцкий[1].

[1] ЦГАСА, ф. 1304, оп. 1, д. 162, л. 2.

Телеграмма перешла в руки Карпова, а Миронов сказал Степанятову просительно:

— Николай, будь другом... Созвонись с Михайловкой, с Княгиницким или с этой... двуличной сволочью — Всеволодовым. Нельзя же... Нельзя сейчас останавливать войска, затягивать бои, это — смерти подобно. Успех держится на нашей стремительности, в Новочеркасске — паника. Три дня! Три дня отсрочки надо испросить, а из Новочеркасска уж поеду в Серпухов, как только обстановка стабилизируется!

Он как-то сник внутренне, будто выдернули из него невидимую, но очень сильную пружину. Не приказывал, просил подчиненного. Степанятов, наоборот, вытянул руки по швам, понимая всю тяжесть момента. Но выполнить мироновскую просьбу он не мог.

— Товарищ командгруппы... Филипп Кузьмич! Дозвониться до Михайловки невозможно. До Морозовской сумеем, оттуда до Усть-Медведицы — едва ли, а там еще девяносто верст...

— Попробуй, Николай, попробуй! Все на кон поставлено! Затормозим наступление, полая вода отобьет авангард, чем это пахнет?

Степанятов ушел крутить рукоятки полевых телефонов, но все понимали, что успеха в этом предприятии не будет. Где-то шли мокрые снега, налипали на провода, где-то опоры вовсе завалились, по сетям шли нескончаемые разговоры-перебранки, попробуй-ка перезвонись по нынешним телефонам чуть ли не через всю Донскую область! Тут до ближней окружной Каменской едва ли докричишься!

Дозвониться в штаб 8-й, к Тухачевскому, чтобы передали прямо Троцкому?

Говорить-то практически не о чем... Разве они сами на верхах не понимают?

Телеграмма спутала все мысли и надежды, Карпов сказал только, что обоз, прибывший с ним, привез не снаряды, а подарки от населения станицы доблестным красным бойцам группы Миронова, которые предполагалось вручить по эскадронам и ротам в самом Новочеркасске.

Миронов только головой покачал.

А может быть, задержаться на эти три дня? По болезни, например?

Шальная мысль, пахнущая трибуналом...

Надя позвала обедать, мужчины вышли на крыльцо мыть руки. Миронов, с обнаженной, перебинтованной головой, сошел с порожков, умывался снегом. И тут на быстрой рыси развернулись у крыльца легко запряженные лошади, на облучке праздничных, почти игрушечных обшивней сидел исхудавший и бледный, весь перевязанный свежими бинтами Блинов Миша, а в задке привстал здоровенный мужчина с красным, охлестанным ветром лицом и подстриженными под английскую скобочку усами. Зеленая шапка-богатырка непривычно указывала пальцем в небо. Синяя лапчатая звезда — во весь лоб. Новая форма в армии.

Увидя Блинова, Миронов раскрыл мокрые руки, а Иван Карпов с готовностью принял вожжи и примотал пару усталых лошадей к ближней коновязи.

— Встал? Не рано? — обрадованно спросил Фи-

лнпп Кузьмич Блинова, благодаря в душе этого смышленого урядника-комбрига за то, что он всегда являлся на рисковом перепутье и в самую нужную минуту, как спасительная поддержка. На незнакомого штабиста с подбритыми усами глянул только бегло: какой-нибудь инспектор из штаба армии или даже фронта.

— Не рано, Филипп Кузьмич... Прослышали мы, что вас перебрасывают в самую Москву на какое-то повышение, не то в академию, что ль... Так вот... Повидаться надо было, а тиф меня не затронул, одни раны побаливают пока. Гнонтся одна, так перетерпим! И вот еще товарища Эйдемана привез вам, для знакомства, он — в 16-ю...

Высокий военный размял ноги, козырнул:

— Роберт Эйдеман... Назначен к вам начдивом-16. Рад познакомиться, товарищ Миронов!

Человек характерной прибалтийской наружности— огромного роста, крепкий, с глубоко посаженными голубыми глазами, чуть сдвинуты густые брови... Бросается в глаза некая полувоенная, полуинтеллигентная осанка. Лет ему всего под тридцать, а то и меньше, но внушает уважение этой своей осанкой.

Пришлось вытереть нахолодавшую руку носовым платком, прежде чем поздороваться.

— А как же с Медведовским? — спросил Миронов.

— Товарищ Самуил откомандировывается в... на политработу в штарм, — сухо доложил Эйдеман.

— Хорошо, — сказал Миронов, хотя ничего хорошего из этой новости извлечь не мог. Ясно пока стало одно: и ему, и Самуилу Медведовскому не доверялось брать Новочеркасск. Это главное. Предположения «о более ответственном назначении» — лишь отговорка, скрывающая некую штабную манипуляцию...

— Пройдемте, — сказал Миронов и взял покачнувшегося Блинова под локоть. — У нас как раз борщ на столе.

Обедали молча. Надя подавала и убирала со стола, как всегда, оставаясь незаметной. После обеда Миронов закурил, что делал весьма редко, и спросил, как бы между делом:

— Кому приказано передать 23-ю дивизию?

Эйдеман посмотрел на Блинова, на красивую молодую хозяйку, не зная хорошо, как ответить, и по этой паузе Филипп Кузьмич определил, что Эйдемана прислали действительно в 16-ю, но никак не на его, мироновское место. Ударная группа, по-видимому, расформировывалась.

— Говорили в штабе, по-моему... передать пока вашему начальнику штаба Сдобнову, — сказал между тем Эйдеман. — Но Сдобнов сослался на болезнь, сдадите временно помощнику... Я только хотел сказать, товарищ Миронов, что есть слухи... Хотят вас назначить командармом, и надо все сделать как можно быстрее, поскольку он не терпит, когда его распоряжения не выполняются либо саботируются. Сам я имел, так сказать, случай убедиться...

— Да, конечно, — сказал Миронов. — Завтра к вечеру сдам все... Вам до штаба 16-й дать провожатого?

— Да, конечно, лучше с конвоем... Места незнакомые, дело под вечер. И надо спешить. Спасибо за обед, — Эйдеман церемонно изогнулся перед хозяйкой. Надел свою зеленую богатырку с синей звездой на крупную белокурую голову.

— Еще одну минуту, товарищ... — Миронов пригласил гостя в штабную комнату, где Степанятов безуспешно накручивал ручки двух аппаратов.

— Николай Кондратьич, не надо, — махнул рукой Миронов. — Брось звонить, все бесполезно... — И, подведя нового начдива-16 к настенной карте, показал узкий и длинный плацдарм свой вдоль правого берега Донца.

— Поимейте в виду, — сказал он, очеркивая ногтем этот плацдарм и его уязвимость в случае контрнаступления противника. — Сил у них нет, но...

Эйдеман приблизил близорукие, как видно, глаза едва ли не вплотную к карте и кивнул:

— Но... в случае раннего паводка и ледохода? Так?

— Я именно это и хотел... — сказал Миронов. — Очень несвоевременная директива. За два-три дня следовало бы покончить с Новочеркасском, дух войск этого требует. Но теперь уж, видимо, все это станут осуществлять другие.

— Не знаю. Мне ничего об этом не сказано, — вежливо уклонился от продолжения беседы Эйдеман. — Прикажите, пожалуйста, подать сани и конвой. Уже вечереет.

...Поздно вечером Миронов трудился над столом, сочиняя последний, прощальный приказ по бывшей группе войск... Блинов, распластавшись на кровати в соседней комнате, время от времени окликал Кузьмича, задавал недоуменные вопросы, но Миронов не хотел отвечать, ругался.

Подумать только, какая глупость творится на белом свете! Не в нем дело, не в Миронове, а в том, что триумфальное наступление красных войск будет неминуемо сорвано, генерал Сидорин получит необходимую ему передышку, подойдут свежие силы Деникина! И кто все это делает, зачем?..

Две недели назад, всего две недели, Миронов писал в оперативном приказе, обращаясь к бойцам и командирам: «Революция победоносно идет к основному гнезду контрреволюции — Новочеркасску. Еще одно усилие, и пусть это усилие свыше человеческих сил, но... победа за нами, а за победой торжество трудящихся масс и светлая жизнь наших детей. О себе забудем для счастья потомства. Каждый красноармеец должен знать, что со сломленным врагом бороться легче, чем с опомнившимся, и мы не должны дать врагу ни отдыха, ни срока...»

Бойцы это поняли, оттеснили врага за Донец, по льду, Реввоенсовет Республики не понял! Теперь Миронов вяло держал в пальцах ученическую ручку, усталость и обескураженность проникали даже в строчки приказа: «Верьте, что все силы клал на торжество революции... Не судите и лихом не поминайте! Объединенная группа войск жить перестала, но я заповедую тов. Эйдеману, новому командиру 16-й дивизии, и тов. Голикову держаться друг друга...»

В полночь позвонили из штаба 16-й, говорил Самуил. В полках дивизии — митинги, вообще буза, не хотят принимать незнакомого начдива. Сам Медведовский удивлен и расстроен, не ожидал этого от своих бойцов, сейчас выезжает в части, будет успокаивать.

Миронов хотел спать, его все это как-то уже не косиулось до глубины, спросил только:

— Сами справитесь?

Голос Медведовского был сдавлен помехами, но сам он верил в благополучный исход:

— Конечно, сейчас же иду в полки. Моя недоработка, последние выплески партизанщины... Но решил доложить все же, товарищ Миронов...

— Спасибо, — сказал Миронов. — А что Эйдеман на это?

— Хмурится, конечно. Но он — партиец, понимает... Говорит, его 2-я Уральская тоже не приняла бы незнакомого начдива без уговоров. Думаю, к утру все это уладим.

— Желаю успеха, — сказал Миронов.

— Счастливого вам пути в главный штаб, — ответил Самуил.

На этом дело, однако, не кончилось. На другой день, перед самым отъездом, под вечер, комиссар Бураго принес странную телеграмму на его имя, как комиссара штаба. В телеграмме говорилось, что врид начдива-16 Медведовский будто бы отказался сдавать дивизию Эйдеману, волнует бойцов. Дальше значилось:

Качестве политкома при начальнике группы вы обязаны заставить Медведовского исполнить приказ. Случае упрямства он будет рассматриваться как восставший против Советской власти.

Подписал *Сокольников.*

— Какая же сволочь информировала так штаб фронта? — спросил Миронов, угрюмо вскипая душой. — Ведь это беда! Какую горячку-то порют!

— Я проверил, дивизия успокоена, Медведовский все сдал порядком, — сказал Бураго. — Теперь могу со спокойной совестью уезжать.

— Куда уезжать? — снова подивился Миронов.

— Отзывают в поарм... Какое-то поветрие, товарищ Миронов.

— Что ж они делают? Оголяют штаб в самый решительный час... Ковалев в больнице, Сдобнов в тифу, по нездоровью отказался даже принять дивизию. Голиков только в полночь вернется из частей, и комиссара штаба тоже отзывают. Это же черт знает что!

Бураго молча пожал плечами.

Простились.

Миронов решил дождаться Голикова, чтобы все растолковать о возможной опасности, не погубить дивизий. Требовалось наступать незамедлительно.

Ждал его, вытянувшись по ночному времени на поповском диване, рядом со спящим Блиновым. Сна, конечно, не было. Болезненно, с перенапряжением пульсировала в голове кровь, и сердце билось горячо, как в бою. Опять и опять продумывал сложившееся положение, свою о т с т а в к у, возможность катастрофы на фронте и вновь скатывался мыслью к темной игре троцкистов из Донбюро, ранению Ленина, тяжелой болезни Ковалева.

Единственный человек на фронте, кто мог бы еще реально противостоять изменникам и шкурникам из Донбюро, всей линии Троцкого, был Ковалев. Он мог снестись с Сокольниковым, информировать, наконец, ЦК партии и Ленина. Но он тяжело болен. Полный крах.

Да, Ковалева он считал лучшим из большевиков, встреченных за всю свою долгую жизнь: это был кристально чистый и честный человек, застенчивый до сих пор, как юноша, но суровый и неуступчивый в практических делах. Он был достаточно образован для тех постов, которыми наделила его революция, тонко понимал суть политической ситуации, знал свой многострадальный народ «изнутри», до последней кровинки, как никто другой. На трудные вопросы, которые частенько задавал Миронов один на один, говорил всякий раз твердо, не уклоняясь: «Это лишь момент, Кузьмич, ложная ситуация, надо и при этом не упускать главного. Посмотри, как дальше будет. Верь в идею и в Ленина, тут правда наша, Филипп Кузьмич».

«Это верно, — думал Миронов, — правда с нами, но кто-то ее теснит, нашу правду, оголяет, позорит, насмехается, вот в чем беда!»

Ах, Ковалев, Ковалев! Собирался все жениться после войны, детишек родить, воспитать умными и честными, а на тебя — сто напастей, как на самого последнего грешника!

Сна, конечно, не было, очень уж болела душа. За окном капало, слышно было, как с шорохом съезжал с крыши и садился мокрый снег. В водостоках уже булькала вода, и тогда Миронову казалось, что он слышит отсюда, как на переправе, под береговыми обрывами, предательски потрескивает лед коварного Северского Донца...

7

Ковалев лежал с воспалением легких в Михайловке. Врачи считали, что положение его безнадежно: поражены пневмонией обе стороны. Причиной была, по-видимому, простуда на фоне тяжелой чахотки. Но врачи не знали всего, что случилось с больным комиссаром в последние дни.

Беда была не в том, что его с позором сняли со всех постов и сам Троцкий угрожал рассмотреть вопрос о его партийности, суть этой борьбы он еще понимал, мог пережить и бороться дальше. Но у него просто не хватило сил физических для последнего своего м и т и н г а в окружении белых казаков, по пути из Балашова к фронту.

Видимо, уж на роду была написана эта нечаянная встреча со станичниками, никак не иначе!

Отстраненный от всех постов и должностей, смятый и оскорбленный Ковалев после заседания Донбюро не остался в Балашове на лечение, не завернул во

Фролов к сестре, на молоко и свежее сало, а двинулся спешным аллюром к дивизиям, к Миронову и Блинову, в любом качестве, хоть ротным политруком, довоевать эту войну. Очень спешил, хотел близ Донца спрямить дорогу и налетел вечером, при ясной луне, на белую заставу.

Видимо, и впрямь было написано у Ковалева на роду расходовать свои силы до конца, до последней капли ради общего дела.

На спуске к Донцу, в редковатых тальниках, близ какого-то хутора, выскочили вдруг с обеих сторон казаки, человек пять, схватили коня под уздцы, повисли с обеих сторон: «Стой! Кто такие, бросай оружие!» Все — в хороших полушубках, в папахах, злые и голодные как черти. При луне хорошо видны были и погоны на плечах.

Ковалев ехал рядом с ординарцем в задумчивости, почти дремал в каком-то бессильном негодовании после балашовского совещания, но тут сразу встряхнулся, понял, что надо немедля выходить из смертельно опасной позиции.

— А ну, тихо! — сказал он своим басовитым, угрожающе-мрачным голосом, задавив внутренний разлад в мыслях и чувствах. — Тихо! Кто у вас старший заставы?

— А ты кто? — столь же громко и дерзко выкрикнул один из казаков. — Лазутчик мироновский, гад? А другой кто?

— Не орать! Я — комиссар 23-й мироновской дивизии Ковалев! Прибыл для переговоров с вашим командованием! — И, оценив возникшую молчаливую паузу, добавил: — Вот и ведите меня с ординарцем к вашему штабу, без всяких! Кто у вас тут командует?

Все произошло в какие-то мгновения. Выручила и на этот раз сметка, иначе Ковалеву не миновать бы скорой и жестокой расправы. Казаки знали, конечно, о военном своем положении: эта часть просто оказалась в тылах красных, на отшибе от главной дороги, сама была по существу в окружении и искала какого-то выхода. Тут и комиссар-парламентер для них был не в удивление!

— Неужель сам Ковалев? — бухнул кто-то с хрипотцой в севшем голосе. — Вот уж кого не думали нынче повстречать на дороге! И — прямиком к нам, в гости?

— Я прошу провести нас к штабу, — сохраняя видимое спокойствие, сказал Ковалев.

— Зачем вам к штабу, там вас, гляди, и кокнут сгоряча, — вдруг засомневался урядник в лохматой папахе. — Може, сначала в нашей сотне потолкуем? У нас много теперя вопросов есть, у рядовых. Раз уж вы к самому Донцу вышли.

— Нет, ведите в штаб, — не согласился Ковалев. — У меня такая задача — склонить всю вашу часть к добровольной сдаче в плен. Вы окружены.

И казаки поверили, отвели Ковалева с ординарцем в штаб. Оказалось, здесь, в заснеженном займище, таилась целая двухполковая бригада белых.

Всю ночь в штабной горнице, где собралось десятка полтора офицеров (в том числе один войсковой старшина и два есаула), Ковалев вел официальные переговоры о добровольной их сдаче в плен. Дело было по сути выигрышное, потому что к Миронову за последние два месяца перешло без малого двадцать полков. Да и сильно затянулась уже эта кровавая, братоубийственная война на Дону. Чувствовалось, что большинство офицеров склонялись к сдаче. Из сеней то и дело просовывали головы урядники и рядовые казаки из охраны, с любопытством прислушивались. Скрипел снег, таял у порога. Ковалев напрягал последние свои силы, говорил с убеждением, старался, что называется, пронять этих обовшивевших, уставших от зимних неудач на фронте вояк, убедить. Многие старшие офицеры были недовольны Красновым и Богаевским, но не доверяли и Советам, и тут была главная задача перед Ковалевым: разрушить кору недоверия и предвзятости, вселить в душу надежду.

У него был дар убеждения, не раз уже побеждал он в горячих диспутах не только сомневающихся, но и откровенно не верящих. Иной раз подавлял даже врагов. Но в эту ночь, к сожалению, счастье изменило ему. Долго молчавший пожилой есаул, угрюмо смотревший из угла, оглядел сочувственно слушавших офицеров и вдруг протянул к Ковалеву большую загорелую руку с давно не чищенными, грязными ногтями:

— Постой, комиссар, воду лить на наши головы, они ишо не такие пьяные, как тебе кажется! Положение наше не из веселых, отступаем, и от этого многие согласны выкинуть белый флаг и ехать за вами, хоть к Миронову, хоть на тот свет — все едино. Поражение, оно поражение и есть. Но... надо же в суть дела, в корень глянуть, прежде чем во вражьи руки сдаваться...

— У нас половина дивизии нынче из бывших пленных и добровольно сдавшихся казаков, — сказал Ковалев. — Мы их за врагов не считаем.

— Это так. К Миронову и его штабу доверие у нас может быть: слухом земля полнится, что там нас не расстреливают, — спокойно принял его слова есаул. — Но вопрос другой. Сами-то вы знаете, комиссар, за кого воюете, хто у вас ныне правит? А? Особо после ранения Ленина?

— Идея на Москве правильная, она и не даст народ в обиду, — сказал Ковалев, чувствуя, как этот есаул забирает в свои руки уже завоеванную им инициативу. — Правит на Москве революция и наша партия, тут сомнения нет, земляки.

— Есть сомнение, — печально свесил давно не стриженную голову есаул. — Есть большая тревога за всю Россию, и даже за вас с Мироновым, комиссар... Подумайте сами лучше, как ваши дела ныне обстоят, а уж мы, видно, пробиваться к линии фронта сами будем, силой. Не погибнем, то и выйдем из кольца. Дело военное. — Переглянулся с войсковым старшиной и еще добавил: — А с вами поступим, как положено: отпустим с миром. Токо — пешки, чтоб вы какого вреда нам не сумели сделать. Пока дойдете до своего края, мы тут сменим позицию. Такое вот будет наше решение, комиссар...

Утром Ковалева с ординарцем вывели на дорогу

за хутор и отпустили. Нечаянная миссия эта, спасшая им жизнь, оказалась малоуспешной в главном: он не сумел склонить офицерский штаб к добровольной сдаче в плен. Хотя обстановка на фронте вроде бы способствовала этому.

Шел и думал, какую такую слабость он допустил во время переговоров, что пожилому есаулу в две-три реплики удалось разбить его крепкие, выверенные за годы войны доводы. Шел, раздумывал и чувствовал, как в теле поднимается нездоровый жар и от перенапряжения колоколом гудит голова.

В ближайшем же красном хуторе Ковалев свалился в жару, и дальше его везли в санях, а уже под Арчединской переложили в высланный навстречу автомобиль. Ослабленный организм не был готов к этой нечаянной простуде, жар поднимался стремительно, в Михайловке врачи Шер и Могилевский установили двустороннее воспаление легких, осложненное давней чахоткой.

Сознание однажды вернулось к больному, Ковалев открыл глаза и увидел рядом с собой пожилую сиделку с красным крестиком на белой косынке и младшего племянника своего Михаила, из Фролова. Михаил тоже был в больничном, сером халате и держал на коленях гостинцы от родных в старом крапчатом платочке, завязанном узелком. Ковалев провел сухим языком по увядшим губам, и сиделка тут же дала ему из ковшика воды, он с усилием повернул голову к Михаилу, голос его был немощен и как бы надорван:

— Все.. живы... у вас... там?

Михаил, крепкий двадцатилетний парняга из ревкомовской охраны в Арчеде, обрадованно закивал чубатой головой:

— Все, все живы, дядя! Поклон от матери, и от Куприяна, и от тети Оли с ихним семейством! Гостинцы вот — сало тут свежее, с осени, масла сбили, мать вот завернула в чистое, торбочка с сушеными яблоками... Прослышали, что прихворнул ты, так вот, чтобы на поправку скорея...

Михаил при своей молодости уже послужил порядочно, видал немало смертей от пули и шашки и понимал, конечно, как плох дядя Виктор. И оттого говорил как-то торопливо, не совсем уверенно, даже сбивчиво. Очнулся больной от беспамятства на его глазах, но надолго ли? Хотелось сказать побольше, укрепить душу и силы, задержать его на этом свете.

— У нас все здоровы, поклон, говорю, тебе шлют, дядя Витя. А Дуняшка-то наша, она ведь уже большая, в школу ей пора, так она сбегала в кладовку и горстку сушеной вишни мне в карман сунула: грит, передай и от меня нашему дяде Вите...

— Дуняшка? — расслабленно прошептал Ковалев, и слезы покатились по его осунувшимся щекам. — А я ее почти и не помню. Сколько ей? Это ее, значит, я видел ныне?..

Он заговаривался, припомнив ночной кошмар: какую-то маленькую девочку с голыми белыми ножками, игравшую в саду, не то в займище, и огромную хищную змею, тайно подползавшую к ней. Змея извивалась в сухой траве и плотоядно шипела, выпустив рассеченное жало, а Ковалев в ужасе смотрел на нее со стороны, бессильный даже пошевелить рукой, пальцем. Пот выступал парными градинами на его лбу, он мычал, пытался сбросить с себя сонное бессилие и вгонял в последнюю истому свое износившееся сердце.

Михаил протягивал ему горсть мелких сушеных вишен от самой младшей племянницы Дуняшки, но Ковалев уже впадал в новое беспамятство, лицо его было страшным, почти омертвелым.

— Змею... Змею... отгоните, прокля-ту-ю!.. — с трудом разобрал Михаил его последний, едва слышимый шепот. — Про-кля-ту-ю...

— Ой, господи, — стала вдруг креститься сиделка. — Никак отходит, бедный! Ну-к, фершалицу, Марковну, позову скорея, либо успею, либо...

Она бросилась за фельдшерицей.

Через Морозовскую, Суровикино и Усть-Медведицкую спешил Миронов, чтобы, выполняя предписание наркомвоена, побывать заодно и дома, и в Михайловке.

В Усть-Медведицкой не застал своего больного начальника штаба, оказывается, Сдобнов уже порядочно поправился и утром выехал в Михайловку к комиссару. Миронов едва ли не на ходу, торопясь, спросил, что за вести позвали Иллариона и как он сам после тифа решился в зимнюю дорогу, на что хозяйка сдобновской квартиры Татьяна (недосягаемо томная, с изломистой бровью и подкрашенными губами) ответила, что Илларион при ее догляде отделался сравнительно легко, даже волос не пришлось сбривать на голове, а вот про Ковалева из штаба совсем нехорошие слухи. Черт знает куда заехал по пути из Балашова, чуть в плен не попал, а потом, потный, верст двенадцать шел с ординарцем пешки по зимней дороге, простудился. Да при его-то здоровье!

— Илларион с собой взял фельдшера Багрова... Ну, того, что при Голубинцеве здесь в тюрьме сидел, как ваш сообщник! Да. Не доверяет он тамошним докторам: там, говорит, «вылечат»! — добавила Татьяна.

Миронова сопровождал конвой в полтора десятка красноармейцев, ехали быстро, на сменных лошадях.

К полудню следующего дня спустились с горы в Михайловку, вывернули на главную улицу, и вдруг еще издали резанул по глазам черный, траурный флаг, безвольно свисавший с козырька над крыльцом окружного ревкома.

Неужели?

Фельдшер Багров стоял на мокром зимнем крыльце в одной гимнастерке и без шапки. Тающий снег, роившийся в воздухе, набивался ему в волосы, в бороду, слепил глаза, и потому, наверное, фельдшер не мог смотреть прямо на спешившегося и подходившего слишком быстрым, прыгающим шагом начдива.

Крайние двери ревкома были полуоткрыты, из них вырывался теплый парок. Оттуда вышел Илларион Сдобнов. Вяло и как-то безвольно подал теплую руку Миронову и сказал коротко, виновно:

— Не поспели. Скончался. В два утра...

— Где он? — хмуро, вполушепот спросил Миронов.

— В большом зале...

Виктор Семенович Ковалев, старый политкаторжанин, бывший председатель ЦИК Донской Советской республики и политический комиссар 23-й мироновской непобедимой дивизии, лежал на столе в большом зале ревкома, прикрытый темно-красным полотнищем окружного знамени Советов, сухой и прямой, как былинка, с прозрачно-восковым лицом и ввалившимися глазами, убитый чахоткой, гражданской войной и происками негодяев-политиканов.

И уже в который раз вспомнил Миронов последний разговор...

— Видишь, Кузьмич... Это — сложности жизни, от которых никуда не уйдешь. Но надо понимать их суть. Когда на VI съезде партии, в самый канун Октябрьского переворота, они попросились в партию, то их приняли, как союзников. Близкая программа, а в этих условиях, сам понимаешь, надо блокироваться с соседями, так же как мы на II съезде Советов вошли в блок с левыми эсерами. Тактика. Но сейчас, как видно, все эти «межрайонцы», «левые» и «правые», бундовцы и сам Троцкий, ужом вползший в партию, замыслили нечто свое, изо всех сил пытаются перехватить власть. Завоевать большинство, ключевые позиции. Тут повлияло и ранение Ленина... Очень тяжело придется, может быть, но в партию большевиков и Ленина верь! И в дело большевиков верь без колебаний, иного пути, как с большевиками, у России нет!

Теперь он лежал увядший и немощный, но Миронову показалось, что в лице его все-таки нет мертвой отрешенности, нет смерти. Оно по-прежнему таило в себе невысказанную боль. Как будто Ковалев и в смерти своей силился крикнуть что-то из самой души, сказать людям о великой опасности, ждущей их, и — не мог...

Сдобнов стоял рядом, тоже болезненно-бледный, едва вставший с тифозной кровати. Когда выходили на крыльцо, сунул в руку Миронову клочок бумаги, сказал вполголоса, что это — последнее наставление комиссара, личная записка начдиву.

Миронов поднес бумагу к лицу, очень близко, как носовой платок, с трудом разобрал строчки, бегло написанные химическим карандашом очень слабой рукой. Капля с крыши попала на бумагу, поползла слезой, и тотчас буквы проявились ярче, стали мокро растекаться перед глазами.

...Филипп Кузьмич!

Я от вас требую во имя революции, чтобы себя не подвергали явной опасности.

Прекратите братание с пленными станичниками. Я страшно боюсь, что могут послать какую-нибудь сволочь для выполнения гнусного замысла. Вы же знаете, что ваша жизнь нужна народу и революции, поэтому убедительно прошу как товарищ и революционер: берегите себя...

И на этом — все. Последнее наставление большевика-комиссара, близкого друга.

Филипп Кузьмич почти бессознательно, не помня движений, сунул записку в нагрудный карман гимнастерки и, глотнув свежего воздуха, вновь вернулся в зал, к телу умершего.

Входили люди, тихо о чем-то переговаривались, кто-то принес и поставил в головах два горшка с комнатными цветами, привычными для каждой казачьей хаты липками, которые круглый год цветут яркими пунцовыми звездочками.

Отстояв в траурном карауле, вышли, и уже на крыльце Миронов осведомился у Сдобнова, где решили хоронить, и обычно живой, быстрый на слово Илларион не ответил и нахмурился. Глаза были притушены сознанием горя, которое обрушилось не только на их штаб, дивизию, но, возможно, и на весь Верхний Дон.

— Хотели тут на высоком берегу Медведицы соорудить могилу и памятник, но ревком Арчеды и хутора Фролова с родственниками будто бы отпросили это право себе... Говорят, оттуда Виктор Семенович начинал работу после возвращения из ссылки, да к тому же в Арчеду, к железной дороге, кременские его станичники обычно ездят, им туда ближе...

— Повезем, значит, в Арчеду? — с отсутствующим видом спросил Миронов.

— Да. Должен подойти оттуда спецвагон.

— Странно...

— Что именно странно, товарищ Миронов? — вдруг спросили из-за плеча, с верхнего порожка, откуда уже сошли Миронов и Сдобнов.

Филипп Кузьмич оглянулся. На него смотрел с твердым прищуром плотный человек в очках, с бородкой-эспаньолкой, в кожаной куртке, с большим портфелем в руках.

— Что странно, товарищ? — переспросил он с настойчивостью.

Миронов не спешил отвечать, с усмешкой оглядывая незнакомца, и тот понял его вопрошающий взгляд, представился:

— Будем знакомы. Начальник особотдела армии Эпштейн... Мы еще не имели случая познакомиться, товарищ Миронов. Я только что прибыл.

— А то странно, — холодно ответил на его вопрос Миронов, пожав протянутую, довольно вялую руку, — то странно, что решили отвезти тело крупного человека, бывшего председателя Донской республики и комиссара из окружного центра в отдаленный хутор. Как-то не вяжется.

— Я, между прочим, тоже возражал, — сказал Эпштейн, соглашаясь. — Но, знаете, здешние порядки: родные просят, отказать нельзя почему-то... То да се... А тут дел в штабе накопилось, Княгницкий по болезни практически освобожден, ну, знаете, некому было вмешаться...

— Что? И Княгницкий... освобожден? — почти что не поверил Миронов. («Что же они делают? Сверху донизу все оголили. Ради чего?» — мелькнуло в сознании.)

— По болезни, — сказал Эпштейн. — Но, вообще

говоря, его теперь настойчиво требуют товарищи из Бессарабии, на политическую работу, там явно не хватает политических кадров. Он по образованию архитектор. Этот вопрос сейчас изучается в главном штабе.

— Странно, — с нажимом, грубо повторил Миронов.

Подошел малый маневровый паровозишко из Арчеды, увитый красными и чёрными полотнищами, закричал истошно, выпустил клубы пара. С ним были классный вагон и три теплушки с охраной. Из классного вышли бородатые, хмурые мужики в засаленных кожухах, представители деповского фабзавкома, ревкомовцы в зеленых шлемах-богатырках, за ними с плачем выбежала родная сестра умершего Евдокия Семеновна, почти старуха. Кинулась в ревком, упала там на колени, ткнувшись окрученной пуховым платком головой в грудь покойника. Закричала дико:

— И родимый ты наш!.. И не сломали тебя железы каторжные, пытка военная, сломали нехристи проклятые, злоба людская!.. Да на кого же ты нас спокинул?..

За ней сутулились трое сыновей ее, племянники Ковалева, — Куприян, Иван и Михаил. Старуху тут же отвели от гроба, начался перенос тела в вагон.

Скрипел мокрый, загрязненный снег под сапогами, гремели и визжали двери товарняков, по деревянному трапу вводили в заднюю теплушку испуганного, храпящего, заседланного комиссарского коня. В гриве и челке белоноздрого дончака колыхались черные траурные ленты.

Наконец все оказались на местах, паровоз дал прощальный гудок, тронулся.

Миронов всю дорогу поддерживал под локоть совсем обессилевшую Евдокию, с другой стороны были ее сыны и деповские.

Илларион Сдобнов то и дело протирал запотевшее вагонное окно, смотрел на медленно проплывавшую мимо холмистую снежную равнину, хлопья паровозного смрада, текущие вспять. Близ железнодорожного полотна, не отставая от медленно влекущегося состава, маршсто-шли конные эскадроны Особой штабной бригады 9-й армии с красными значками на пиках — казачий эскорт, последняя почесть красного Дона большевику и комиссару.

Мост под станцией был взорван еще в начале боев, прошлой весной. Пришлось на руках переносить гроб, процессия растянулась на полверсты.

На площади у вокзала собрались хуторяне-фроловцы, рабочие-железнодорожники, армейский духовой оркестр встал полукругом... От штаба армии сказал короткую речь Эпштейн, кто-то гулко, простудно кашлял, выкликали имена земляков из Кременской, желающих выступить. Хотел сказать слово и Сдобнов, но у него с первых же слов перехватило дыхание, махнул рукой пропаще и отошел от гроба.

Рыдала старая Евдокия, держа на руках крохотного внучонка, пожилые казачки подголашивали с ней. Над ржавыми куполами церкви вились черные галки и сытые от падали вороны.

Миронов поднялся на оседавшую груду мерзлой донской земли, стискивая в напряженных пальцах мякоть своей обношенной боевой папахи. Окинул взглядом бедные пристанционные дворики притулившегося к станции хутора Фролова... Траурные флаги, комиссарского коня, чуявшего смерть и опустившего гриву, подернутые тоской глаза людей... Заговорил тихо, почти вполголоса, будто обращался теперь лишь к одному покойному, по грудь укрытому траурным кумачом. Рассказал обо всем, что скопилось за год в груди, в мыслях... О трудной молодости комиссара, армейской службе в Петербурге, первых большевистских кружках у Старой Невки и Обводного канала, подполье в гвардейских казармах лейб-гвардии Атаманского полка, Военной организации РСДРП(б), связи с Лифляндским подпольем... О жестоком и диком приговоре самодержавия, каравшего политических казаков всегда с особым пристрастием, о каторге в цепях, тяжкой болезни и великой работе Ковалева по возвращении на родину, его громадной роли в момент отступления из Ростова и во время создания первых красногвардейских отрядов в Хоперском и Усть-Медведицком округах, в Царицыне... Надо, надо было обо всем этом напомнить, повторить не один раз, чтобы люди — даже немногочисленные эти земляки покойного — поняли до глубины души, с кем прощаются ныне у отверстой могилы.

— А еще, дорогие мои граждане, — бросал Миронов в мартовскую, оттепельную тишину над толпой.— Еще... Ковалев был и до конца остался настоящим большевиком-ленинцем, образцом правды и чести, верности народу и в деяниях, и в помыслах своих! До последнего дыхания, до последней капли крови служил он своему бедному, трижды оклеветанному и несчастному народу, верил Ленину! Верил в правду, в революцию!..

Долго на этот раз говорил начдив, потому что знал, вряд ли кто скажет главное о его друге, комиссаре.

— Комиссар был человеком светлого, большого ума, суровой и нежной казачьей души! Он любил Ленина... и лучшая память ему — наша верность Ленину, товарищи!..

Духовой оркестр обрушил тяжкую, грохочущую медь на эти слова, заглушил женский плач траурной мелодией. Застучали молотки в гулкую крышку гроба. В последний раз мелькнуло перед Мироновым нахмуренное и печальное лицо комиссара, по-прежнему силившееся что-то сказать на прощание, о чем-то предупредить.

Гроб опускался в могилу. Потом забухали по крышке мерзлые комья земли. Миронов бросил и свою горсть суглинка, надел папаху и огляделся. Слезящиеся от влаги рельсы стремились на север. На повороте они сходились в одну линию и терялись за стрелками.

8

В висячей лампе кончался керосин, пламя фитиля медленно садилось и потрескивало. И самовар был

уже едва теплый, а Миронов все еще не возвращался на квартиру.

— Опять он ввязался в какой-нибудь спор! Не надо было вам его отпускать одного, — тревожно говорила Надя[1] Сдобнову, сидя спиной к комельку печи, прислушиваясь к тихим шорохам, дыханию наружного ветра, едва слышимому поскрипыванию ставни в угловом окне.

Сдобнов не отвечал, стоя у окна, склонившись к косяку и опираясь ладонью о фасонный, крашеный хорошей краской, голубой наличник. Смотрел поверх белой занавески в пол-окна в непроглядную черноту за окном, на пятно лунных бликов на стекле, постоянно менявших форму и очертания.

Вестовые казаки, сопровождавшие повсюду Миронова после похорон Ковалева, уже вернулись, собрались в угловой стряпке, помянули покойного Виктора Семеновича, и теперь их было не слышно. Видимо, легли спать. А Миронов один ушел после возвращения из Фролова в штаб.

— Опять ввязался в спор... — вздыхала Надя и смотрела в неподвижную, сникшую спину Сдобнова. Он был без портупеи, непривычно раздерган и почти неряшлив. — Арсеитьевич, ну скажи ты мне, чего они так его не любят все? Или завидуют, что казаки и командиры полков в нем души не чают? Или боевая удачливость им глаза колет? Или — еще что? Ну скажи, ведь он-то даже и не знает, что они злы на него, как волки, прости меня, грешную! А?

— Завидуют, что жена молодая! — без улыбки, но с какой-то свирепой нутряной усмешкой процедил Илларион Сдобнов, уходя от вопроса. — Такая наша судьба, гнев чужой на себя привлекать, Надя. Слишком мы все на виду, каждому своя цена неразменная есть, и завистников — хоть пруд пруди... Да и оглядываться все же надо! Вот, признался мне, что какую-то злую бумагу написал через Сокольникова в Москву, обругал самого Троцкого, а он — власть, шишка немалая! И помощников у него целый рой. С какой стати было писать?

— Это я знаю, — без интереса откликнулась Надя. — Но он доверился лично Сокольникову, а он тоже — большой человек!

— А если и за ним, Сокольниковым, такой же павлиний хвост наблюдателей, как за нашим Кузьмичом? Откуда нам знать? Дознаются — обоих и сметут, эти... узурпаторы политические! Он теперь надеется попасть в Москве к самому Ленину, да ведь это непросто. К Ленину мужицкому ходоку легче дойти, чем известному начальнику дивизии, потому что начальник дивизии — на службе, надо сначала в штабах доложиться, а там еще неизвестно, как на это посмотрят.

Надя оправила на плечах пуховый платок, вздрогнула так, словно прозябла у камелька теплой печи, и спросила тихо, как бы по секрету:

— А ты, Арсентьевич, почему от дивизии отказался, не принял командование? Тиф разве? Или — побоялся, струсил чего?

Илларион оттолкнулся от наличника слабой после болезни рукой и обернулся к ней. И при свете угасавшей лампы она увидела обиду на его исхудалом и притомленном лице, укор в глазах.

— А что, и струсил, Надя, — вздохнул он, садясь против нее на венский стул необычно, верхом и задом наперед, положив локти на округлую спинку. — Если б только воевать с противником да командовать полками, так я бы не струсил. А тут — двойная и тройная политика вокруг, не поймешь, кто и чего выгадывает за твоей спиной... Поганая картежная игра с фальшивыми козырями! Ну и тиф тоже свою роль сыграл, думаю. Все же без здоровья казаковать особо не станешь.

— Открытый ты, Арсентьич, как и он, спасибо... — сказала Надя тоже с откровенностью и как-то любовно, объединяя в этих словах и мужа, и его ближайшего друга Сдобнова. — Казачьего в вас много в обоих, того, что лучше бы назвать детским... Простодушным! А сами с шашками и наганами ходите, как большие. Да еще и казаков за собой в сражения водите!

— Вот, — сказал Сдобнов, не очень вникая в ее характеристики, занятый больше самооправданием. — Вот, Надя. К тому же Голиков у нас партийный, а я нет. Решил, что он будет как начдив покрепче. Поустойчивей. — Подумал и еще добавил: — Скорее всего и покойный Виктор Семенович меня бы понял, одобрил.

Они переглянулись и как-то разом почувствовали и поняли, что комиссар Ковалев с самого начала их беседы присутствует здесь незримо, постоянно и со вниманием вслушивается в их размышления и сомнения.

— Да. Вот и схоронили Семеновича... И Бураго тоже отозвали, Кузьмич сказал. Кто же теперь комиссаром в дивизии будет? Пришлют из штарма? — спросила Надежда.

— Кажется, какой-то Лидэ... Латыш, что ли, из РВС фронта. Не знаю, — сказал Илларион.

— Надо знать, — холодно и недовольно передернула она плечами. — Плохо, когда мы мало знаем. А вам с ними работать. И — жить.

Тут хлопнула дверь, резко звякнула закрываемая щеколда в чулане, слышно, обметали во тьме сапоги сибирьковым веником. Надежда сразу поднялась, быстрым говорком кинула Сдобнову:

— Ну, коли на дивизию не осмелился стать, Арсентьич, то раздуй самовар! А то он не любит тепловатого чая, ему чтобы — жгло!

— Ох, не моя ты жена, Надька, я бы тебя не на руках, как он, а почаще плеткой, как простой казак. За твой язык!

Вошел Миронов — буря бурей. Кинул с горячей головы влажную от снега папаху на вешалку и загремел соском умывальника. Фыркал и дышал, умываясь, как перепаленный длительным маршем конь. Илларион раздул тем временем самовар, а Надя накинула на горловину самовара жестяную трубу-на-

[1] Надя — из военнопленных сестер милосердия, ставшая верным ординарцем, а затем гражданской женой Миронова.

ставку, выводящую дым в печное жерло над загнеткой. А Миронов вытирал тонкие, мускулистые руки полотенцем и будто не видел никого в комнате, не замечал ни самовара, полившегося уютным шумом, ни дотлевавшего фитиля в ламповом стекле. Потом глянул на Сдобнова и закричал, будто с трибуны:

— Предатели! Сволочи, за пазуху они... к нам влезли! Проклятые!

Илларион обомлел, а Надя мягко сказала, положив обе ладони мужу на грудь крест-накрест:

— Ты тише, Филипп Кузьмич. Маленьких разбудишь. — Прильнула щекой и грудью к нему игриво, бочком, почти не стесняясь чужого человека, чтобы он почувствовал еще раз ее преданность, готовность делить с ним всю их судьбу, до конца. — Не шуми, Кузьмич. Видишь, керосин в лампе кончается, от крика фитиль, того и гляди, погаснет.

— Проклятые! — с дрожью в голосе повторил Миронов и, отстранив Надю, как нечто случайное в данную минуту, сел к столу. — Знаешь, Илларион, что они придумали сделать с бывшей группой войск? Только что орал там на них, что это заведомая измена, развал всего фронта! Нашу 23-ю дивизию отводят на переформировку и якобы на отдых, а 16-ю Эйдемана отдают в 8-ю армию, Тухачевскому! Значит, куда-то под Каменскую! Я спрашиваю мерзавцев: а чем же прикроете брешь, образуемую этой вашей реорганизацией, — на полста верст по фронту?! Они молчат, потому что говорить им нечего и прикрыть эту дыру перед Деникиным тоже нечем! Ты понимаешь? Если армия Краснова нами разбита полностью, то у главкома белого еще найдутся резервы! Один, а то и два корпуса, и он их неминуемо введет через искусственно создаваемую нашим командованием брешь в наши же, красные тылы! Чем это пахнет?

Кипяток из самовара шел белым ключом, к стакану нельзя притронуться. Но Миронов хватал его сухими, пылающими губами и почему-то не замечал ожога и боли. Сжевал какой-то сухарь с кусочком свиного сала на ужин, запил чаем, вытер полотенцем руки. Сказал желчно:

— Дожили! Заварка — из банного веника, хлеб — с мякиной, сахар — постный, а глаза у сволочей — оловянные! Смотрят на тебя и не хотят видеть и слышать! И сама жизнь для них тоже ничего не значит, ничему не учит, а одно лишь слово! Слово какого-нибудь тайного врага — вот это для них закон и авторитет!

Сдобнов свернул папиросу, за ним потянулся к кисету и Филипп Кузьмич. Надя неодобрительно посмотрела на них и вышла с посудой на другую половину дома. Миронов стал прикуривать над чадящей лампой, пыхнул дымом, и фитиль от этого зачадил сильнее, огонек дрогнул и погас. Комнатушка разом погрузилась в темень, а два окна, до половины прикрытые занавесками, высветились голубыми провалами. По стеклам снаружи стрекотала редкая льдистая крупа — предвестье дневной метели.

— Так что ж, и в самом деле отводят дивизию? На отдых? — не поверил Сдобнов. Темнота словно развязала ему язык.

— Куда и зачем — не так важно, главное — на самом остром участке оголяют фронт. А он и без того держался единственно на нашей инициативе и развале Донской армии Краснова. Никак нельзя было допустить этой заминки, пойми!

Слышно было — открылась дверь, Надя постояла на пороге, вздохнула и, ни слова не говоря, ушла к себе: мужчинам муторно, нельзя их сейчас затрагивать.

— Вот. Хотели мирно отсеяться в этом году и урожай снять, города накормить, раны подлечить, — тихо договорил Миронов. — Но, по всему видно, и этот год целиком пройдет в войне, в бедствии этом... Как жить будут люди? Чем кормиться?

— Тут, Кузьмич, уже не ошибка и не фанфаронство, а что-то похожее на прямую измену или того хуже, даже понять трудно! Был бы жив Ковалев, хоть спросили бы, что это за политика такая пошла, что никто и ничего понять не может!

— Понять-то можно, а растолковать путно затрудняюсь... — вздохнул Миронов, сильно затягиваясь цигаркой, отчего освещалось его гневное, с острыми скулами, погруженное в раздумье лицо. — Понять можно... Виктор Семенович этого Троцкого терпеть не мог и называл «червь в яблоке». Вот и понимай, и думай, и делай зарубки на память, авось пригодится! Червь в яблоке — лучше не скажешь. Забрался иуда в самую сердцевину, ну что делать?

— Даже голова трескается, — вздохнул Сдобнов. — Можно ли подумать здравой головой, чтобы высший военный начальник вел дело умышленно к — поражению? А оно именно так и ведется, чтобы поломать все, разрушить, закрутить совсем другую граммофонную пластинку... После! По собственному умыслу, так сказать. После гибели 11-й армии в зимних песках под Астраханью надо бы и спросить с него, но — кому это под силу?

Спать не то что не хотелось, но просто никто из них не мог уснуть в эту ночь. И Миронов, и Сдобнов, опытные в военном деле люди, столкнулись с диким ходом событий в штабе армии и на самом фронте и не только мысленно, но всем своим существом, всей душой чуяли беду, надвигавшуюся на позиции красных войск. Армиям грозила полная гибель, и никто не мог уже им ничем помочь.

За окном прояснялась голубизна, шло к рассвету. Под конец Миронов сказал:

— Сейчас же утром, Илларион, поезжай к фронту. Найди Блинова. Всю конницу там решили изъять из 23-й и 36-й дивизий, слить в кавалерийскую группу... Так вот, найди Михаила и разъясни ему всю нынешнюю обстановку. Чтобы знал. И перескажи моим словом: пусть хоть вывернется наизнанку, превзойдет сам себя, но спасет конницу! Пускай маневрирует Мишка, путает им карты, где можно бьет Деникина, увертывается и — любой ценой убережет нашу конницу. Это — золотое оружие революции, и она еще понадобится, если не сегодня, так завтра. Потому что сейчас на Дону могут погибнуть все! Вот. А я попробую сесть на поезд завтра же, чтобы скорей добраться до Козлова и Серпухова, до выс-

ших штабов. А то и в Москву! Может, что и удастся сделать!

И, в раздумье огладив опавшее лицо, свисшие усы, сказал, глядя в рассветную синеву за окном:

— Может, что и удастся... Может, и удастся!

На востоке прорезывалась лимонно-зеленая полоска рассвета, сильно напоминавшая по очертанию отточенный клинок шашки. Тревога еще сильнее стиснула душу.

— Видишь, Илларион, заря-то... Вроде шашки над нашей головой!

Лицо Миронова вновь багрово осветилось от папиросной затяжки.

— Шашка — не самое страшное, — с ответной озабоченностью сказал Сдобнов. — Шашку и отвести можно, из руки выбить. А бывает и пострашнее беда: скоротечная чахотка, скажем, или... этот — червь в яблоке.

И вновь замолчали, глядя сквозь слезящиеся стекла окон в промозглый и тревожный этот рассвет, предрекающий краю, а возможно, и всей России новые потрясения и беды.

— Девятнадцатый год! — вздохнул Сдобнов.

Миронов отбросил в печное жерло истлевший окурок и сказал, как бы не слыша товарища:

— Веру нашу испытывают, подлецы, изменой и кровью!

Глеб Овсянкин добрался до Москвы и обходился теперь одним костылем. Нога заживала. Но ни то, ни другое не помогало: он не мог пробиться со своим делом в высшие учреждения.

Москва была в трауре: за два дня до открытия VIII партийного съезда (на котором должен был решиться важнейший вопрос текущей политики — крестьянский) умер неожиданно от испанки Яков Свердлов.

В день открытия съезда хоронили председателя ВЦИК. Вопрос об изменении отношений со средним крестьянством был решен, учтены недавние ошибки, а преемника Свердлова Калинина теперь называли не иначе как Всероссийским старостой, опять-таки из уважения к российскому мужику. Но прорваться к Михаилу Ивановичу не было никакой возможности, хотя он лично знал Овсянкина и выслушал бы его со всем вниманием. Калинин принимал дела ВЦИК, ездил с неотложными вопросами в Петроград, девушки из секретариата, во Втором Доме Советов, говорили, что раньше как через две недели Михаил Иванович не освободится.

«За две недели-то, гляди, весь Дон с притоками полой водой возьмется и ледоход пройдет! — мрачно думал Овсянкин, предчувствуя большие беды впереди. — Да кабы одно половодье грозило!»

Кинулся в ВЧК, на Лубянку. Но и тут Дзержинский не принимал, а секретарь коллегии Герсон только взглянул на письменное заявление донского ходока Овсянкина и тут же вернул со скучающим лицом. Даже руками развел:

— Э-э, милый товарищ с фронта! У нас таких писем и заявлений с мест — целый короб! Думаете, только на Дону перегибают палку? А на Волге не перегибают? Надо было вам побывать на партийном съезде, там много было сказано по этому поводу. Вот, почитайте газетку... Приняты все необходимые решения, и теперь с этим будет покончено. В организованном порядке!

Большой кусок текста в газете был, будто нарочно для Овсянкина, отчеркнут красным карандашом. Глеб не помнил, как он скатился по ступеням ВЧК и присел в ближнем садочке на мокрую скамью, до того удивили его газетные строчки. Руки дрожали от усталости, свой богатырский шишак Овсянкин снял и положил на колени. Стриженую солдатскую голову совсем по-деревенски пригревало вешнее солнце.

Прочел отмеченное еще раз:

«...Тов. Ленин говорил, что сейчас вопрос об отношении к среднему крестьянину — это та лимонная корка, на которой мы можем поскользнуться и сломать себе голову...

Когда мы спрашивали тов. Ленина, каким образом сделать так, чтобы средний крестьянин был на нашей стороне, что мы можем ему дать, тов. Ленин сказал: «Накормить мы его не можем, мануфактуры дать не можем, дать такую программу, которая удовлетворяла его собственнические интересы, не можем, но МОЖЕМ ПЕРЕСТАТЬ БЕЗОБРАЗНИЧАТЬ И ВЕСТИ БАШИБУЗУКСКУЮ ПОЛИТИКУ, которую ведут провинциальные товарищи, начиная от уезда и кончая губернией...» [1]

Глеб тяжело вздохнул.

Верно, все верно, да не то! Не об этом речь на Дону, не о мелких перегибчиках, товарищи! Вот и жди перемен «в организованном порядке», как сказал товарищ Герсон! А там скоро коммунистов начнут из-за угла стрелять и на вилы брать!

Он нахлобучил шлем на свою шишковатую бедовую голову и, сильно прихрамывая, вихляя инвалидным костылем, ринулся вдоль по улице, на Красную Пресню, искать Реввоенсовет Республики.

Оттепельно бугрился снег по теневым обочинам, а к вечеру его уже не оставалось, съедало весеннее тепло. В подворотнях таился гололед, мокрая талость дышала из каждого ощипанного и обломанного сквера, из-за гнилых, покосившихся заборов у деревянных особнячков.

В приемной Реввоенсовета какая-то смуглая и очень красивая девушка с мокрыми, заплаканными глазами прямо-таки выставила его обратно за дверь.

— Товарищ, товарищ, не время же! — всхлипывая, умоляла она. — Неужели вы не понимаете, что у нас — траур, умер же товарищ Свердлов! Что? Товарища Троцкого? Ах, он же на фронтах, помилуйте!

Глеб почувствовал себя дураком, бездомным инвалидом со стриженой головой, вышел к Москве-реке и долго стоял у каменного парапета, сплевывая в мутную воду. Он жалел, что приступ психической

---

[1] Стенографический отчет VIII съезда РКП(б). М., Политиздат, 1963, с. 173.

взвинченности и настырности после тифа проходил и слабел, что сумасшедшая решимость добиться своего, с которой он мотался в Лисках и наступал на Сырцова, теперь сгасла, сменилась меланхолической, подло-соглашательской вялостью тела и души.

Тупо перечитал газету с пометками на полях и еще раз сплюнул через парапет. Утопиться, что ли?.. Хотя время еще не вышло, учреждения еще работают, может, и повезет в остатний раз?

Глеб подтянул поясной ремень, поправил на голове богатырку и зашагал к Троицким воротам Кремля, где выдавали пропуска в Совнарком.

Дежурный в будке проверил партийность и литер Гражданупра из Лисок, вежливо сказал: «Проходите, товарищ...» — и раскрыл двери внутрь. Кто-то показал Глебу и здание бывших Судебных установлений, сказал, что приемная Совнаркома на втором этаже.

Лидия Фотиева, миловидная женщина с гладко причесанными светлыми волосами, выслушала Глеба в приемной, посочувствовала, сказала, что завтра обязательно доложит Владимиру Ильичу и тот, возможно, даже примет товарища с фронта. Овсянкин рассказывал ей о сути дела, приведшего его в Москву, а сам косил глазами в сторону раскрытых дверей, за которыми уходил в глубину пустой кабинет Ленина.

— А ныче? Нельзя? — спросил Глеб, доверчиво посмотрев в глаза молодой женщины, так внимательно слушавшей его. — Его... нету?

— Вообще-то Владимир Ильич на работе, — сказала Фотиева. — Но врачи запрещают, после ранения... Сегодня почувствовал себя плохо после утреннего заседания. Лучше — завтра. Вам надо устроиться с ночлегом, товарищ? Я напишу сейчас...

Фотиева дала Глебу ордер в Дом крестьянина, пообещала все завтра устроить. Глеб поблагодарил и, страшно радостный, вышел в коридор. А пошел он почему-то не в ту сторону, читая должностные и отдельские таблички на многочисленных дверях.

Скоро, впрочем, он убедился, что пошел не туда, потому что в конце коридора увидел незнакомую деревянную лесенку на третий этаж, куда ему вовсе и не требовалось подниматься. И тут сбоку, из раскрытой двери, почему-то вышел настоящий чубатый, как с картинки, донской казак в голубом суконном френче и широченных штанах с лампасами. Спросил подозрительно:

— Тебе куды, солдатик? Заплутал, что ль?

Глеб по привычке обвис одним плечом на инвалидном костыле и, оценив веселость казака, спросил в свою очередь:

— А ты, случаем, тожа... не приезжий будешь? Ишь, лампасы-то! Не из Атаманского полка? Актер, можа?

— Тут посторонним ходить не полагается, — сказал на это казак и перестал улыбаться.

— А чево тут? — не повернул Глеб. — Везде можно, а тут — нельзя?

— А ничего! — Казак почему-то со вниманием посмотрел вверх по деревянной лесенке. — Тут Казачий отдел ВЦИК, дорогой. Если надо, то заходи. Вот сюда.

— Да ну! — воскликнул в каком-то злобном восторге Овсянкин. — Казачий отдел?! Вот вас-то мне и надо, субчиков служивых! Вот про вас-то я и думал, когда в Москву ехал! В самый раз вы мне ныне попали на узкой дорожке! А? Целый отдел у них, оказывается, тут! А знаете ли вы, что у вас в области-то делается? — Глеб даже костылем пристукнул.

— Давай познакомимся, товарищ, — сказал казак и руку протянул дружелюбно. — Макаров моя фамилия. Ты заходи к нам, друг мой любезный, ежели только что приехал. Знакомься. Вот наш секретарь, Шевченко Николай, он недавно с Кубани... Тоже многое может рассказать.

Глеб знакомился, каждому пожимал руку. В углу привстал человек в обношенной шинели, с бледным интеллигентным лицом, английскими усами в скобочку, его Макаров тоже представил:

— Это вот делегат с мест, уральский казак Ружейников, он у нас, кроме того, врач, доктор, короче говоря... Только приехал с Урала и тоже со свежими новостями. На Урале тоже «весело»!

Когда Глеб рассказал, зачем он приехал в Москву, его усадили за стол, дали хлеба и сала. Обступили кругом, смотрели, как он ест, слушали сбивчивый рассказ. Потом Ружейников рассказал примерно то же самое, и Овсянкин, поблагодарив за хлеб, спросил, сытно икнув:

— Но... хоть на Кубани-то дела поправились или нет? Я без малого два месяца путешествую, ничего не знаю...

— Да нет, товарищ, на Кубани как раз невесело, — сказал Макаров. — Вот Николай Шевченко днями вернулся оттуда, и не сказать «приехал», а «добрался»! На Кубани, брат, волынка!

Шевченко не стал себя упрашивать, рассказал с болью в лице об отступлении 11-й армии, трагедии в Пятигорске. Он по заданию самого Свердлова осенью вывозил золотой запас и другие ценности Кубано-Черноморской республики из Пятигорска. И вывозил-то по-особому, тайно, вьючным транспортом через Святой Крест и калмыцкие зимовья на Царицын. Другого пути не было. По всей степи надо было опасаться не только белогвардейцев, но и обыкновенных бандитов, бело-зеленых и даже красно-зеленых. Все стреляли из винтовок и палили из дробовиков издали, не спрашивая пароль: свой не свой — на дороге не стой!

— Так вся армия и столпилась в Пятигорске? — недоумевал Глеб.

— Там уже не армия, а табор, — сказал Шевченко со вздохом. — Из всех частей только одна бригада Кочубея в строевом порядке и при дисциплине. Пошли теперь через Кизляр на Астрахань, по зимней пустыне, без воды и клока сена... Такие дела на Юге, брат.

Все помолчали, переглянулись.

Глеб тяжело задвигал каменными челюстями:

— И чего же вы думаете, станичники? Чего жде-

те-то, с моря погоды? Ведь не где-нибудь, а в ваших краях бесчинство! Я вот к Ильичу надумал с этим, дело-то поганое! Да и спешить надо!

— А ты, товарищ, видно, из сочувствующих? — мягко уточнил Макаров, имея в виду дальнейший свой разговор с гостем.

— Эва! Сочувствующим я был в девятьсот пятом, когда в Шуе с товарищем Арсением был на баррикаде, рабочие дружины готовил, за оружием ездил! А с германской я уж в партии, браток! В партии. И положил зарок: не опускать рук, пока всю мировую контру и внутренних гадов на колени не поставим!

— Ну, спасибо, — сказал Макаров, — это удружил! А то у нас даже и в отделе партийных-то маловато. А мы счас особую комиссию ВЦИК готовим, в Донскую область. Будет само собой и партийная комиссия, Владимир Ильич распорядился. Так что скоро едем, командируемся на Дон и тебя, товарищ дорогой, берем тоже в эту комиссию, раз ты честный большевик и к тому же свидетель с мест. Как ты?

— Завтра бы к Ильичу попасть, — встал от великого волнения Глеб.

— Вопрос-то решен, чего же воду в ступе толочь, посуди сам. Да и нездоров Ильич, пускай отдыхает, — сказал Макаров. — Едем, друг, с нами!

Овсянкин подумал, прикинул что-то, кивнул согласно:

— Ну что ж, это дело. Тут главное — в зародыше все перехватить! Обмандатить полномочно, чтоб эту анархию — к ногтю! А то ведь что получиться может, братцы? Возьмем скоро и Новочеркасск, и Ростов, а там и Екатеринодар не удержится. Побьем генералов, а народ тут как раз и потеряет в нас веру. Управлять, мол, не могут, какая это власть?

— Власть у нас правильная, рабоче-крестьянская, но врагов у нее много, — сказал Макаров. — Явных врагов, да еще и тайных! Долго еще придется воевать и на фронте и в тылу за правое дело.

Овсянкин кивнул своей стриженой шишковатой головой, и в его суровых глазах Макаров заметил непомерную глубь веры и решимости...

ДОКУМЕНТЫ

О положении 11-й Красной армии

К декабрю (1918 г.) 11-я армия насчитывала около 150 тыс. человек.

Эта грозная сила столкнулась с новой опасностью — ее бойцов начал косить сыпной тиф. Медикаментов не было. Отсутствовало также необходимое вооружение, снаряжение и обмундирование. ...Серго предпринимает ряд мер, чтобы сохранить боеспособность 11-й армии. Но в Реввоенсовете Кавказско-Каспийского фронта сидели ненадежные, а то и прямо враждебные Советской власти люди.

Они не оказывали никакой помощи героическим бойцам 11-й армии и обрекли ее на гибель[1].

[1] Орджоникидзе З. Путь большевика. М., Политиздат, 1956, с. 229.

Последние дни Серго на Северном Кавказе

Серго пробыл в горах до середины апреля 1919 года. Он постоянно объезжал аулы... собирал стариков, и они на Коране клялись до последней капли крови защищать Советскую власть. Одно время скрывался от карательного отряда в пещере под аулом Датых...

В конце апреля Серго покинул аул Пуй.

Когда Серго и его спутники поднялись на перевал Хевсуретни, началась сильная метель. Продвигаться дальше было почти невозможно, да, кроме того, и опасно... Наконец проводник категорически заявил, что дальше идти нельзя.

Возвратиться надо было еще и потому, что с ними был больной Автономов.

Трогательная забота Серго и внимательный его уход за Автономовым не могли спасти этого талантливого, мужественного и преданного революции человека.

В пути он умер. Три дня Серго и его спутники пробыли в ауле, похоронили Автономова и двинулись дальше, через перевал...[1]

10

После трагедии в Пятигорске 11-я армия фактически перестала существовать как боевое соединение. К началу марта 1919 года генерал Деникин полностью вытеснил ее остатки с Кубани и Терека в пустую астраханскую степь и перебросил для действий на Донском фронте освободившиеся части: 14 500 штыков и 5500 сабель. Почти втрое возрос поток военных грузов в Новороссийске, предоставляемых Антантой. Если в феврале прибыло только десять транспортов, то в марте их было уже двадцать шесть. Оружие, боеприпасы и военное снаряжение не могли, конечно, вернуть Донской армии после тяжелейших потрясений в январе и феврале «душу живую», они могли только отсрочить окончательное разложение. Однако новые обстоятельства и «реорганизации» на фронте 9-й армии красных неожиданно предоставили генералу Сидорину передышку и возможность собраться с силами, выиграть время.

На оперативном совещании главнокомандующий Деникин так и сказал присутствующим — командирам донских корпусов Сидорину и Мамонтову, а также командующему кубанскими частями Врангелю:

— Судьба благоволит к нам, господа, предоставляя широкие возможности для маневра и прорыва. По неизвестным причинам красное командование расформировало авангардные части 9-й армии и отвело на отдых... Неясно еще, будут ли эти позиции прикрыты в будущем, но сегодня перед нами совершенно свободный коридор в глубь советских тылов шириной чуть ли не в добрую полусотню верст... Разведка и контрразведка усиленно работают, выясняя обстановку, уточняя, нет ли здесь какой-либо запад-

[1] Орджоникидзе З. Путь большевика, с. 244—246.

ни. В ближайшее время вы получите оперативные приказы о наступлении. А пока, господа, следует хорошенько подготовить конницу для больших рейдов в условиях бездорожья и весенней распутицы...

Чуть позже, в приватной беседе с генералом Мамонтовым, Деникин обратил его внимание на известные статьи в малотиражной газете «Известия Наркомвоена», издаваемой под личной редакцией Троцкого, — в статьях шла речь о необходимости полного подавления казачества как на Дону, так и в других местах по окраинам России.

— Видите, генерал, сам нарком Троцкий усиленно испрашивает от нас активных действий и конных рейдов! — Здесь Деникин небрежно усмехнулся, обратившись прямо к газете, доставленной ему контрразведкой.

Номер был от 6 февраля, и в нем напечатано: «По своей боевой подготовке казачество не отличалось способностью к полезным боевым действиям. Казаки по природе ленивы и неряшливы, предрасположены к разгулу, к лени и к ничегонеделанию. Такими были как казачьи офицеры, так равно и рядовое казачество... За всю прошлую войну нет ни одной героической казачьей атаки, ни одного смелого казачьего рейда... Почему-то казаки, по их словам, особенно любили наносить удары нагайками женщинам...»

— Особенно вот это, — продолжая самодовольно усмехаться, отчеркивал Деникин полированным ногтем в газете и прочитывал вслух. — Вот это доведите до сведения донских господ офицеров. Превосходная агитация, знаете ли!

В газете писалось черным по белому: «Особенно рельефно бросается в глаза дикий вид казака, его отсталость от приличной внешности культурного человека западной полосы. У казачества нет заслуг перед русским народом и русским государством. У казачества есть лишь заслуги перед темными силами русизма, самодержавными выходцами из Германии...»

Генерал Мамонтов по прежней службе не был казачьим начальником, он был армеец, но гражданская война свела его с донскими белыми полками, и он лучше кого бы то ни было знал, что такое казачья конница в боевых условиях. У него заболели скулы от плохо сдерживаемого смеха: он не мог себе позволить такую вольность в присутствии главнокомандующего. Спросил, наливаясь краской иронии и гнева:

— Кто это все сочинял, разрешите узнать? Обычно говорят, бумага все терпит, но здесь... просто дремучее невежество, ваше высокопревосходительство! Я был более высокого мнения о Троцком: оратор и все такое, знаете. Кстати, он кто по профессии? Если не секрет.

— Трудно сказать. Подпольщик, разумеется, но с виду, как говорят, провизор средней руки...

— Но ведь в газете, простите за грубость, написано черт знает что! Этого нельзя даже читать в приличном обществе!

— А это и не писалось для приличного общества, — высокомерно сказал Деникин. — Все это рассчитано на ум дворника и прачки, на ум городских низов. И всех их в данном случае надо, знаете ли, пе-ре-убедить! Вкупе с самим провизором. Не словом, но делом, генерал! Если в ближайшее время красные не прикроют брешь на Донце, в районе Белой Калитвы и станицы Екатерининской, нам ничего не остается, как ввести в эту брешь оба корпуса, ваш и генерала Шкуро. Да... А пока есть время, познакомьте казачьих офицеров с этими газетками и откровениями в них неистового, к-гм... полководца!

— Постойте, погодите, товарищ Миронов... Я ничего не понимаю! Вы на сегодня должны находиться в Серпухове, так? А если так, то почему вы здесь?

Член РВС Южного фронта Ходоровский, подслеповато моргая, то вскидывал очки на стоявшего перед ним Миронова, то быстро и вскользь бросал взоры на стол, где лежали документы, привезенные Мироновым из красной ставки. И вновь повторял о своем непонимании, впервые так, лицом к лицу, рассматривая этого непостижимо оборотистого начдива.

Извольте радоваться: успел за какую-то неделю (за неделю! — срок, недостаточный в ином случае для получения одной какой-нибудь резолюции в губернском масштабе), успел, повторяю, побывать в Серпухове, представить главному штабу свой личный доклад о положении на Дону — этого доклада, к слову, никто от него не запрашивал! — и вот уже стоит здесь с предписанием главкома Вацетиса: начать формирование новой казачьей дивизии здесь же, на Южном фронте, откуда его, собственно, с таким трудом только что убрали... Хорошенькое дельце!

Со стороны внешне человек — ничего особенного. Никаких выдающихся черт, ни особой «самовитости», ни волевого подбородка, только заметная черная родинка на щеке, у рта, и длинные, черные, вразлет староказачьи усы! Худощав до предела, жилист и, по-видимому, отличный всадник. На боку — шашка за революционные заслуги... Жмурист, глаза напряженные, сильные, подчиняющие чужую волю, да еще и озорные — на такого в серьезном деле, а тем более в политике, никак нельзя полагаться. Товарищи с мест безусловно правы!

Говорит напористо, не смущаясь, что перед ним лицо, высшее по должности:

— Я прибыл по предписанию главкома. Обстановка требует...

— Какого числа вы... докладывали в Реввоенсовете? — спросил Ходоровский.

— Неделю назад. Товарища Троцкого ни я, ни Реввоенсовет не могли дождаться, таким образом, личное знакомство, о котором говорилось в телеграмме, не состоялось, — допустил даже открытую иронию начдив Миронов. Причем в глазах в это время отразилась бешеная работа мысли. — Положение на фронте, как вы знаете, требует поворотливости. Аралов и Вацетис считают...

— Но постойте! — вновь перебил Ходоровский. — Я не могу рассматривать этот вопрос единолично. Надо же все согласовать. И — для меня Троцкий,

между прочим, прямой начальник. Как и для вас, надо полагать.

Миронов оставил эти слова без внимания, в жмуристых глазах его мелькнуло презрение.

— У вас на столе постановление главного штаба. При чем тут единоличное рассмотрение?

— Хорошо. Я внимательно ознакомлюсь со всем этим... И с вашим докладом, и с резолюциями, и с самим решением. К приезду наркомвоена все будет готово. Но вы-то что предлагаете? Конкретно? Мобилизовать весь Дон, дабы сидящие по домам казаки как-нибудь не попали под мобилизацию Деникина? Так я вас понял? И — куда направить эти части?

— Это дело главного штаба, — едва не заскрипел зубами начдив. — Куда угодно, можно и на Колчака, лишь бы не оставлять их по станицам, в безделье. Не подвергать расстрелам и поркам на белых майданах и, с другой стороны, не вешать потом на них же собак: мол, опять пошли служить белым генералам! И впрямь, нам они вроде не нужны, а Деникин сразу мобилизует, с тем шутки плохие! Только разгромили Краснова, а фронт опять трещит по всем швам, разве не слышите? Может быть, сводки еще не поступили?

Да. Он, оказывается, знал, что произошло на Донце за эти три недели. Знал то, что пока еще сохранялось в тайне, о чем молчали газеты. В разрыв фронта под Белой Калитвой Деникин ввел крупную группировку войск — два конных корпуса. Знал об этом Миронов и предлагал свои услуги, которые в данной обстановке почти невозможно не принять. Но... сверху установка насчет Миронова иная...

— Хорошо, товарищ Миронов, — сказал Ходоровский и поднялся из-за стола. Он давал понять, что завершает этот разговор. — Дайте мне хоть немного времени... Ну, сутки! За это время прошу вас написать нам подробный доклад о том, **к а к и г д е** практически организовать сборные пункты для казаков, и все, что касается этой стороны дела. Пожалуйста. Здесь и отведем вам место, в комнате для приезжих.

— На это мне потребуется не сутки, а чуть больше времени, — сказал Миронов, попадая незаметно для себя в ловушку. В этих делах, в бюрократической канцелярщине, он был не стратег.

— Хорошо. Трое суток, думаю, для вас будет достаточно? А за это время мы все решим.

По звонку Ходоровского вошел комендант.

— Проводите товарища Миронова в гостиницу. Обеспечьте бумагой и письменными принадлежностями.

— У меня все это найдется, — усмехнулся Миронов, глядя искоса, небрежно козырнув на прощание.

Ходоровский перелистал оставленный на столе доклад начдива-23 в Реввоенсовет и главный штаб. Заинтересовался отдельными пунктами этого доклада, которые носили, по его мнению, отчасти и односторонний характер... Чтобы удержать основную массу донского казачества, сочувствующую Советской власти, Миронов предлагал, например:

«1. Считаться с историческим, бытовым и религиозным укладом жизни казачества. Время и умелые политические работники разрушат темноту и фанатизм, привитый вековым казарменным воспитанием...

2. Пока контрреволюция не задушена... обстановка требует, чтобы идея коммунизма проводилась в умы казачьего и коренного крестьянского населения путем лекций, бесед, брошюр и т. п., но ни в коем случае не насильственно, не насаждалась, как это «обещается» теперь всеми поступками и приемами большинства ревкомов...»

Ходоровский поставил жирный вопросительный знак против этой строки, потом добавил еще восклицательный и подчеркнул всю фразу. Вот он, милый Миронов, весь тут как на ладошке! А вы что думали, он, так сказать, бескорыстно надел звезду на фуражку? «И кажется, он уже начинает перерастать сам себя... — с легким раздражением подумал Ходоровский. — Год-полтора назад он был куда примитивнее...»

Ходоровский вышел из-за стола, отпер несгораемый шкаф и, порывшись в папках, достал одну из них с чернильной надписью: «**Н а ч д и в ы**». Полистал разные анкеты и справки и нашел захватанный руками листок с воззванием Миронова к казакам в декабре семнадцатого года, где он пытался разъяснять смысл политической борьбы в тот период. Листовочка была, надо сказать, более чем доступная самому темному казаку:

«Социалисты, как и верующие во Христа, разделяются на много толков или партий...

«Что же это такое?» — спросите вы. Одному богу молятся, а поразделились. Совершенно верно — молятся одному богу, но веруют по-разному.

К своей конечной цели партии идут различными дорогами. Например. Партия народных социалистов говорит, что и землю, и волю, и права народу окончательно мы дадим через 50 лет; партия правых социалистов-революционеров говорит: а мы все это дадим народу через 35 лет; партия левых социалистов-революционеров говорит: а мы все это дадим народу через 20 лет. Партия социал-демократов меньшевиков говорит: а мы дадим народу все это через 10 лет. А партия социал-демократов большевиков говорит: убирайтесь все вы со своими посулами ко всем чертям. И земля, и воля, и права, и власть народу — ноне же, а не завтра и не через 10, 25, 35 и 50 лет. Все трудовому народу и все теперь же.

...Итак, еще раз: большевики требуют немедленной передачи земли, воли, прав и власти трудовому народу, они не признают постепенного проведения в жизнь своих требований сообразно с условиями данного момента. Они не признают также никакого единения с остальными партиями, особенно буржуазными...»

«Ноне же...» — с сарказмом повторил одно из местных словечек Ходоровский, теряясь в догадках: так ли уж был темен сам Миронов или просто приспосабливался к языку станичников? Захлопнул папку, сунул на место и возвратился за стол, к нынешнему докладу начдива.

Что же дальше?

«3. В данный момент не нужно бы брать на учет живого и мертвого инвентаря, а лучше объявить твердые цены, по которым и требовать поставки продуктов, предъявляя это требование к целому обществу данного поселения...

4. Предоставить населению под руководством опытных политических работников строить жизнь самим, строго следя, чтобы контрреволюционные элементы не проникали к власти...»

«О-хо-хо, милые мои, это уже не его, Миронова, мысли, а заповеди бывшего комиссара, покойника Ковалева! Опять речи про местные и окружные Советы, но ведь это прямо противоречит нашим установкам на местах...» — вздохнул Ходоровский и поставил жирную галку около резолюции Аралова — члена РВС и начальника оперативного отдела Наркомвоена: «ВСЕЦЕЛО ПРИСОЕДИНЯЮСЬ к политическим соображениям и требованиям т. Миронова и считаю их СПРАВЕДЛИВЫМИ... Аралов».

Аралов и главком Вацетис, по мысли Ходоровского, клюнули на удочку Миронова, теперь придется их сворачивать с этой опасной стези... Кстати, каково мнение Сокольникова на этот счет?

Ходоровский попросил соединить его с Сокольниковым, как представителем ЦК партии на Южном фронте.

Через некоторое время состоялся разговор по прямому проводу.

Ходоровский. Не считаете ли вы, что приближается момент, когда по политическим соображениям было бы целесообразно перевести Миронова в другую армию, подальше от родных станиц?

Сокольников. Я полагаю, что в этом надобности нет. Организация красных казачьих частей — дело насущное и своевременное. Неплохо было бы иметь еще одну кавалерийскую часть... Кроме того, надо иметь в виду, что Миронов один стоит целой дивизии!

После этого связь прервалась.

Ходоровский усмотрел прямую опасность в том, что большинство в Реввоенсовете склонялось к поддержке Миронова. Могла пострадать «основная линия», о которой настойчиво говорил сам Троцкий. Поэтому Ходоровский приказал отбить письмо-телеграмму самому наркому и в течение суток во что бы то ни стало разыскать председателя РВСР, где бы он ни находился. В письме говорилось:

«Одобренные главкомом и Араловым политические соображения Миронова в корне расходятся с проводимой директивой... Как докладывал вам в телеграмме Сырцов, его выступления вносят большую смуту. Прошу точных указаний, как быть в связи с мандатом (на организацию дивизии Мироновым) и с резолюцией по его докладу...

Мы оставили Миронова до завтра с тем, чтобы сегодня непременно получить от вас точные указания.

Прошу сегодня же вечером по прямому проводу через Серпухов эти указания дать. Ходоровский».

24 марта Ходоровский принял доклад Миронова, в котором предлагались экстренные меры по укреплению красного фронта (и еще более — красного тыла) в борьбе с Деникиным. Сказал, по-товарищески улыбаясь:

— Мы учтем ваши предложения, товарищ Миронов. Но в части мандата нарком пересмотрел решение РВС... Сейчас на Дону уже проводятся необходимые меры, а вот на Западном фронте дела у нас из рук вон! Кроме того, вы, конечно, знаете, что командующего 16-й армией Снесарева Андрея Евгеньевича решено переместить на должность начальника организуемой в Москве Академии Генерального штаба... И по возрасту, и по общей культуре он для этого подходит. Весьма! Товарищ Троцкий умеет ценить военные кадры! И он считает, что бывший начдив Миронов заслуживает повышения и будет также на своем месте, если с течением времени станет командармом-16. Сейчас же, на короткое время, лишь для ознакомления со штабом, вас назначают туда помощником командарма по строевой части. Документы — у Вацетиса. Насколько я знаю, приказы уже заготовлены, а штаб 16-й армии в Смоленске.

— Благодарю за доверие, — сказал Миронов, сухо откозыряв.

За документами снова надо было ехать в Серпухов, к Вацетису.

Стремительно шел, почти бежал по перрону к своему штабному вагону. Вестовые и охрана едва поспевали следом. Неистово колотилось сердце, душа силилась что-то понять и не могла смириться с тем, что творилось вокруг. «Положение на Юге стабилизировалось, проводятся необходимые меры...» — сказал Ходоровский. Да ведь Миронов знал, знал преотлично, что и как ныне «стабилизировалось» на Донце! Уж по чьей вине, трудно сказать, — Троцкого ли, Всеволодова, или всех вместе, — но два свежих, отмобилизованных, горящих лютой злобой к Советам конных корпуса уже гуляют по тылам наших войск! Даже представить нельзя здравым рассудком, что там делается нынче! И не где-нибудь, а снова на его родном Дону, снова все кипит, как было в апреле прошлого года. Кровь, кровь, и нет ей конца!

Надя, заждавшаяся Филиппа Кузьмича в салон-вагоне, насторожилась, когда увидела мужа. Он сменился с лица, казался взбешенным, шептал ругательства, как в тот вечер в Михайловке, когда схоронили Ковалева и он вернулся из штарма...

— Что такое, Миронов? — ахнула Надя, соскочив с подножки вагона, быстро идя навстречу и обирая на плечах белый пуховый платок с бахромой.

— Ничего, — сказал он, прикусив только длинный ус. — Все решено на верхах. Назначен помкомандарма-16. В Смоленск!

Конвойные казаки оставили их вдвоем, ушли к другому концу вагона. Надя осмелела, улыбнулась с простодушием, как будто не сознавала причин, которые так взволновали его.

— Ну так что же? О чем горюешь, казак удалой? — «Жив, и ладно!» — говорили ее глаза.

— О том, что это «вежливая» ссылка! Неужели надо объяснять? — сказал он с каким-то остервенением. И потерянно махнул рукой. — Что ж, надо все-таки ехать в Смоленск, приказ есть приказ...

Нехорошо, смутно было по верхнедонским станицам и хуторам этой весной. Народ будто ощетинился, замкнулся наглухо от всякого встречного и поперечного, отсиживался по домам, за мелкой работой во дворах. На ночь запирались калитки и двери, а ворота (у кого они еще были) подпирались изнутри увесистыми кольями и жердями. Пахари не спешили с выездом в поле: «Один черт, либо конница стопчет все на корню, либо продразверстка выметет сусеки до последнего зернышка, на кой ляд гнуться в борозде?» Ползли от селения к селению слухи чернее прошлогодних: с юга чуть ли не в карьер надвигались банды Деникина, резали и вешали всех, кто в прошлом якшался с красными, — а якшались чуть ли не все, от дома к дому, — а в особенности не было пощады тем, кто зимой с оружием переходил на сторону красных по всей линии от Богучара до Царицына... А тут свои же ревкомы чего-то начертились, хватали стариков и старух, держали в тюгулевках, а то и выводили по ночам за хутор, к ближнему яру, как скрытую контру. Чего им вздумалось пугать православный народ, никто понять не мог. Явные сторонники Советской власти не скрывали недоумения, разводили руками, а некоторые ожесточались и свирепели от непонимания. Ходил слух, что самого красного из красных командиров Миронова московские комиссары невзлюбили и сослали в Соловецкий монастырь, где теперь всех несогласных будто бы содержат и заставляют отмаливать как свои, так и чужие грехи. Потом вроде бы верные люди передавали, что это — белогвардейские сплетни, что жив покуда Миронов, но уехал в Москву к Ленину, свою особую правду доказывать, да приему там трудно теперь дождаться: по весне у Ленина от ходоков тесно, со всей Расеи ведь идут!

Томились, перешептывались, ждали... Вера в Советы, надо сказать, была, никуда не девалась.

И вдруг шрапнельным снарядом разорвалась над вешней степью сногсшибательная новость: допекло и Москву! Верховная власть приказала местные ревкомы разогнать, а самых ретивых активистов за излишнее усердие отдать под трибунал... Точно, во Втором Донском, и в Морозовской, и выше, по Чиру, трибуналы работают уже в другую сторону!

Сначала слухам этим мало кто верил, но постепенно добрые вести окрепли — главное, и в других местах порядки сильно менялись к лучшему. Слава-то богу, что на все укорот есть!

Морозовский ревком был действительно арестован в полном составе и осужден. И в ходе партийной проверки и разбирательства даже много повидавший в жизни член комиссии ВЦИК Глеб Овсянкин-Перегудов содрогнулся от содеянного здешними горс-активистами и хладнокровно подписал, как член особого трибунала, приговор о расстреле виновных.

Председатель бывшего ревкома Богуславский, молодой, так и не протрезвевший к концу суда, только разводил руками, не умея или не желая понять, в чем его обвиняют:

— Говорят, что мы бесчеловечие творили, а ежели это — директива? Ко мне и раньше приходили рядовые члены партии и сочувствующие и спрашивали: на каком основании вы расстреливаете без суда и следствия? Но мне такие расспросы, граждане судьи, до сих пор кажутся странными. Я действовал исключительно в разрезе телеграммы товарища Мосина из Гражданупра. В ней обвиняли нас в нерадивости и попустительстве... Конечно, вопрос почти что политический: партия одно постановляет, а мое начальство свое требует! И вот я с горя выпил, пошел в тюрьму, вызвал по порядку номеров какое-то число и расстрелял... Вы тут, обратно, упираете на декрет и дух постановлений, а я вас спрашиваю: кому я должен подчиняться в натуре — партии или высшему своему начальству?

Овсянкин слушал эту слезливую белиберду и скрипел от ярости зубами. Какая сволочь иной раз может выплыть на вершину волны, ежели время бурное! Тут только гляди за ними, искателями легкой жизни!

Но самое худшее было в том, что невежественные станичники теперь поделили всех партийных на «большевиков» и «коммунистов» и полагали, что это две разные партии.

Когда уводили осужденных за край Морозовской, в рощу, — делалось это с утра, открыто, — злорадствующие бабы и старухи бежали вслед, плевали и сучили дули. Одна остановилась напротив сельсовета и вдруг стала истово молиться на красный флаг, отбивая земные поклоны. А старуха Фомичиха, у которой всего-то месяц назад расстреляли деда, ветхого старца, орала через плетень на всю улицу:

— Достукались, сук-кины сыны? И на вашу бесовскую породу управа, ишь, нашлась! Я ж к нему, ироду, Марке этому, ходила, ишо когда Михеич в тюгулевке у них сидел живой-здоровый... Отпустите старого человека, просила. Так он — нет! Он, говорит, у тебя спесивай, гордай да сознательных фабричных в девятьсот пятом годе плетюганом порол! «Порол?» — наступает аж с кулачищами! Я грю: порол, так что ты тут усматриваешь, ирод такой? А он: вот то и усматриваю, что шлепнем твово деда за службу царю и господу богу, да и весь разговор! Да что ж ты, грю, узду твою мать, так дело поворачиваешь, рази он тоды самоволом? Кинул вроде стремена лыковые на холку кобыле да и затрусил полюбовно в этот Александер-Грушевск маевщиков пороть? А? Ты, сук-кин сын, раздумай дело-то по-людски: ведь их, вторую да третью очередь, призывали законом, да присягой давили, да офицерья над ними понаставили, да под команду и гнали! А ну-к, попробуй откажись! Власть, она и есть власть! Были и у нас такие, что возроптали да отказались, так их прищучивали больней пролетарьев — в цепя, да в Сибирь!.. Ах вы, ироды, грю, ироды проклятущие, да хто же это вас так научает, кровь-то человечью цебарками лить!

Овсянкин сначала зажимал уши, а потом пошел к председателю ревтрибунала и все рассказал. Председатель, бывший механик с Путиловского, по пар-

тийной мобилизации чекист, а в обиходе — дядя Мозольков, вызвал из Царицына специальную группу политических агитаторов — успокоить население. И в это время пошли смутные разговоры, что в Вешенской и выше по Дону неспокойно, кое-где начались бунты и выступления с оружием...

Мозольков приказал Овсянкину собираться в дорогу.

— Езжай срочно в Воронеж, доложи все в Донбюро. Особо надо проверить, что там за Мосин у Сырцова, какой эти телеграммы подписывал, насчет массового террора... Надо бы дознаться да тоже... при-со-вокупить. — И добавил, снизив голос: — Постарайся, товарищ Глеб, найти там Дорошева либо самого Сокольникова... Это я к тому, что Сырцова лучше этим делом не занимать, он его скорей всего под сукно положит. У него самого рыло-то в пуху. Там так: где Сырцов, там и Мосин на подхвате, два сапога, одним словом...

— Я его знаю, Сырцова, — сказал Овсянкин. — У меня с ним уже состоялся разговор еще до Москвы! Из партии надо гнать сопляка, а с ним вот разговоры надо разговаривать!

— Выгонишь ты его... — как-то скептически сказал Мозольков и закряхтел, давая понять, что задачу Глеб ставил не только тяжелую, а прямо невыполнимую. — Зело возлюбил товарища Сырцова сам предреввоенсовет, чего тут можно добиться?

Мозольков был старый член партии, он понимал дело глубоко. Его не сбивал с толку нынешний авторитет Троцкого, вошедшего в партию в позапрошлом году и сразу же обнаружившего определенную фракционность поведения. Ясна была ему и природа «ошибок» Богуславского.

— Езжай, да побыстрей! — сказал Мозольков.

Путь около Лихой был уже перерезан белыми. Глеб с конвойным казаком Беспаловым тронулись через Милютинскую и Наголнискую слободу к Миллерово, так было даже короче. В дороге меняли лошадей.

В Наголинской председатель ревкома, молодой, еще безусый хлопец из здешних переселенцев-украинцев, предупреждал, что совсем поблизости стали постреливать банды казаков, восстала будто бы вся Боковская станица. Точно как прошлой весной, когда на этих буграх Подтелкова окружили... Советовал остерегаться, держать путь балочками и буераками, а в светлое время суток и вовсе пересиживать где-нибудь в кустах. Но Овсянкина трудно было задержать словом; он почему-то верил, что сама его миссия в Воронеж и пакет с документами трибунала, что хранился за отворотом его замызганной богатырки, сами по себе гарантируют ему неприкосновенность. И надо сказать, до самой речки Ольховой, откуда с бугров в тихую погоду уже можно расслышать паровозные гудки и увидеть черный дымок станции Миллерово, все шло спокойно.

А когда начали съезжать на усталых лошадях в ивняковую пойму Ольховой, неожиданно, как из-под земли, а точнее из ближних камышей, выехали пятеро конных, при пиках, шашках и лампасах, и молчаливо взяли в кольцо. Бежать и скакать было некуда, да и бессмысленно, потому что у этих казаков кони были свежее.

— Далёко путь держите? — спросил с каким-то веселым нахальством обладатель рыжего петушистого чуба, москлявый и злой казачок с выбитыми передними зубами.

— Дело не ваше! — холодно сказал Овсянкин, не теряя присутствия духа. — Имею поручение в Воронеж, по делу правительственной комиссии. У меня мандат подписан в Москве лично товарищем Калининым.

— Ого-го, какую птицу поймали! — ахнул радостно москлявый казачишка и подскочил с конем ближе. — От самого Всероссийского старосты! Ну, молодец, ну, голова! Чтобы мы не сумлевались, как с тобой быть!.. Тебя надо теперя не у нас в станице телешить да пороть — раз уж расстрелы у нас запрещенные, — а в самые Вешки гнать, в штаб к самому Кудинову! А ты кто? — холодно спросил Беспалова, потому что определил по седлу, посадке и прочим мелким, но важным признакам, что Беспалов — казак, а с казаков тут был спрос особый, казака можно и расстрелять.

— А я, станичник, с Хопра! — не испугался Беспалов. И даже засмеялся дружелюбно, как и положено в станичной компании. — Чего это у тебя передних зубов-то недочет? Не кобылка задом накинула у монопольки? Аль ты завсегда такой храбрый, что не боишься и по зубам получить?

— С Хопра-а?! Так у вас там все, заразы, красные наскрозь, сверху донизу мироновцы! Вот возьму и хлопну тебя, краснозадую сволочь, и греха на душу не возьму! А что? Вот возьму и... — и начал снимать с плеча карабин.

— А ну, прекратить! — гаркнул Овсянкин простуженным басом, да так, что его собственный конек сдал на задние ноги. С сознанием достоинства Овсянкин извлек из огромного кармана тужурки матово блеснувший сталью наган. — Кто у вас тут старший?

Москлявого потеснил конем плотненький в плечах казак, по выправке урядник или вахмистр, но пока без погон и уставных знаков различия, с черными спокойными глазами.

— Я старший... Но оружию вы, товарищ, сховайте лучше, договоримся мирно. А то вы сгоряча убьете одного из нас, а другие, тоже сгоряча, могут вас, товарищ, зарубить. А вы нам очинно живой нужные, раз у вас такие партейные поручения! Зараз есть строжайшее распоряжение из Вешек от товарища Кудинова: захватывать как ни можно больше важных комиссаров с ихними документами и бумагами. Очень сурьезные попадаются бумажки, товарищ...

Этот старший казак подъехал на рослом буланом жеребце вплотную, как-то спокойно взял Глеба за правую руку, за самое запястье, и отнял наган.

— Не балуй, не балуй, товарищ, — сказал сквозь зубы. И Глеб почему-то не вспылил, сразу смирился с положением пленника. Отчасти он почувствовал физическую силу противника, отчасти все еще верил

в собственную неприкосновенность, надеялся на доброе и потому не оказал сопротивления.

— Ну вот и хорошо, — сказал старший казак, жестко и мстительно усмехнувшись, и под усами как-то хищно мелькнули влажные крепкие зубы. Кинул через плечо москлявому тяжелый наган, как неуклюжую игрушку, и тот послушно поймал его на лету, сунул за поясной ремень.

— А теперь просим вас вежливо, товарищи — обои! — проехать с нами в штаб. Поимейте в виду: не до ближнего буерака, как мы со своими дураками поступаем, а до самого Дона. В Базках переправимся на тот берег, а уж в Вешенской с вами будут культурно говорить, как я уже сказал, спокойно. Расстрелов у нас нету, Кудинов запретил брать дурной пример с ревкомов. Ага.

— Кто такой Кудинов? — развязно спросил Беспалов. Но ему никто не ответил. Трое казаков сделали привычно «вольт направо», выезжая к броду, двое выждали, пока Овсянкин с Беспаловым протронут своих коней следом, поехали сзади. За речкой разобрались иначе: двое впереди, двое позади, а урядник по обличью, тот поехал рядом с пленниками, благодушно отваляясь на заднюю луку. И от полноты чувств, отчасти даже рисуясь своего рода мирным отношением, попросил табаку на закурку.

Овсянкин табаку дал.

— Между прочим, товарищи, чуть севернее этих мест, аккурат в юрте нашей станицы... — начал пояснять словоохотливый урядник, мусоля козью ножку и вроде бы не глядя на пленников. — Здеся... аккурат в этих же числах прошлого года... Подтелкова вместе с его экспедицией взяли, и тоже — полюбовно, без стрельбы...

— Чему радуетесь? — хмуро спросил Овсянкин. — Красные полюбовно, а вы их — на шворку? Думать-то, видать, уж совсем разучились?

Урядник малость оторопел от такого поворота мысли, подозрительно оглядел дорогу впереди и насупился. И тогда вступил в разговор Беспалов.

— Крепкую промашку вы тогда сделали, земляк, — сказал он как бы безмятежно, покачиваясь в седле. — Крепкую! Не отчебучили бы в прошлом годе с Подтелковым, може, теперь другой разговор на Дону был! А то вот, сами видите...

— Почему это — мы? — вдруг откинул недокуренную цигарку урядник. — Мы как раз в то самое время в Миллерове красный штаб охраняли, все — за Советскую власть! Это тут краснокутские казаки, да всякое сборное офицерье, да хохлы хуторные из богатых над подтелковским отрядом суд учинили. А мы — нет, мы, сказать, и теперь за Советскую власть, товарищ. Токо — без дуростев.

— Здорово! — выкрикнул Беспалов. — А оружию хто поднял?

— Так другого же выходу нет, друг ты мой хоперский, — сказал урядник. — От великого кровопускания куда не кинешься? Командующий наш Кудинов, тожа бывший красный комэскадрон, так прямо и сказал: лучше уж, братцы, в открытом бою голо- вы сложим честно, чем нам их поодиночке, как гусятам, поотКручивают. Выходу нет!

Овсянкин ехал ссутулясь, не вмешивался. Считал, что земляки, может, скорее о чем договорятся... Навалилась на плечи между тем страшная тяжесть взаимного непонимания людей, начала какого-то столпотворения вавилонского, когда каждый человек другому — враг. Не до разговоров было, когда в плен его взял недавний красноармеец.

«Черт, до чего можно усложнить и запутать политику! — едва ли не матерно сокрушался Овсянкин и чувствовал, как в нагрудном кармане парусиновой тужурки каленым железом печет ему кожу против сердца его партийная книжка. — Как можно запутать и затуманить простейшие вопросы! А потом, после сказать: причина — в ожесточенности людей, в темноте, еще черт знает в чем! И кто это обмозговал так, ради чего, почему? Кому на руку?.. Месяц назад думали прикончить на Дону гражданскую войну, и дело к тому клонилось, а там бы и Колчак не удержался в Сибири! И Деникина на Кубани можно было бы прищучить, если весь Южный фронт на него насунуть! Ан нет, вместо мирного сева на Дону и Кубани опять рубка, круговой кровавый покос...»

Не доехал ты, Глеб Овсянкин, по назначению в Донбюро. Через Боковскую и Каргинскую везли его с Беспаловым прямо в главный повстанческий штаб, в окружные Вешки.

Кудинов Павел, бывший хорунжий и георгиевский кавалер, не был офицером по призванию. Он окончил в свое время в Персиановке сельскохозяйственное училище (как и комиссар Кривошлыков), а в этом училище вольное хождение имели разные демократические идеи — от эсеровских и анархистских до большевистских. На германской он первое время был вольноопределяющимся и прославился среди казаков как душевный человек и балагур... Но, с виду мягкий, общительный и сговорчивый, был он все же казак до мозга костей безотчетной решимостью и отвагой, под стать какому-нибудь гулевому атаману давних булавинских дружин. В боях с немцами, на германской, когда высоким начальством предписывалось ходить в лихие штыковые и сабельные атаки (взамен артиллерийской работы), он не давал в лишнюю трату казаков, спорил с полковым начальством, при случае даже не выполнял приказа, и это запомнилось. Не забыли рядовые казаки и последних его подвигов.

В конце января, будучи еще в войске Краснова, проходя как-то со своей сотней вешенцев мимо родной станицы, он разрешил сделать суточный постой, подкормиться, помыться, повидаться с женами, и чуть сигнал, быть опять каждому в седле. Казаки все исполнили в точности, но именно в час утреннего сбора, когда сотня выстраивалась на поверку и к дальнейшему маршу, прискакал дежурный офицер из штаба дивизии и привез письменный приказ: «За якшание с вешенскими изменниками, дезертирами и агентами красных выстроить сотню на площади и расстрелять каждого десятого».

Таково было время, когда генерал Краснов пытался крайними мерами удержать свою армию от окончательного развала...

Кудинов на это засмеялся, порвал глупый и жестокий приказ на виду у казаков и скомандовал: «Сотня, за мной!» Через два с половиной часа сотня Павла Кудинова уже входила с белым флагом в расположение красных частей 8-й армии и была в полном составе приписана к кавалерийскому полку.

Служили вешенские казаки в красных исправно. Спустя два с половиной месяца дивизион Павла Кудинова (три полные сотни!) вновь зашел на ночевку в родную станицу по пути к Дону, преследуя белых. Вошли, поставили вокруг дозорные посты и занялись мирным делом. Кто помогал родным и соседям по хозяйству, кто мылся щелоком и менял завшивевшее белье, латал подносившееся обмундирование. А за ночь, до самого утра, почти никто не уснул в этот раз. Растревожили конников жалобы и рассказы жен и отцов-стариков, плач старух. А перед самым рассветом прискакал из соседней Еланской станицы парнишка лет тринадцати на неоседланном коне, охлюпкой, и привез еще одну новость. Двух бойцов из дивизиона, отпущенных на побывку в Еланскую, тамошний комиссар Малкин вечером расстрелял, будто бы за прежнюю их службу у белых... Хотя в станице все знали, что служили они там по мобилизации, да и недолго.

Кудинов поднял дивизион по тревоге, арестовал станичный ревком и продовольственный отдел в полном составе. Начальник красного караульного батальона Яков Фомин успел бежать на хутор Токин, а станица Вешенская стала сразу же средоточием большого восстания.

Этот-то Кудинов Павел и сидел теперь против Глеба Овсянкина за столом, один на один, приказав наглухо запереть штабные двери. Секретность в данном случае объяснялась необычностью беседы, которую никак нельзя было назвать обыкновенным допросом. Неизвестно, как повстанец Кудинов обходился с другими пленниками, но бумаги Овсянкина привели его в явное замешательство. Из бумаг можно было заключить, что повстанцы поторопились, не следовало им поднимать мятеж, если уж сама центральная власть начала призывать к порядку своих эмиссаров.

Говорил Кудинов спокойно и как-то повинно, выкладывая на стол перед Овсянкиным изъятые у арестованных или порубленных в схватке должностных лиц разные директивные бумаги Южного фронта. И по его выводам получалось, что у казаков не было никакого другого шанса, кроме как поднять мятеж...

— Понимаешь, дорогой мой товарищ уполномоченный, этим бунтом мы захотели «караул!» прокричать. На весь свет! Тут задача была: не столько вреда красным частям наделать — против них мы были слабы, — а сколько внимание Москвы и высшего начальства к нам привлечь и разобраться: что у нас тут почем, какая цена нынче за человечью голову и кому взбрело вдруг весь наш вольный род искоренить! Царь и тот не решался с нами так обходиться, он нас «переводил в труху» медленно и потихоньку, чтоб мы не догадались. А тут прям под расческу начали стричь эти цирюльники приезжие! — Помолчал, тяжело вздохнув, и закончил: — С тем вот и загорелось. А как уж тушить придется, пока никто не знает.

— И вы не знаете? — спросил Овсянкин строго, но вежливо.

— И я, откровенно если, не знаю, — повторно вздохнул Кудинов.

— Надо немедленно прекратить бунт и выслать парламентеров с белым флагом, — сказал Глеб, разом войдя в роль уполномоченного и возлагая на себя всю ответственность за эти переговоры с повстанческим штабом. — Это безумие, товарищи! Центральная власть издала ведь правильные директивы и постановления, это — наше оружие. А за перегибы местные, сами знаете, Советская власть спросит с кого следует, а сама вины не несет! Надо немедля прекратить мятеж, объявить об этом всенародно!

— Судя по вашим документам, товарищ Овсянкин, мы, конечно, поторопились... — с явной озабоченностью согласился Кудинов. — Но теперь-то так просто назад не повернешь. Вы говорите: сложите оружие и прекратите борьбу... А кто поручится за дальнейшее? Мы уже в январе пробовали складывать, а чем кончилось? С другой стороны, программа наша не белогвардейская, мы вот недавно и окружной Совет выбрали, станичные тоже начали выбирать, хотя Гражданупр этого нам, конечно, не разрешал...

— Советы, в которых и бывшие офицеры сидят? — съязвил Глеб.

— Бывший офицер — это теперь не аргумент, — сказал Кудинов. — У вас их тоже полным-полно. Все штабы забиты. Важно: каков офицер, что за человек! А вот в главном штабе, у самого товарища Троцкого, начальником оперативного управления какой-то бывший генерал Кузнецов сидит. Это не Сергей Алексеевич случаем, не бывший командир 3-й Донской казачьей дивизии с румынского фронта? Его, помню, еще Миронов под арест брал в поезде, как явного монархиста?

— Не знаю, — сказал Овсянкин. — Вполне возможно. Военных спецов мы используем...

— Ну так вот! А вы — «офицеры»! А многие офицеры — за Советскую власть... Так вот, с красными частями вот уже больше недели серьезных стычек не было, стоим в глухой обороне, да и боеприпасов у нас маловато... Ждем, признаться, какую-нибудь комиссию, то ли из Москвы, то ли с неба, но — чтобы она тут все правильно поняла. А терпеть эти, как вы сказали, «перегибы» — тоже охоты нет. Вы войдите в положение!.. Должны быть какие-то гарантии.

Невозможно даже со стороны было понять, кто у кого тут в плену. Овсянкин, который с самого начала чувствовал эту шаткость противника, с уверенностью указал на бумаги, изъятые у него конвоирами:

— А вот и гарантии. Вы же видите! Мы сами наводим порядок, невиновных теперь на советской тер-

риторин никто пальцем не троиет. Тем более сдавшихся с оружием!

— Ну да?! — как-то легкомысленно, с внутренней безнадежностью хмыкнул Кудинов и тряхнул своей жесткой гривой.

— Говорю ответственно, — сказал Глеб.

— Это высшие политотдельцы-то? Из 8-й армии?

— Эти, конечно, сильно разгневаны... — усмехнулся Овсянкин, до конца играя какую-то взятую на себя роль. — Вы им, думаю, тоже немало жару за воротник сыпанули на первых порах — чувства тут обоюдные. Но этот большой вопрос теперь уже Москва будет решать, а не штарм-8. Это я точно могу сказать. Решения VIII партсъезда, товарищ... Теперь и крестьянский вопрос по-другому стоит, председателя ВЦИК именуем из уважения к крестьянам не иначе как Всероссийским старостой.

Глеб чувствовал в себе силу убедить этого новоявленного «атамана». Казалось, что он уже склонил Кудинова к серьезному решению... Но тот вдруг с горечью вздохнул, крякнул с чувством сомнения и полез рукой в самую даль конторского стола, в ящик. Порылся там и достал четвертушку бумаги с лиловым штампом и печатью. Молча прихлопнул этот листок ладонью и двинул по гладкой столешнице ближе к Овсянкину.

— До бога высоко, до Москвы далеко, товарищ... Вот почитайте, вдумайтесь.

Глеб поднес бумагу к усталым глазам. На хорошей штабной машинке были отпечатаны все те же указания насчет массового террора, с которыми пришлось знакомиться в Морозовской. «Провести массовый террор против богатых казаков, перебив их поголовно. Во всех станицах и хуторах немедленно арестовать всех видных представителей донской станицы или хуторов, хотя и не замешанных в контрреволюционных действиях...» И опять копию заверял работник Гражданупра Мосин.

— Это фальшивка, — сказал Глеб. — Этого варварства не может быть. Тут что-то не то.

— Да нет, к сожалению, может... — горько усмехнулся Кудинов. — Вот еще одна грамотка. Письмо в военные трибуналы... Пожалуйста.

Глеб прочел еще одну бумагу:

Ни от одного из комиссаров дивизии не было получено сведений о количестве расстрелянных белогвардейцев, полное уничтожение которых является единственной гарантией прочности наших завоеваний. В тылу наших войск и впредь будут разгораться восстания, если не будут приняты меры, в корне пресекающие даже мысли о возможности такового...

Никаких переговоров с восставшими быть не должно!

Член РВС 8-й армии И. Якир[1].

24 марта 1919 г.

— Каково? — спросил Кудинов. И теперь в голосе и тоне его сквозило поразительное хладнокровие. Даже усмехнулся краем рта, будто они с Овсянкиным сейчас в карты играли, пустой болтовней занимались, а эти бумажки ни к чему не обязывали, никому и ничем не угрожали. — Вот такое простое решение всех нынешних сложностей, товарищ!

— Круто, — согласился Овсянкин.

Смотрел на бумагу и не верил глазам. Может, это все-таки подделка, фальшивка? Агенты Деникина подбросили горючий товар? Но вряд ли: стиль, шрифт, бумага и, наконец, печати — все подлинное. Та же самая линия Сырцова — Марчевского «пройти карфагеном» по мирным хуторам и станицам, провокация восстаний, которую он предвидел еще поздней осенью... Это делают «левые», которых уже потеснили на VIII партсъезде и которых скоро начнем искоренять вообще. Но как все это, всю сложность политического момента втолковать главному разбойному атаману Верхнего Дона? Да и станет ли он после этих бумаг слушать? Он и в беседу-то вовлекся, можно сказать, под давлением обстоятельств и слабенькой пока надежды на просветление обстановки, исходя из документов Овсянкина. А то бы!

— Так как же, товарищ партейный Овсянкин, решим-то? — спросил Кудинов, веселясь глазами и как будто допытываясь чего-то. Скажем, полного согласия Овсянкина на то, что уже сейчас его вместе с Беспаловым поведут к ближнему яру или в здешние песчаные балки, дабы не утруждать копкой собственной могилы...

— Да так думаю, что эти бумажки неправильные, вредные, — сказал Глеб упрямо. — Не те мысли в них, что мы бойцам на привалах вкладывали. Тут нет желания поскорей кончить гражданскую войну. А в Москве, я знаю, есть такие люди, что считают гражданскую войну бедствием, не нами придуманным. Ленин в конце семнадцатого года самого генерала Краснова, после Гатчины, отпустил восвояси под честное слово! Было желание, значит, не допустить гражданского междоусобия. А тут — такие мысли и слова, что... Да! Вы, пожалуйста, снимите копии с этого приказа для меня, гражданин Кудинов. Они мне очень сильно понадобятся.

Кудинов заулыбался теперь уже насмешливо, даже враждебно.

— Позвольте... Вы что же это думаете, товарищ дорогой, что мы вас с миром отпустим, что ли?

— Да. Отпустите, — сказал Овсянкин спокойно. — Вы же видите, с какими полномочиями я еду. Вам нет никакого расчету меня задерживать.

— Это все так, но казаки обидятся, — глуповато сказал Кудинов. — Мы эти дальние разъезды по красным тылам с риском предпринимаем, чтоб нужных нам начальников вылавливать, а тут — пожалуйста! Взяли и — отпустили! На что это будет похоже?

— Не в этом дело, Кудинов, — продолжал свою линию Овсянкин. — Казаки могут и заблуждаться, а в ответе — вы. В ответе будут командиры. Чем кончать думаете?

Тоскливо вздохнул Кудинов и стал убирать в глубь стола опасные бумаги. Волосы Кудинова, такие

[1] ЦГАСА, ф. 60/100, оп. 1, д. 26, л. 349.

жесткие на вид, теперь свисали над бровями в полной безнадежности.

— Это, конечно, вопрос вопросов — чем кончать... Скажу откровенно. Ежели никаких иных приказов не выловим за эти дни, в коих мерещилось бы спасение, то придется, конечно, прорываться в направлении Донца, к кадетам. Только скажу прямо: этого никто не хочет, ни один рядовой казак, ни командир, это — если смерть в глаза глянет! Утопающий, знаете, за соломку хватается.

— Вот этого вам никто не простит! — вдруг закричал Овсянкин своим громовым басом и вскочил. Он тоже хватался за соломинку. Кроме того, кудиновские слова о том, что их с Беспаловым не собираются отпускать, развязывали ему руки для дальнейшего разговора, избавляли от излишней гибкости и всякой дипломатии. — Я же спрашиваю вас: чем кончать думаете? — кричал он с надрывом и злобой. — А вы что мне отвечаете? Вы о людях думаете или — про собственную шкуру?!

— Я говорю, что прощения нам, видать, не будет, это у нас даже и рядовые казаки понимают. Гляньте им в глаза, у них там тоска... Но и не одни казаки ведь на это пошли, дорогой товарищ. На днях перешел на нашу сторону Сердобский полк в полном составе, из крестьян Тамбовской и Саратовской губерний...

— Когда? — перебил Овсянкин в волнении.

— Третьего дня, что ли... Их, конечно, командиры, из бывших офицеров, повернули обратно в православную веру, но ведь дело-то не в том, как вы, наверно, понимаете. Дело в обстановке. Не беда бы, в одной какой-нибудь деревушке Репьевке салазки мужику загнули! Но, судя по всему, для ваших комиссаров вся Россия — сплошная Репьевка?..

— Неправда! — сказал потный с ног до головы Овсянкин. — Не вам, как грамотному офицеру, молоть эту чепуху!

— Беда в том, что я не только офицер, но и — агроном, кое-чего понимаю в налоговой политике и разных этих продразверстках... — сказал Кудинов. И отмахнулся рукой: — Ну, ладно... Это споры пустые. А что же все-таки делать?

Кудинов при всей своей кажущейся вежливой непримиримости снова пробовал торговаться, и выторговывал для себя и казаков немалый барыш — право остаться в живых на этом свете.

— А то и делать. Сложить оружие, в Москву послать выборную делегацию, ходоков... С покаянием и просьбой о прощении. Перегибщиков Москва наказала, ей эти события понятны и лишний раз объяснять не нужно, — сказал Овсянкин.

Кудинов хотя и шел по узкому мосточку в этом разговоре, все же имел отвагу еще и раскачивать его, испытывать на прочность. Засмеялся:

— Вы, товарищ, до войны, случаем, не подвизались в поповском сословии? Все у вас как-то безгрешно получается, по правде сказать. Но можно бы и так сделать: ходоков-то послать, и даже с белым флагом. А оружия пока не слагать...

— То-есть?

— К кадетам и генералам казаки не хотят. Значит, каков же конец? Всеобщая казнь, смерть? Тут схватишься за голову... Я, товарищ Овсянкин, по ночам такое думал... Знаете, по ночам всякие несбыточные идеи душу мутят. Вот и думал: а что, мол, если стать в круговую оборону, из опаски только, в красных временно не стрелять, а безоружную полусотню выслать на переговоры бы... Но это ночью так думалось. А утром проснешься, и тут тебе новую бумагу за чужой подписью несут. И понимаешь, что все твои мысли — одно полуночное безрассудство! А вы вот вроде по дневному времени и трезво предлагаете эту же самую ночную идею. Так, может, не такая она уж и безрассудная?

«Черт возьми, а ведь этих людей и в самом деле заранее обрекли на смерть! — вдруг подумал Овсянкин. — Не белые же они, каратели и всякая сволочь давно за Донцом... А этих — за что же? По какому такому стечению обстоятельств? И вот мы сидим, судим и рядим, как будто по самому простому, житейскому делу: жить или погибнуть им, а заодно и нам, пленникам этих сумасшедших повстанцев!..»

Надо было спасаться и спасать. Иначе — смерть.

— Не доверяете Южному фронту, надо — в Москву, — сказал Глеб.

— Да кто же нас туда пропустит?!

— Отпечатайте повинную от вашего повстанческого совета... И... я вас поведу, — вдруг сказал Глеб, глядя пристально на стол, на свою партийную книжку среди прочих документов, изъятых у него при обыске. — Я вас поведу, — повторил Глеб.

Размышлял в душе с болью и сомнением: верно ли, по-большевистски ли поступает, склоняя этих несчастных вешенцев к повинной, а от своей партии и Советской власти требуя к ним пощады? Верно ли? Так ли учили его старые большевики-политкаторжане в Иваново-Вознесенске и высшие комиссары этой великой революции?

И решил: так! Нет иного выхода, потому что казаки — заблудились, и притом казаков этих собралось в трех повстанческих верхнедонских округах более тридцати тысяч, не считая жен, стариков и детей, и они понимают, как говорит Кудинов, собственную обреченность. Это сколько же надо положить теперь красноармейцев и молодых необстрелянных курсантов, чтобы без пощады выбить их до одного? Кто знает, сколько? Если учесть военное искусство казаков и ожесточенность их, то придется кинуть на них не менее пятидесяти тысяч! Целый фронт! А они, эти пятьдесят, не живые ли люди, не мои ли земляки и друзья? И не нужны ли они в другом месте, скажем на фронте с теми же отъявленными белогвардейцами? Кто же взял на себя такое право — распоряжаться не только чужой кровью, но и судьбой целого народа, отменив даже такое понятие, как пощада?

«Ты так рассуждаешь потому, что ты — пленный!» — подсказал некий бескомпромиссный голос не столько изнутри, сколько извне, с холодной высоты. И Глеб не дрогнул душой, сердце не остановилось, не задрожало, внутренний голос ответил спокойно: «Да, может быть, и оттого, что пленный. Сидя в штабе

фронта, я, возможно, думал бы по-иному. Но правда все-таки со мной, здесь, потому что я не хочу умирать и хочу отвести смерть от других!»

Глеб поднялся, безбоязненно протянул свою длинную костлявую руку и взял из пачки изъятых бумаг свой партийный билет. Раскрыл еще, посмотрел на подпись председателя ячейки и время выдачи, вздохнул. («Не успел обменять, после VII съезда меняли прежние маленькие билеты дореволюционного образца на новые, большие, по типу трудовых книжек, с подробными записями о прохождении службы, взысканиях и наградах... А он в условиях фронта, ранения, перехода на продработу и с поездкой в Москву не сумел обменять, книжечка еще старого образца...») Вздохнул Овсянкин, глядя на краткие записи и время вступления в партию, и со спокойной уверенностью водворил билет на место, в нагрудный карман холстинной летней тужурки. И застегнул верхний клапан на пуговицу.

А Кудинову сказал, прикидывая на будущее:

— Человек десять—двенадцать мне в сопровождение... Больше не надо. Вроде почетного караула, без оружия. И — большой белый флаг. Лошадей добрых. И двинем походным порядком на Миллерово либо прямиком через Бутурлиновку. В Воронеже я свои дела исправлю и пересядем на железную дорогу. Беру все на свою совесть и ответственность... Но — боевых действий в это время не проводить!

Кудинов походил вокруг стола, разминаясь, глядя, как пленник засовывает свою партийную книжку в карман. Сказал со вздохом:

— Добре... Попытка — не пытка, будем ждать в обороне. Есть у меня тут людишки, крепко сочувствующие большевизму, их, сказать, даже и не так мало... Они сгоряча ополчились на местную коммуну, а чуть заметят, что мы к кадетам хилимся, доразу покраснеют! Так вот их и пошлем! А вы по пути все же давайте нам как-то о себе знать...

Говорил и прикидывал, но в лице его и взгляде Овсянкин не видел веры.

— А вот как доберусь до Воронежа, так и будет известие, — сказал Глеб. — Думаю, директивы красным войскам изменятся. По существу.

— Хорошо бы, — сказал Кудинов.

«Горячий человек, мятежная башка, — в душе засмеялся Овсянкин. — Наделал делов, а теперь пришло время задуматься! Пуля по нем плачет, дуралею, но за рядовых повстанцев горой буду стоять...»

ДОКУМЕНТЫ

о положении на Дону

По материалам парткомиссии

Из докладной члена РКП(б) Сокольнического района г. Москвы К. К. Краснушкина

Ряд причин делали советскую работу совершенно неудовлетворительной:

а) абсолютное назначение всех отв. работников Гражданупром;

б) отдаленность Гражданупра от Донской обл. и по своему составу (чуждый казачеству элемент)...

в) совершенное непонимание задач Советской власти как Гражд. управлением, так и местной властью...

Засоренность состава... на ответств. должности назначались люди, которые занимались пьянством, грабили население, отбирали скот, хлеб и др. продукты в свою пользу, а из личных счетов доносили в ревтрибуналы на граждан, а те страдали...

С самого начала моего приезда я с помощью товарищей — коммунистов из центра — повел энергичную борьбу с ревкомом, настойчиво требуя смещения ревтрибунала и предания его суду. Это удалось почти добиться, однако наступил острый момент восстаний и, наконец, эвакуаций.

Начало восстаний было положено одним из хуторов, в который ревтрибунал в составе Марчевского, пулемета и 25 вооруженных людей выехал для того, чтобы, по образному выражению Марчевского, «пройти карфагеном» по этому хутору...[1]

Из письма члена РВС Республики В. А. Трифонова председателю ЦКК РКП(б) А. А. Сольцу

...Прочитай мое заявление в ЦК партии и скажи свое мнение: стоит ли его передать Ленину? Если стоит, то устрой так, чтобы оно попало к нему.

На Юге творились и творятся величайшие безобразия и преступления, о которых нужно во все горло кричать на площадях... При нравах, которые здесь усвоены, мы никогда войны не кончим, а сами очень быстро скончаемся — от истощения. Южный фронт — это детище Троцкого и является плотью от плоти этого... бездарнейшего организатора.

Для иллюстрации создавшихся отношений в Донской области я считаю нужным сообщить в ЦК, что восставшие казаки в качестве агитационных воззваний распространяли циркулярную инструкцию партийным организациям РКП о необходимости террора по отношению к казакам и телеграмму Колегаева, члена РВС Южного фронта, о беспощадном уничтожении казаков[2].

12

Упоение недавними победами помешало советскому командованию понять сразу всю опасность верхнедонского восстания. Против повстанцев направлялись ближайшие полки и даже отдельные роты, в малом числе, и они тут же рассеивались или вырубались в коротких кровопролитных схватках. И лишь после того, как к восставшим донцам присоединился сначала Сердобский полк, а затем в Купянске, глубоком тылу красных, восстала запасная бригада, целиком состоявшая из мобилизованных крестьян, Южный фронт принял наконец надлежащие меры. Две экспедиционные дивизии — из 8-й армии под командованием Антоновича и из 9-й под командо-

---

[1] ЦГАОР, ф. 1235, оп. 82, д. 15, л. 174—177.

[2] Трифонов Ю. Отблеск костра. М., 1966, с. 151.

ванием Волынского — были сведены в экскорпус под общим командованием бывшего унтер-офицера и саратовского военкома Т. С. Хвесина. Ожидалось прибытие курсантских бригад из ближайших губернских городов и самой Москвы.

Вместе с другими сотрудниками агитпоезда «Красный казак» переводился в политсостав экспедиционных войск и бывший завполитпросветом города Козлова Аврам Гуманист.

Политически Аврам был подкован крепко, читал даже брошюры по Фейербаху и Бебелю, назубок знал статьи Льва Троцкого, но он не мог похвастаться ни выразительной физиономией (не имел, например, бороды и очков «под вождя»), ни внушительным жестом, ни партстажем, не имел он и громового ораторского баса, как великие трибуны этих лет, и, следовательно, не мог претендовать на высокий пост. Он мог быть лишь скромным советчиком и помощником около какого-нибудь толкового, но еще недостаточно проверенного военспеца либо малограмотного народного выдвиженца, каких теперь немало приходилось встречать во главе полков и даже дивизий. Аврама назначили на первое время эскадронным политруком. Он был несколько уязвлен слишком невысоким назначением, и, как всякий человек его положения, таил надежду на скорый успех и заслуженную славу в ратном деле, которое оказалось вдруг от него в непосредственной близости. Он выехал в часть, одетый в черную кожанку, туго затянутый в портупею, имея на бедре тяжелый маузер в деревянной кобуре. И молча пел боевую, ставшую теперь очень распространенной среди курсантской молодежи песню южно-африканских буров «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне...».

Эскадрон был особый, летучий, не прикрепленный к какому-либо определенному пункту или центру восстания, это была одна из единиц завесы по границам области. Конники мотались в районе Бутурлиновки, Калача-Воронежского и Старой Криуши, ведя наблюдательную службу и заботясь единственно о том, чтобы своевременно узнать, когда именно восставшие казаки побегут под натиском других, более мощных формирований из состава 8-й и 9-й армий, повернувших часть своих войск и орудий от Донца и Белой Калитвы на север и северо-восток.

Командиром эскадрона сразу же был назначен по рекомендации работника Донбюро товарища Мосина бывший офицер, кажется хорунжий казачьего полка, некто Барышников. Очень благовоспитанный и развитой человек с тонкими манерами, хорошо знавший службу. Высокая рекомендация, конечно, не исключала необходимой бдительности. Но было одно обстоятельство, которое, если его правильно квалифицировать, освобождало Аврама от особой подозрительности к командиру. Дело в том, что весь отряд по своему составу гарантировал каждого от каких бы то ни было шатаний и возможной измены: в эскадроне подобрались либо старые, проверенные красногвардейцы из бывших шахтеров (им когда-то крепко насолила полицейская стража атамана Каледина!), либо трижды судимые революционным судом, всегда мягким к этим заблудшим людям, раскаявшиеся анархисты из отрядов Маруси, Петренко и бывшего Тираспольского полка. Эти, последние, именовали себя почему-то «моряками» и «одесситами», хотя никто из них никогда не служил на море. Некоторые были замечены в мародерстве, но это было в прошлом, а теперь каждый старался смыть с себя вину и «грязь прошлого»... Случаев отличиться в бою практически не представлялось. Барышников как-то так умело водил эскадрон на приграничной полосе, что не было не только зряшных схваток, но даже и перестрелок. В отряде, втайне, ценили эту способность комэска устроить себе и близким относительно легкую жизнь в суровое время. За две недели такой жизни бойцы отъелись и заважничали, а исконный горожанин Аврам освоил начала верховой езды, стал отличать казачью посадку от драгунской и разницу в амуниции. Командир терпеливо объяснял ему, что казачья посадка лучше уже потому, что стремена в этом случае выпускаются почти на всю длину ноги всадника и он не только в атаке (где это прямо необходимо), но и на марше, рысью или галопом, может попросту стоять в стременах, почти не приседая на подушку седла и тем уберегая себя от лишней тряски. Второе: короткая скошевка, то есть ремешок, схватывающий под брюхом лошади стремена, при вольтах и резких поворотах не позволит вам слететь в сторону, «вольет в седло» и так далее и тому подобное. Знал теперь Аврам и аллюры: шаг — шесть верст в час, рысь — двенадцать верст, намет — шестнадцать, карьер — свыше двадцати верст в час... Ремешок, которым притягивается подушка на седле, называется троком, а петля пики — бушматом. Учил Барышников своего политкома и навыкам полевой езды, умению быстро проходить значительные расстояния с сохранением сил лошади, прибегая к переменному аллюру и привалам. Вообще-то, как убедился Аврам, в кавалерийской службе были свои прочные уставы и обычаи, которые нелишне знать и комиссару. Но когда Барышников советовал ему приступать к урокам джигитовки — всяким отчаянным фортелям на скачущем коне, — мотивируя тем, что джигитовка-де развивает смелость и ловкость всадника, то Аврам на это вежливо усмехался, понимая, что такие занятия несколько преждевременны.

Аврам привыкал к району и местности во время объездов. За Бутурлиновкой была слобода Криуша, а за ней слобода Петропавловка, а потом какая-то невзрачная, но довольно широкая в разливе речушка Толучеевка, а уж за ней шли пойменные луга над Доном — пахучий тополевый и вербовый лес, свежая зелень, приволье! Ах, чудная земля эта, Придонье, что и говорить! Реки и заливные озера в поймах полны рыбы, в камышах крякала дикая утка, плескалось несметное число мелкого чирка, подымались над тихой водой гусиные стаи. А сколько земли, пашни, коровьих выпасов, лугов, всякого

птичьего кагаканья и пересвиста! Даже и не подумаешь, что в это самое время где-то в России издыхают с голоду целые города и местечки, ждут, ждут отсюда хлеба, картошки, молока и мяса, — а кто будет пахать и сеять, когда чуть ли не все мужское население под ружьем?

Да боже мой, дело-то ведь за малым! Вот еще немного, месяц-другой пройдет, повыселим отсюда к чертовой матери эту контрреволюционную лампасную к а з а р у, как они сами себя величают под веселую руку, всю эту «чигу востропузу», завладевшую вольными степями еще лет триста назад, населим по справедливости рабочим элементом, устроим коллективные экономии и государственные хозяйства и — заживем!

— Отличные места, командир! — взволнованно и слишком открыто, сентиментально говорил Аврам, откидываясь по-казацки в седле и озирая с высоты великолепие вешних лугов, зеленые веретья займищ. Немного портило настроение тучи комаров, всяческий гнус, но Аврам не подавал виду. — Какое это сельцо там?

За Доном, по правую руку, чуть виднелись на отдалении по взгорью маленькие избы мужицкого селения, сусально золотился купол церкви. Барышников, не сверяясь с планшетом, по памяти сказал, что это — последнее на грани с Донской областью село Воронежской губернии, называется Монастырщина. В прошлом, видимо, здешние крепостные были приписаны к монастырю или какой-то епархии. А дальше уж пойдет Донщина...

И тут Барышников умолк и настороженно вытянул шею, стал короче подбирать поводья.

Что-то встревожило командира, и Аврам тоже напрягся.

— Странно, — сказал Барышников. — Неужели показалось?.. Здесь?

— Что такое? — тихо спросил Аврам.

— Вроде бы какой-то разъезд с той стороны. Сейчас увидите... Во-он, в балочке, чуть правей, саженях в трехстах, мелькнули и скрылись.

Аврам поднялся в стременах. Увидел отсюда, с небольшого взгорья, конец луговой балки, исход ее... И в тот же миг там, из-за поворота и снижения, мелькнул белый клок поднятого на пике полотнища и начали выезжать какие-то всадники. Небольшая группа, неполное отделение...

— Черт возьми! — опять очень тихо выругался Барышников и, оглянувшись на свой отряд, скомандовал «внимание»...

Группа с той стороны безбоязненно приближалась.

Впереди ехали два рослых, небритых и по виду очень усталых человека в летних холстинных куртках, один из них держал на пике белый флаг, целую простыню из сайбата, а за ним шли по двое еще одиннадцать конных в откровенно подобранной, почти новой казачьей форме — высоких голубых фуражках с красными околышами, лампасах, ну и посадка особая, с надменностью и шиком. Переметные сумы, отсюда можно видеть, туго набиты, к долгой дороге, но оружия, кажется, никакого...

Барышников сначала испытал досаду, увидя нежелательную препону в патрульной своей прогулке, а потом весь как-то возликовал душой, оценив возникающую ситуацию.

Опять эти вешенцы, как видно, решили ударить челом перед Москвой! О дрянь мирская, не ведающая путей своих!..

Лютой, ясной и почти открытой ненавистью ненавидел он, бывший штабной, вылощенный офицер, эту серопосконную, грубошерстную, провонявшуюся овечьим катухом и тяжелым рабочим потом толпу, ту самую, которую большевики именуют массой и которая успела за последние годы трижды смертельно напугать его и сбить с пути. Первый раз это случилось в феврале семнадцатого, когда рухнула царская династия и начался вселенский содом. Второй — в январе восемнадцатого, когда вся эта масса откачнулась к ревкомам, нижний чин Подтелкова из Каменской обрек генерала Каледина на самоубийство и не позволил обосноваться на Дону офицерскому корпусу России в лице Добровольческой армии Корнилова... И, наконец, третье потрясение случилось в январе текущего, девятнадцатого года, когда весь этот бараний табун вдруг оставил позиции на границах области и раскрыл объятия перед красными частями 8-й и 9-й армий! Да, тогда они бросили фронт, открыв путь на донскую землю чужим, лапотным полчищам, голодной расейской пехтуре. Но нет, не сладко им стало в красных тылах, дуракам немытым, припекло им сильно, когда начали на тупые лбы прижигать свежее тавро «белогвардеец», как в старину, при Алексее и Петре, их предкам прижигали «вор»... И тогда они хватились, заседлали оставшихся коней, гикнули по старой памяти... да уж поздно было! Вот кто-кто, но Барышников-то лучше кого-либо понимал, что поздно! Все свидетельствовало о том, что, как в библии сказано, «царствию этому не будет конца...». И поэтому он упросил Щегловитова, который еще мотался по красным тылам в комиссарской тужурке, пристроить его куда-нибудь для «прохождения красной службы» и врастания в чужие ряды, в рассуждении «дальнего прицела» в этой затянувшейся борьбе. А хоть бы и без всякого прицела, а просто для сохранения жизни, ради хлеба насущного, поры весенней и неба синего над этой вот обетованной землей! Ведь пригодится же кому-нибудь и его жизнь?

А эти? С белым флагом? Искренне?..

Ну, конечно, парламентеры! На переговоры, с повинной... Еще чего! Задача-то покуда иной должна быть: вернуть заблудшее стадо в привычное лоно, заставить повиниться не красной, а белой стороне! Тем более что в данный момент это совсем нетрудно сделать, ибо РВС фронта своим приказом обрубал всякие мосты с этой стороны. А бумажка с приказом хранилась в планшетке политкома Гуманиста, стало быть, он и отвечал теперь за ход нынешних событий... У Барышникова руки были развязаны полностью.

Внимание!

Кавалерийская команда «внимание» означала: обнажить шашки и рассыпаться в полукруг, взять чужаков в окружение... А сам Барышников протронул коня на невысокий кургашек, натянул поводья и, словно какой триумфатор, подняв голову и выпрямившись в седле, ждал поднимавшихся к его стопам всадников с белым флагом.

— Кто такие?! — резкий окрик. — Остановитесь!

Все они были без оружия, он ясно видел это наметанным взглядом. Протянул к ним черенок нагайки в вытянутой руке:

— Один, кто-то из передних, кто мне! Спешиться!

Там посовещались, затем один из двух, что были в холстиных куртках, но без флага, устало слез с коня (этот, по всему, был не казак) и прямым строевым шагом пошел вверх, к Барышникову и вставшему с ним рядом Авраму. Они уже могли рассмотреть его лицо: темное, костистое и как бы даже изможденное какими-то муками, и блестящие сухие глаза, непримиримые и жесткие. Приставил ногу, небрежно козырнул.

— Здравствуйте, товарищи, — сказал он и полез длинной и узкой, не очень сильной кистью руки за отворот куртки. Он мог выхватить оттуда и браунинг, поэтому Аврам чуток подался за командира, но лишь самую малость. Барышников не шевельнулся.

— Я... уполномоченный ВЦИК... и член партии большевиков, ехал из Морозовской в Воронеж, для связи с Донбюро. Фамилия моя Овсянкин. Вот документы.

— Ну-ну? — как-то недоверчиво спросил Барышников, не спеша брать бумаги. — Дальше?

— По пути на Миллерово был захвачен повстанцами... — «Вот этого не следовало уточнять! — запоздало сработал мозг Овсянкина. — Надо бы о нынешней миссии, и все...»

— Где? — быстро спросил Барышников.

— На той стороне, на Боковско-Каргинском... Да вы не сомневайтесь, товарищ! — Овсянкин раскрыл большой бумажник и зачем-то копался в нем, разыскивая нужную справку. — Имел я переговоры с самим Кудиновым. Штаб ихний имеет намерения сложить оружие, и, пользуясь случаем, я их уговорил прекратить активные действия, послать делегацию в Москву, лично к Ленину и Калинину.

При этих словах Овсянкин все же вручил бумагу комэску Барышникову и вытянул руки по швам.

— Куда-а? Куда-а вы их, этих... бан-ди-тов? — с непонятной яростью спросил Барышников. — Прямо к Ленину-у?

Не глядя, передал удостоверение Авраму и что-то незаметно сделал шенкелями. Конь беспокойно заработал всеми четырьмя копытами, горячась, исполняя какой-то вынужденный танец. Но этот бег на месте горячил всадника и окружающих бойцов.

— Так куда вы их? — повторил Аврам, заражаясь настроением комэска.

— Это — парламентеры, — почуяв краем души худое, поспешно сказал Овсянкин. Глаза его стали еще более суровы, он оскалил крупные, прокуренные зубы со щербинами. — Вы обязаны их... и меня пропустить, так как и я, и они — без оружия. С ними решение повстанческого совета о сложении оружия и просьба о помиловании...

— Какого это со-ве-та? — удивился Аврам и бросил недоумевающий взгляд на комэска, как бы ища у него защиты и управы перед этим неслыханным святотатством.

— Так. Все ясно, — процедил сквозь зубы Барышников и кивнул Овсяникину: — Иди возьми у того повстанца белый флаг и стань тут!

— Это не повстанец, это мой ординарец, провожатый красноармеец Беспалов! — Глеб Овсяникин быстро обернулся, сообразив что-то, и крикнул с напускной веселостью в голосе: — Беспалов, давай сюда свою красноармейскую книжку!

— Не надо книжки, — сказал брезгливо Барышников. — Приказываю отобрать у него этот флаг! Ну? — Обнаженный клинок холодно повернулся в руке Барышникова, отразив булатными долами и голубизну весеннего мира, и темную мглу, исходящую из преисподней. — Книжка пускай при нем...

— Цирк с переодеванием! — сказал Аврам возмущенно. — То он — уполномоченный из центра, то они — повстанцы, то — опять у них красноармейские книжки! Да что, в самом деле?

— Красноармейских книжек у них в Вешках сейчас сколько угодно, целую дивизию красных за этот месяц вырубили, да и в плен немало взяли! — не без внутреннего злорадства объяснил Барышников. — Флаг — ко мне!

Овсянкин понимал, что все отчаянно осложнилось, что надо как-то растягивать минуту, отодвигать ее накал, искал последнюю возможность к спасению... Медленно шел к группе насторожившихся казаков. Мучительно думал: что же происходит? Почему?

Пока он шел с кургана вниз, Аврам заметил вдруг в числе двенадцати всадников, сопровождавших Овсянкина, знакомое лицо. И вознегодовал еще сильнее.

Как-то пришлось Авраму выступать с беседой в хуторе Белогорском, близ Казанской станицы. Выступал он на щекотливую в данный момент тему — по работе Бебеля «Женщина и социализм». Разоблачал вредные кулацкие байки насчет того, что спать коммунары будут под одним одеялом, при общих женах и по утрам такое большое одеяло с общего ложа будто бы придется стягивать с них трактором... Он-то разоблачал и высмеивал такие понятия, но даже из его выверенных слов все же получалось, что женщина — существо, на хуторской взгляд, хитрое и легкокрылое — будет иметь право выбирать мужа или временного сожителя по своему усмотрению, причем неоднократно, по любви исключительно, и никто, никакой свекор, ни станичный круг не вправе будет окоротить ее своенравных действий, ибо она станет во всех смыслах свободной. Так он примерно объяснял с необходимой глубиной теоретических доводов. Если, мол, главная ра-

бота товарища Фридриха Энгельса называется «Происхождение семьи, частной собственности и государства», то все это — семья, собственность и государство как таковое — лишь разные звенья одной и той же эксплуататорской цепи, рабство людей! И тут, мол, не может быть двух мнений либо какого-то третьего, межеумочного вывода — искоренить надо все! И авангардисты общества именно с этого и начинают: ликвидируют сначала собственность, как основу буржуазных отношений, затем семью, как очаг надругательства мужчины над женщиной, а уж затем и само государство! И вот тогда и начнется всеобщая свобода и Общее Благо, ради чего, мол, и стараемся мы, рядовые каменщики и ревнители Будущего!..

— Тогда у вас начнется, гражданин-товарищ, сплошной бардак! — вдруг раздался в толпе несогласный выкрик.

Аврам думал, что тут намечается какой-то общественный диспут, приосанился, но его просто подняли на смех. Вылез из праздной толпы этакий гном, малый уродец, безусый и какой-то облезлый, но в казачьем обличье, при выцветших лампасах на рваных штанах, и ощерился, вроде с шуткой:

— А не пошел бы ты, мил человек, от нас под такую мать?..

Все заржали весело и дружелюбно, а этот окурок высморкался двумя пальцами наземь и рукавом набок нос вытер. И продолжал без особого гнева, а так, для потехи и в рассуждение вопроса:

— И что у вас, у всех приезжих, за такой зуд в заднице, что вы все нас отучаете по-нашему жить? И то-то у нас плохо, и ето — не так, и третье — нехорошо, не по-вашему? Было дело: пришлому мужику, бывалоча, земли и выпасов не давали, вроде не по-христьянски, так ведь теперя по справедливости все переделили, чего же другова? Так вам надо, обратно, и ростом всех обравнять, чтоб стали ровные, как зубки у граблей, а потом и бабьё обобществить? А потом — и девок? В скотину людей оборотить? Эта — зачем жа?

Аврам взял себя в руки и ответил спокойно, на теоретических примерах, не премину в коснуться и сути интернациональной, а вечером все же проверил у местного председателя ревкома: не кулак ли этот паршивый казачишка, нет ли у него родства в белом офицерстве?

Но, оказалось, нет. Оказался он даже обыкновенным бобылем — у него-то ни своей хаты, ни жены, ни детей не было, вот что удивительно! Зимой жил он в наймах, по соседям, а летом либо пас овец, либо сторожил сад у ближнего пана. С ранней весны до первого снега обитал в садовом шалаше. Его по этой жизни даже никто не называл по имени, а дали такую кличку — Шалашонок.

Теперь этот казачишка Шалашонок сидел на добром коньке в задней паре (вся депутация стояла на конях в две шеренги) и был едва виден... Ах ты, темнота дремучая! В Москву, видите ли, он собрался!..

Между тем Овсянкин уже взял из рук Беспалова, сидевшего понуро в седле, древко флага. Длинное полотнище тут же потащилось по зеленой травке. Глеб поднимался с флагом к Барышникову и Гуманисту, сверля расширенными, черными зрачками обоих, понимая, что сейчас произойдет нечто немыслимое, страшное.

— Именем революции... — с хрипом сказал он, останавливаясь на полпути, мучительно напрягая волю и мозг, чтобы найти какие-то главные, пронзающие своей правдой слова, и не находя их, — именем народа я... требую... конвоировать вас в штаб!

«Спектакль», — подумал Аврам, отворачиваясь к Барышникову и как бы доверяясь ему в эту минуту. Ему претила ненатуральность всей сцены. Да и не умел человек умирать красиво, мельчал на глазах... Но раз подошло время и место — умри, гад, с достоинством!

А что ж тут такого? Гражданская война есть средство Мировой Революции. Тут смущаться нечем. Пролетарий-диктатор вложил в нашу руку тот меч-кладенец, который тысячу лет ждал своего времени... Жестокость? Но это — не классовое понятие, а поэтому им должно пренебречь.

Этот парламентер, попавший в плен к повстанцам, мелет чушь, драматизирует события. Но какая может быть «частная драма», когда на кон поставлена судьба мирового пролетариата?

Да он уже и смирился, кажется... Обмяк, понял этот заблудший индивид!

— У нас, в России, говорят: чужого горя не бывает... — с безнадежностью вдруг сказал Овсянкин, потеряв не только надежду, но и последние силы в этом внутреннем борении и поиске. — У нас — не бывает, а у вас, как видно, есть и такое?!

— Мацепуро! — коротко и непонятно крикнул через плечо Барышников.

Это была фамилия такая: Мацепуро.

На задерганном коне с рваными кровоточащими губами подлетел отделенный в расстегнутой до пупа розовой рубахе, под которой рябила удалая волна матросской тельняшки. Заломил коня безжалостно, разрывая мундштуками конскую пасть, отсалютовал шашкой: каков будет приказ?

— Этих... изменников! — кинул небрежно комэск Барышников, чуть побледнев от решимости. — Всех... по первому разряду!

13

«Мацепуро?!» — словно обожгло душу Овсянкина.

Но Мацепуро был захвачен им лично в Сарепте как грабитель! Мацепуро командовал тогда одним из эшелонов... Анархисты захватили после эвакуации Ростова пятнадцать миллионов рублей золотом и начали делить, как мародеры... Их арестовал сам Чрезвычайный комиссар Орджоникидзе! И после почти всех расстреляли в Царицыне. Почему этот здесь?

Овсянкин смотрел на происходящее расширенными зрачками и не верил глазам своим.

Ринулись в охват всадники, замелькали клинки, взревелись двенадцать безоружных... Хрип, вой, проклятия, лязг клинков и затворов смешались в жуткий хаос расправы, солнце зашло за дымное облако, потух за Доном золотой купол церкви.

— Товарищи! — как бы очнувшись, схватив лезвие шашки окровавленными пальцами и не выпуская ее, хрипел Беспалов. Он качался в седле, потому что Мацепуро, оплошав, рвал шашку свою из его рук. — Товарищи! Я в Красной Ар-р... Доброво-лец! Я сам пошел за Сове-ты...

Ординарец Барышникова с другой стороны достал Беспалова клинком вдоль темени, и боец упал наконец под копыта своего коня.

Юный политком Гуманист оробел.

Он все-таки не этого ожидал от непримиримости и суровости своего командира! Ну, напугать, ну, задержать и конвоировать в штаб, судить, наконец, и — расстрелять по суду революционной совести наиболее отпетых!.. Но не так же...

С другой стороны, на его глазах происходило именно то, что после можно было назвать «неизбежной жестокостью момента», и это его парализовало. Он не мог вмешаться, приостановить расправу.

Был некий перехлест боевой ярости, некая чрезмерность подхода, но Гуманист был еще молод, слаб против Барышникова и к тому же боялся уронить себя в глазах бывалых рубак, таких, как морячок Мацепуро. Кроме того, по опыту он уже знал, что надо в подобных случаях сдерживаться. Жизнь сначала напугает до шока, а потом все и оправдает путаной усложненностью взаимосвязей. Сегодня ты перегнул палку, а завтра еще сильнее перегнул твой враг, и все стало как бы на место, на золотой серединке... Кто и кого станет судить?

Как нарочно, тут именно и произошло нечто неожиданное.

Шалашонок, самый невзрачный и безобидный из казаков, не удостоившись удара саблей, оставленный на какие-то минуты без надзора, вдруг развернул конька и, взмахнув расставленными локтями, кинулся вскачь по скату зеленой балки. Он уже был саженях в двадцати, когда кто-то догадался и раз за разом трижды выпалил вслед из винтовки. Шалашонок долго и старательно валился с седла на левую сторону, как-то странно завис в стременах, и конь его, не сбавляя бега, поволок хозяина дальше.

— Готов! — насмешливо сказал Барышников, глядя с высоты седла на эту, привычную в общем, игру всадника. Шалашонок явно уходил от преследования, обманув всех несложным кавалерийским трюком, но это, по Барышникову, было и к лучшему: там, в штабе повстанцев, пусть обо всем знают...

—А он — не ускакал? — спросил с беспокойством Аврам, глядя в конец балки, где уже исчезал за поворотом конь с волочившимся по земле всадником.

— Нет, что вы! — сказал Барышников. — Из трех пуль одна — наверняка... Упал же!

...Овсянкин стоял бледный, с подергивающимся лицом. Слезы катились по гневным морщинам, и он, все еще не понимая чего-то в том, что происходило, смотрел на двух всадников-командиров, так спокойно обсуждающих подробности этой расправы. Руки Овсянкина все еще сжимали древко приспущенного белого флага.

— Я же коммунист, сволочи! — вдруг закричал он. — Ты и ты!.. Вы ответите за это... за эту казнь, звери!

— Коммунисты не ходят с белым флагом! — спокойно процедил сквозь зубы Барышников и оправил на груди новые ремни портупеи. — Видали мы тоже коммунистов!

— Коммунисты не опускают свою роль до... белого флага! — как эхо откликнулся Аврам, всецело понимая гнев командира эскадрона, хотя ухо Аврама уловило и некий нечистый тон в интонациях спутника.

— Вы ответите оба, — потеряв что-то в душе и оттого внутренне опустев, сказал Овсянкин. — Оба...

Немного помолчав, Барышников выразительно вздохнул, как бы прощая оскорбление, и сказал многообещающе:

— Хорошо. Ты — иди... Иди, — как бы еще раздумывая, прицениваясь к моменту. — Иди со своим белым флагом хоть до Москвы. А хоть и дальше. Ну?

Глеб не двигался, зная, что тот обязательно выстрелит в спину.

— Иди же, сволочь! Ну! Вон туда, на изволок, к тому кустику!.. Видишь боярышник? Ну, белый, весь в цвету? Валяй! Так по-над ним и на Калач, а там на железную дорогу!.. Чего остолбенел, не убью...

Овсянкин тяжело, механически, как бы нехотя обернулся и увидел на отдалении, на теплом зеленом взгорке, куст распустившегося вешним цветом боярышника. Солнце вышло уже из-за мглистого облака, и белый куст воссиял чистейшей снежной белизной, ударил по глазам всей яркостью жизни и надежды. А тропа в самом деле начиналась здесь, у ног Овсянкина, вела к тому кусточку и скрывалась за ним, на высоте, как бы устремляясь к небу.

— Вон твоя Москва! — усмехаясь, сказал Барышников, шевельнувшись в седле, и его конь от беспокойства переступил копытами. — Дуй до горы, мужик!

И Овсянкин, как ни странно, кашлянул, сжал кулаки и... пошел.

Он почему-то поверил или вообразил себе, что его отпустят живым. Он предположил, что если дойдет живым до того белого куста боярышника, то после в него просто не станут уже целиться — за дальностью расстояния. Не будет же командир для этого брать у кого-то винтовку, а из нагана далековато, есть риск промахнуться...

Он шел и молился богу, хотя никогда в бога не верил. Молился, чтобы бог сохранил ему Жизнь. Теперь уже не ради него самого и отныне никому не нужной его жизни, а ради невинно порубленных

людей, ради этой безумно пролнтой крови. Дойтн! Добиться правды! Он не вернл, что тут сыграла роль только сила приказа — лютого, но не до такой же степенн! Нет, он однажды уже нашел управу на дураков и загнбщнков, они получили свое, но он еще не дошел до верхов, до Моснна н Сырцова, до самого нстока этой беды-напраслины... Он был обязан н на этот раз найти управу на этих скрытых врагов, хотя они и надели на себя лнчину красных бойцов! Это — враги. Почему и как, он не знал, только понимал всей сущностью своей, что врагн.

Куст серебристо-розоватого, вспененного жизненными соками цвета медленно приближался н вырастал перед ним. Шаг, еще шаг, еще...

Оставалось уже не более десятн шагов — выстрела не было...

Оставалось еще восемь, шесть, пять шагов... Тут Овсянкнну вдруг пришла в голову очень важная мысль о белом цвете, которым так праздннчно цвел куст боярышника. Глеб подумал, что боярышник цветет белым цветом, в сущности, очень короткое время, это лишь начало плодовой завязи... А вот облетят лепестки, исчезнут эти пушистые цветочкн, и на нх месте высыплют тысячн и десяткн тысяч пунцовых крепеньких ягод, н тогда — именно тогда! — проявится вся суть этого колючего степного дерева: приносить по природе своей только красные пунцово-алые, морозостойкие плоды. Да, красные!

Он подошел уже почтн вплотную и хотел обернуться к карателям, чтобы сказать им об этом... Но в это время куст боярышника — белый и пушистый — вдруг полыхнул перед его глазами красным огнем, тысячамн алых брызг, залил глаза н мнр вокруг Овсянкина непроглядно черной кровью.

Удар грома небесного потряс землю до основания.

Овсянкнн падал головой вперед, выпустив ненужный флаг нз мертвых рук, и густые колючие веткн, приняв его тело, еще некоторое время подержалн его на весу, на упругом прогибе, потом стали медленно выскальзывать, уклоняться, не справляясь с навалившейся тяжестью. И лег он наконец на землю спокойно и прямо, головой к корням кустистого степного деревца, и вся колючая, как у днкого терна, крона стала огромным терновым венком вокруг его честной, бедовой н доверчнвой головы. Но шипов еще не видно было, их до времени укрывала пышная белая густота цвета. Шнпы открывались осенью.

Красное закатное солнце смотрело вслед уходящему эскадрону. Впередн всаднйков на земле дрожали н пересекались уродлнво длинные тени, они взбегали на пригорки, а потом полого вытягивались по всей равнине до края земли, до тех небесных тучек, что спустились на востоке преждевременной сумеречной мглой...

Конн шли резво, а в людях чувствовалась усталость н разбнтость после дневной жары и короткого, почти безопасного н все же изнурнвшего всех кровопролития у села Монастырщина. Командир эскадрона Барышников то и дело придержнвал повод, останавливался, оглядывая походный строй из конца в конец, подбадривал, подтягивал взводных командиров. Полнтком Гуманнст ехал впередн, о чем-то сосредоточенно думал. Когда комэск нагнал его, Аврам посмотрел на темное восточное небо, стрелы пересекавшихся теней впереди, в багровом от зари пространстве, таившем в себе некую обреченность, «печаль полей», сказал негромко:

— Пусть запоют, что лн.. Для души! Любимую нашу! — и сам начал не очень верным, почему-то осевшим голосом: — «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горншь в огне...»

Бойцы подхватили сначала нестройно, каждый со своей ноты н места, разобралн песню по голосам, выровнялн. Конн пошли бойчее, дружным н отчетливым стал топот копыт. В оранжевой закатной степи звучала нездешняя песня об африканских непокорных бурах:

> Под деревом развесистым задумчив он сидел,
> Огонь борьбы и мести в душе его горел!
> Да, час настал, тяжелый час для родины моей,
> Молитесь, женщины, за нас,
> за ваших сыновей!

Пели все, от головы строя до замыкающего. Каждый пел по-своему, кто тихо, с раздумьем, кто громче и с безотчетной лихостью. Взводный Мацепуро в середине колонны вытирал грязным кулаком слезы, его помощник н земляк, бывший цирковой канатоходец Грымза матерно поминал всех святых, в том числе библейского царя Давнда и всю кротость его. Рядом кто-то высморкался с храпом, толкнул соседа локтем: «Не поет душа, братуха, а плачет...» — в ответ услышал злобное, отчетлнвое: «Ага, поплачь, братишка, оно помогает!»

Эскадронный Барышников как раз объезжал колонну, до него донеслись сквозь неровное пение чьи-то слова: «Поплачь, братншка...», н он вдруг как бы очнулся, понял всю ужасающую нелепость этой песни в данную мннуту н прозрел внутренне.

Боже, что же такое творилось на русской земле, как могло оно раскрутиться до такой степенн, когда мы все потеряли облик человеческнй? Ну что ж, что эти казаки отошлн недавно к красным н тем оскорбили его, служилого офнцера? Но ведь они не подличали сознательно, они попросту искалн безопасности для своих животов, для семей, отцов и малолетних детей, — неужели так велика и неискупнма вина их? Темных, простых, не искушенных в этой политической борьбе «двух стихий», которые почти и не проявлялись на поверхности событий... За что он приказал нх казнить?

Конечно, меланхолия души продолжалась недолго, Барышников сумел загасить ее холодком мыслн, расчета, сознанием опасности, а потом увндел впереди сутулую фнгуру политкома, эту кудрявую голову в кожаной комиссарской фуражке и почувствовал в душе прнлив яростной и неукротимой злобы. Он даже заскрипел зубами и огладил чуткими пальцами холодноватый эфес шашкн, прнцелился к тонкой, хилой шее Аврама.

Вот кто истинный враг его, вот кого бы он рубанул сейчас с великим вожделением и лютой радостью! Вот кого бы он разделал, словно на плахе, но — не время! Нельзя... Надо еще в р а с т а т ь, до времени таить свои чувства, копить ненависть. Не может быть, чтобы волчок судьбы не смешал направления, не набрал попятной скорости. Умеет же поручик Щегловитов с достоинством и самоуверенной выправкой носить кожаную куртку в чужом стане, а почему ему, Барышникову, это заказано?

«Сатана там правит бал...»

Тьма впереди сгущалась, солнце давно упало за край земли.

В станице Вешенской не спали.

Поздно вечером в штаб Кудинову позвонил из Казанской командир 4-й повстанческой дивизии Кондрат Медведев. Сказал коротко:

— Так вот, товарищ командующий, докладаю... На лугу, проть Монастырщины, порубили, значит, нашу депутацию. Ага. Один Шалашонок сумел ускакать, на обман их взял... — И, чувствуя в трубке затяжное молчание Кудинова, еще добавил: — Мальцы-казачата наши охлюпкой эту депутацию сопровождали, вроде прислеживали... Ну, а там — сотенный разъезд этих, карательных, с той стороны. Чево и ждать было!

— А уполномоченного из Москвы? И — его вестового?! — чуть не вскрикнул Кудинов.

— Уполномоченного тоже пристрелили. Свой сово не познаша! — в голосе Медведева зарокотали нехорошие, злорадные нотки.

— Так. Ну, добро... Держись там, — холодно сказал Кудинов.

— Чего? — не понял Медведев.

— Лады, говорю! Будь здоров. Кладу трубку.

Медведев еще подержал нагретую трубку около небритой щеки, недоверчиво встряхнул, как встряхивают опустевшую пороховницу, и повесил на аппарат.

А Кудинов сразу же позвал начальника штаба Сафонова и сказал:

— Так и знал, что ничего доброго не выйдет из этого блудного рая! У них же — приказ! А мы тут разлопоушились с этим московским комиссаром... — И кивнул на кипу бумаг и газет, громоздившихся на столе: — Тут вот газетка занятная, ихняя, окружная... Так в ней не то что нас, повстанцев, но даже красного командира Миронова за что-то поругивать начинают. Ты в этом что-нибудь понимаешь, Илья? Ну и я тоже. Ни черта не смыслю в этой двойной и тройной политике! Война идет, буржуи повысадились кругом — в Новороссийске, Одессе, Крыму, а эти наши загибалы с Южного фронта вроде и не желают ее приканчивать, войну, все больше масла в тот огонь подливают... А?

— А Миронов-то чем провинился? — заинтересовался Сафонов, бывший офицер. — Его по личному приказу самого Троцкого будто бы на повышение перевели. В командармы! Заслужил.

— Я ж и говорю, что двойная игра. Подлая! — покачал головой Кудинов. — Не понравился им теперь уже и Миронов! «Волк в овечьей шкуре» называют. Слыхал? Вот, могёшь почитать, черным по белому. Ага. А чего бы вы, милые писаки, без Миронова делали на Дону? И чем там думаете в таком разе? — И, кончая разговор, пристукнул костяшками согнутых пальцев по столу: — В общем и целом обстановка прояснилась. Слушай сюда, Сафонов! Вызывай на утро этих... самых ярых наших рубак, Харлампия Ермакова с дивизией и урядника Тимохина с полком, нехай пройдут на Каргин и дальше, там две необученные бригады курсантов двигают на нас со стороны Каменской. Много оружия и припаса можно взять: обозы, артиллерию, зарядные ящики, патронные цинки, пулеметы, все! Понял? И — вырубить поголовно сопляков, ни одного не упустить. Каша заварилась густая, другого выхода теперь нету. Придется стоять насмерть, Илюха, — громче обычного, почти перейдя на крик, скомандовал обычно невозмутимый и хладнокровный Кудинов [1].

ДОКУМЕНТЫ

Из газеты «Донская правда» за 1919 г., № 6

ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ

Усть-Медведицкий район. С первых дней работы районный ревком встретился с неожиданным затруднением в лице начальника дивизии (б. войскового старшины) МИРОНОВА, считавшего себя политическим руководителем и вождем усть-медведицкого казачества. Он выступал с дикими речами против ревкома и коммунистов, говоря, что, когда кончат с Красновым, еще придется воевать с коммунистами. Некоторые темные казаки поддались влиянию дедушки Миронова и стали верить его провокационным басням. А кулачество между тем не дремало и уже начало подинмать голову. Теперь Миронова удалось ликвидировать. Ревкому немало потребовалось усилий, чтобы наладить работу и убедить население, что единственными друзьями бедняков-казаков являются коммунисты.

Щ.

В Реввоенсовет 9-й армии № 2823
15 апреля 1919 г.

Как истинный революционер, искренний сторонник трудового народа, долгом считаю громко и смело заявить протест против гнусной клеветы, содержащейся в заметке «Волк в овечьей шкуре». Как сотрудник и сподвижник товарища Миронова,

[1] П. Н. Кудинов (1891—1967) — казак-середняк, участник первой мировой войны, хорунжий, георгиевский кавалер 4-х степеней, возглавлял вешенское восстание. В 1920 г. эмигрировал в Болгарию, вышел на беженское положение. В 20—30-е годы при царской власти и в годы фашистской оккупации Болгарии политическая позиция П. Кудинова была дружественной по отношению к СССР. В Софии в документах царской охранки, в списке «просоветских эмигрантов», значился и П. Н. Кудинов.

всеми силами души протестую против этой клеветы, клеветы явного подголоска Краснова, Деникина, Колчака и прочей компании, потому что она пропитана желанием посеять вражду меж командованием армии и политическими организациями, тем более молодыми донскими организациями, внушая им ложные представления о таких политических и боевых деятелях, как Миронов.

Если господин Щ. спрятался, как недостойный трус, под инициал, он все же должен сказать, что тов. Миронов, как политический деятель, известен не только казакам Усть-Медведицкой станицы, но и Хоперского, и Второго Донского округов, да и, пожалуй, всей Донской области.

Свою политическую линию он подкрепил штыками, пулеметами и орудиями, своим всесторонним опытом в защиту революции. Он всегда говорил красноармейцам, что «революция сильна штыками и сознанием правоты того дела, которое она делает».

Это может свидетельствовать высший командный состав, отдававший Миронову боевые приказы и получавший от него и его штаба оперативные донесения и сводки. Это может засвидетельствовать тот же РВС, который вручил Миронову шашку в серебряной оправе, как награду за успехи дивизии. Об этом, вероятно, господин Щ. ничего не знает и, обуреваемый страстью личной мести, желает личные счеты свести на служебные...

А что значит: «Теперь Миронова удалось ликвидировать»? Неужели в то время, когда Миронов с дивизией совершал чудеса храбрости и находчивости, защищая рабоче-крестьянскую революцию, какие-то темные силы, имея с ним личные счеты, подготовляли способ ликвидировать Миронова? Неужели перевод и назначение Миронова на более ответственный пост сделано в угоду тем темным силам, которые под знаменем коммунистов делали свое черное дело, помогая контрреволюции?..

Начштаба 23-й дивизии *И. Сдобнов*[1].

Из газеты «Донская правда» от 18 апреля 1919 г., № 11

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

От редакции газеты. В заметке «Волк в овечьей шкуре» напечатано, будто в Усть-Медведицком районе бывший начальник 23-й дивизии Миронов выступал с резкими речами против Российской Коммунистической партии. Редакция считает необходимым заявить, что она была введена в заблуждение полученными из Усть-Медведицкого района неверными сведениями, и с полным удовлетворением отмечает, что за тов. Мироновым, в его бытность на Южном фронте, имеются большие заслуги.

В настоящее время тов. Миронов командирован в распоряжение главкома Западным фронтом.

[1] ЦГАСА, ф. 1304, оп. 1, д. 180, л. 21—24.

14

Специальный корреспондент центральной «Правды» Серафимович спешно ехал на Южный фронт, точнее, в район вешенского восстания и всю дорогу перечитывал письмо сына из района боевых действий, как видно, выстраданное и хорошо продуманное в каждой строке. Сын писал: «...как ни странно, отец, я состою ныне комиссаром экспедиционного корпуса. Восставшие бьются с нами с ожесточением обреченных, а между тем это те самые «вешенцы и казанцы», которые три-четыре месяца тому назад открыли фронт Миронову и 15-й Инзенской дивизии, наступавшей на Казанку с севера... Тогда же они поклялись в верности Советской власти. Здесь, отец, очень многое наводит на размышления, и я уже приготовил большое письмо в Центральный Комитет. Основная мысль: о недопущении подобных восстаний в дальнейшем. Еще не отослал, хочу посоветоваться...»

Что же случилось на Дону? Почему такой неожиданный поворот событий?

Серафимович ехал на Юг в этот раз не только корреспондентом от редакции, но и от своей совести. И в сильно расстроенных чувствах. Как и Миронов, он задолго до революции призывал народ к свержению царизма и, значит, отвечал перед народом за дальнейшую его судьбу.

Прошлой осенью он уже выезжал на фронт, правда на Восточный, и та поездка едва не вышла ему боком. Он даже предполагать не мог, что в новых, демократических условиях настолько стеснены будут условия для критики вышестоящих лиц... Задел в очерке лично Троцкого, а этого, как потом выяснилось, и не стоило делать! В «Известиях» каким-то образом пропустили (возможно, под ответственность самого Серафимовича) нежелательный кусок, с описанием спецпоезда наркомвоена Троцкого. В этом спецпоезде Серафимовичу самому пришлось пропутешествовать несколько часов, он и писал в газете, ничтоже сумняшеся: «Наш поезд — настоящий маленький городок. В центре — вагон, в котором разместились Троцкий и его секретариат, в двух других таких же вагонах — состав строевой и хозяйственной канцелярий. В остальных вагонах размещены: типография, библиотека, электрическая станция, амбулатория с походной аптекой, оркестр, броневая машина, служба связи с телеграфно-телефонной станцией, команда охраны поезда и, наконец, ледник с продуктами и вагон-столовая...» Чересчур с комфортом, надо сказать! Солдаты охраны говорили меж собой: «Кому война, кому хреновина одна!»

Сказать по чести, Серафимович в возмущении уже задумывал большую статью под названием «Миллионы в прорву», о нецелесообразности роскошных, почти по-буржуазному обставленных агитпоездов, и уделил поэтому так много места комфорту самого председателя РВС. (В блокноте для памяти отметил характерные черточки личности: «У Троцкого... влажные, черные глаза, как у вышколенной охотничьей собаки. Но предан исключи-

тельно себе самому... Хотя какие-то хозяева, без сомнения, есть и у него...» Но это, разумеется, не для очерка, лишь на будущее...)

В статье была и еще кое-какая критика фронтовых порядков, так же как и в ранних очерках «Бой», «Подарки» и других. Так Лев Давидович после прямо озверел! Приказал выдворить корреспондента «Правды» вон с линии фронта, а по прибытии в Москву отдать под суд за дискредитацию руководства. Неизвестно еще, как бы оно кончилось, но заступилась Мария Ильинична Ульянова, заместитель редактора... Последний свой очерк, несколько беспорядочный и рваный, писанный слишком нервной рукой, сначала хотел назвать «Волчий выводок», но рука будто сама по себе перечеркнула название, появилось другое — «Львиный выводок», показалось точнее... Троцкий везде и всюду узурпировал власть, по частям. Вел себя отнюдь не в согласии с идеями большевизма. Это ведь прямая наглость: провозглашать гражданское равенство и — при голодном пайке рабочего в полфунта хлеба — разъезжать по стране в комфортном спецпоезде, имея на прицепе ледник с продуктами! Это видят, вообще говоря, все, но вынужденно молчат: Троцкий скор на расправу, не скупится на расстрелы. При этом никто не может в точности сказать, какая программа за душой у этого новоявленного «вождя»... Пока что вырисовывается одна программа: доводить любую социальную идею до абсурда. Но — зачем?

Поэтому и надо было спешить на Юг. Надо! Недаром же Серафимовича считали специалистом по Дону и Кубани. В последнее время писал для казаков-красноармейцев брошюры и листовки «На чем стоит русская земля», «Красный подарок солдату», «Наказ», «Казаки и крестьяне» и считал, что до дна знает душу русского крестьянина и казака. А эти мужички и казачки вдруг побежали в зеленые, а то и бунтовать начинают целыми уездами и округами, с дубьем идут на ревкомы, бьют комиссаров — в чем же дело? Сын-комиссар готовит какой-то доклад в ЦК партии, не напутал бы чего... Надо спешить!

Настроение у Анатолия, если сравнить с прежними письмами, изменилось неузнаваемо. Еще недавно можно было читать такие вот романтические признания — под медленный, натужный перестук вагонных колес отец доставал из портфеля старые письма, просматривал, улыбался в усы, грустил: сыну-то всего девятнадцать лет, голова зеленая!

«Мы летим в историю! Все старое, обычное для глаза, осталось позади. Новые формы, новая жизнь, новые обычаи, новые люди. А там — за огнем, за разрушением, сквозь огонь, кровь, сквозь слезы и отчаяние — уже просвечивает будущее... Каждую минуту нам грозит гибель. Клянусь, мне сейчас жизнь не дорога!..»

И все в этом роде. Романтическая устремленность, желание красоты и подвига! Они оба с младшим, Игорем, прошли школу связных в Московском комитете партии у Розалии Самойловны Землячки, вылетают в жизнь, так сказать, из ее широкого рукава... С весны прошлого года, закончив школу артиллеристов-инструкторов, Анатолий умотал на Северный фронт, в Котлас и на Северную Двину, командовал артиллерией на пароходе «Сильный». Однажды повезло там парню: в каюте разорвался неприятельский снаряд и даже малым осколком не задело! Писал, что один крупный осколок — от днища — сохранил в виде пепельницы на память о смертельной опасности и едва не оборвавшейся жизни... Поэт! И умный, вообще говоря, парень. Побывал уже на политической работе в Северо-Двинской пехотной бригаде, а теперь вот по рекомендации все той же неутомимой Землячки переброшен сюда, на Юг. Но настроения в письмах другие.

Размеры и глубина народного бедствия видны были, конечно, прямо из окна, на самой железной дороге, на переполненных беженцами и переселенцами станциях, около тифозных бараков и сараев, среди немытого, потного, орущего человеческого скопления, кое-где похожего на вонючую городскую свалку. Но по-настоящему понял Серафимович отчаянное положение фронта на самом юге Воронежской области, за Калачом и Бутурлиновкой, где располагались штабные учреждения Особого экспедиционного корпуса.

Из-под Казанской и Вешек день и ночь везли раненых, порубленных красноармейцев. Туда — патроны и зарядные ящики, свежие пополнения курсантов, оттуда — подводами и целыми обозами раненых. Повстанцы стреляли теперь самодельной картечью-жаканом, отлитой дедовским способом из домашнего свинца: оловянной посуды, ковшей, веялочных решет. Такие пули разили только на близком расстоянии, но рвали тело, оставляя страшные раны. О рубленых и пробитых пиками тут предпочитали не говорить. Молодые бойцы хорошо знали политграмоту, но совершенно не владели приемами конного боя, гибли сотнями там, где мог выстоять десяток опытных всадников.

«Боже ты мой, боже мой», — сокрушался стареющий уже писатель Серафимович. Горелые дома, облупленные стены, пустые глазницы окон, сорванные с петель двери, крики несчастных у лазаретных подъездов, и в лазаретах, кроме марганцовокислого калия, никаких лекарств! Никакого сравнения даже с Восточным фронтом: Там были иной раз временные поражения, отход под натиском противника, но не было столь общего разорения и упадка!

Не спавший трое суток фельдшер, принимавший раненых, с полусумасшедшими от усталости и гнева глазами, кричал на полустанке:

— Лазарет! Какой к черту лазарет, когда ни бинтов, ни ваты, ни риванола, хирург сам в тифу валяется, а я один! В этом лазарете только Лазаря петь! До чего довели фронт!

И верно. Ведь было же, было в феврале иное, победу держали в руках, сам председатель Реввоенсовета заявлял в Москве, что с южной контрреволюцией покончено, со дня на день ждали парадов в Новочеркасске и Ростове. Куда же все подева-

лось? Почему расформировали ударные части 9-й армии, куда откомандировали самого Миронова, где же его прославленные дивизии, в конце концов? И наконец, последний вопрос: дело ли в таких адских условиях ставить на серьезную и слишком ответственную работу в корпус (это же не полк, не бригада, черт возьми!) неоперившегося юнца в девятнадцать лет, даже если он и умный парень, и сын самого Серафимовича? Или здесь тоже своя политика, недоступная рядовому уму?

В маленьком сельце под Бутурлиновкой нашел наконец штаб. Натрясся в повозке по пыльной, жаркой дороге, затекшие ноги едва держали, но пришлось по предъявлении документов еще походить по хатам. Везде говорили, что политком Попов был с утра, но куда-то уехал, кажись, вместе с товарищем Хвесиным, командующим. Везде были прорывы, командиры и политработники мотались круглыми сутками. Повстанцы хотя и не вылезали из своих границ, вели оборону активно: чуть кто зазевался, сразу сетку на голову накинут, а нет — пинкой, с налета...

Пожилой, со свалявшейся бороденкой, нестроевой красноармеец рубил около походной кухни хмыз — тонкие дубовые ветки и сухой хворост. Приустав, сдвигал потный шлем на затылок и присаживался в тенек под старой, обломанной ветлой покурить. Чтобы отвести душу разговором, рассказывал приезжему «из центру» человеку и отчего-то вертел головой на длинной морщинистой шее, будто оглядывался:

— О тот месяц ихних парламентарив порубали на самой грани, гадов! Тоже, ска, удумали шутки выкидывать: Тит да Афанас, рассудитя нас, мы больше, ска, ня будем! Растуды их, косматых живорезов! Всех надо к ногтю! Чего, ска, выслужили, така и награда. Тут у нас тепери толковый политрук у эскадрони, ска, товарищ Хуманистов, так он верно сказал: гусь свиние, говорить, не товарищ! И верно. Надо всю контру перевесть на земле, иначе порядку не жди!

Серафимович отдыхал в тени, сняв ботинки. Смотрел с большим вниманием, как рассуждает, как вертит головой мужичок, как затягивается. Свежий крепачок-самосад прошлогодней торопливой сушки накипал огнением на вершине цигарки, мужичок относил ее подальше от босых ног, щупающих кривоватыми, растоптанными пальцами жухлую, невеселую травку близ дровосекн. Все было человеку понятно и ясно на этом свете, особо в тонкие размышления не впадал. И не хотел впадать.

— Сами-то... из селян? Или — рабочий? — спросил на всякий случай Серафимович.

— Из землеробов само собой, курские, — сказал мужичок-нестроевик. — Не-е, ска, фабричных токо на полверсты и видал! Не-е, хрестьяне мы!

Серафимович загрустил, глядя на такую хитрую способность человека приспособиться ко всякой минуте, всякому обстоятельству и даже всякому собеседнику: хочешь — возгоржусь сам собой, а хочешь — всплакну не понарошке...

— Что же, они, восставшие, не хотят, значит, сдаваться? — спросил он.

— Иде там! Бабы ихние и детишки на самых позициях сидят, по-волчьи воют, раненых, ска, перевязывают, а гордости уронить не хотят, паскуды! Токо перебить, и все!

Серафимович не мог бы точно определить, какая тут была ненависть: классовая или, возможно, какая-то иная, случайная, накипевшая в горячке событий, словно опасный уголек на конце самокрутки? Переполошить простых людей, стравить до лютой ненависти — разве это «классовая борьба»? Это что-то другое, пока не имеющее названия!

Поговорили еще о видах на урожай, о травокосах, о бедственной продразверстке, о том, что некому скоро будет работать в деревне из-за военных потерь, тифа и других болезней, и тут Серафимович увидел на спуске горы открытый автомобиль и привстал, напрягая стареющие глаза. Сердце ощутимо заколотилось от волнения и дневной духоты под пыльной парусиновой толстовкой.

— Едуть, — сказал кухонный мужичок. — Командир товарищ Хвесин и, ска, сам комиссар товарищ Попов с ими... Точно!

«Господи ты боже мой: сам товарищ комиссар! А ему всего девятнадцать лет! И приятно, конечно, отцовскому сердцу, но и тревожно... Так ли уж это хорошо, что мальчишки хозяйничают здесь, как самые главные мыслители и вожаки масс?..»

Автомобиль пылил уже за ближним накренившимся плетнем, и отец увидел на заднем открытом сиденье Анатолия.

Очень рослый, видный был старший сын Серафимовича, с крупными чертами лица, несколько великоватым носом, большими ясными глазами. «Прямо срисовал, сфотографировал по собственному образу и подобию, в точку попал!» — любила шутить обычно строгая, маленькая Розалия Самойловна в Москве, глядя через огромные очки на отца и сына Поповых... Теперь Анатолий был худ и горяч, глаза ввалились, он даже постарел. Отец, обнимая его, прощупал на сыновней спине жалкие косточки позвонков и острые крылья лопаток. Укатала парня, как видно, высокая служба!

— Знакомься, папа, это товарищ Хвесин, наш командующий...

...Вечером Анатолий рассказывал о положении дел на Юге более спокойно и с конкретными примерами. Вообще-то при экскорпусе их двое, политкомиссаров: он и Колегаев, ну, бывший нарком земледелия... Да, да! Но Колегаев все больше находится при штабе фронта либо хворает под гнетом возрастных болячек, а на Попова тут валят дела, как на молодого бычка. Похудеешь! Успехи? Скорее поражения с самого начала. Беда в том, что сразу не было создано подходящей воинской части для ликвидации очага восстания, в Еланской и Вешках. На повстанцев посылали все больше малые отряды — полки, бригады, то есть делали именно то, что и надо было повстанцам. Те, разумеется, вырубали эти части холодным оружием, используя вне-

запность или в ночное время и за счет этого вооружались. Теперь вон у них даже пушки есть! И особенно плохо, что повстанческие настроения проникают и в другие, соседние части. Не так давно восстал Сердобский полк, а когда туда прибыл комбриг товарищ Лозовский, чтобы утихомирить бунт, эти мужички и его вздели на штыки. Сейчас штаб фронта утверждает, что дал в общей сложности в этот район сорок тысяч штыков, а у нас в корпусе и десяти не набрать.

— Позволь! — дошел наконец до главного Серафимович, придержав широкой ладонью исхудавшее плечо сына. — Позволь, я совсем иные средства предполагал там, в Москве... Это что же? Экспедиционный... Значит, попросту — карательный? Огнем и мечом?

— В этом-то и состоит двойственность положения, — внутренне переживая, говорил сын. — С одной стороны, все это в нашем тылу, тут белогвардейцев вроде и не оставалось, а с другой — враги, которые теперь и вооружены не хуже нашего! Как же иначе? Вот и спускают нам приказы: в переговоры не вступать!

— Странно. Все истинные белогвардейцы давно убежали с генералами за Донец. Здесь стихийное возмущение темных масс... Я полагал, их окружат, блокируют, припрут к сдаче, но... не о поголовном же истреблении должна идти речь! Это, во-первых, варварство, а во-вторых, лишь обострит борьбу, заставит их стоять действительно до последнего. А-я-яй, какое недомыслие!

Сын поддержал отца:

— Именно об этом я и намереваюсь известить Центральный Комитет. В бою — беспощадность, но не только бой решает окончательную победу в данном случае. У меня много материалов другого свойства.

— Покажешь мне свои материалы. Это очень важно.

— Еще, знаешь... Здесь, в тупиках, в Калаче, стоит брошенный архивный вагон под печатями бывшей Донской республики! Еще с прошлого года, когда эвакуировали Ростов. Я смотрел на станции справку-опись, там много интересного. Это Ковалев успел сохранить кое-что для истории. Тебе надо бы проникнуть в те материалы. Разрешение, думаю, добудем.

Серафимович смотрел на сына с вниманием и понемногу отходил душой, успокаивался. А что — и комисеар! Крепкий не только в кости, в жилах, но и душевно, умственно. С убеждениями хорошего партийца, с пониманием смысла борьбы и судьбы народной, всей сути этого непостижимого, летучего, искрометного времени, когда тысячи людей покрывают себя бессмертной славой честных борцов, другие гибнут сотнями, третьи умирают от голода и сыпняка... И самое страшное: недомыслие, когда тысячи трудовых казаков, середняков и даже голутвенной бедноты, вдруг скопом зачисляются во врагов, обрекаются на позор и смерть — без разбора, без ума, как будто даже по какому-то дьявольскому умыслу, по «тонкой политике», которую сразу-то и не разглядишь, не выловишь в неразберихе и круговерти дней...

Хорошо, что в этом разбирается не только он сам, Серафимович, в свои пятьдесят шесть лет, но и Анатолий в девятнадцать. Вопрос прояснился настолько, что на местах назрели и выводы. Надо об этом сказать в полный голос в «Правде». Объяснить, как шли в наступление на белых, почти не встречая сопротивления, но как бы игнорируя поддержку местного населения, и победы заслоняли всем глаза... Никто не крикнул: товарищи, бейте тревогу, нас одолевают победы! Эти победы заслонили и население, его чаяния, его нужды, его предрассудки, его ожидания нового, его огромную потребность узнать, что же ему несут за красными рядами? Население Донской области за то, что мимо него проходили, как мимо пустого места, жестоко отомстило... Нужно знать казаков, чтобы расценивать в полную меру! А если прибавить не объясненные населению возложенные на него тяготы, если прибавить почти полное отсутствие литературы, элементарного живого слова (один Миронов тут распинался на митингах!), то станут понятны густые потемки, зловеще окутавшие казачество...

— Да... — вслух помыслил отец. — Совершенно искренне и доброжелательно, с хлебом-солью встречали Советскую власть, а патроны и винтовки все же припрятали на всякий случай: «Хто ево знает, как оно дальше будет!..»

— Ты слышишь меня, отец, — говорил Анатолий. — В тех архивах Донской республики отнюдь не ветхозаветная старина, не общеизвестные декларации! Там очень много всякой статистики... Ну, если помнишь, летом семнадцатого года проводилась Всенародная сельскохозяйственная перепись, разумеется, с прицелом на Учредительное собрание, но прицел этот сегодня надо отбросить, а материалы-то уникальные! Все поземельные отношения бывшей Донщины, количество земли — паевой, казенной, арендной, общинной, отрубной, ну, тебе ли говорить! Вся прошлая нищета нашего среднего казачества как на ладони! И все это стоит в опечатанной теплушке, в тупике... Нет, я только из этого понял, что Ковалев был думающий, большой человек, жаль, что так рано сгорел!

— Такие-то люди как раз и горят, — в раздумье кивнул блестящей лысиной отец. И как-то без перехода, с отрешенностью спросил сына: — А нельзя ли все-таки прикончить восстание... другими мерами? Ну, скажем, амнистией?

— Об этом многие тут говорят, даже и сам Хвесин, — сказал Анатолий. — Об этом и я думаю писать. Но Реввоенсовет фронта, к сожалению, придерживается другого мнения.

Отец и сын здорово устали, и время было уже позднее. Серафимович сказал:

— Я у вас поживу тут, посмотрю, соберу факты. Надо писать в «Правду», и писать обстоятельно. Тревогу бить.

ДОКУМЕНТЫ

Из телеграммы

Шифром

Козлов, РВС Южфронта, Сокольникову

Во что бы то ни стало надо быстро ликвидировать, и до конца, восстание. <...> Нельзя ли обещать амнистию и этой ценой разоружить полностью? Отвечайте тотчас. Посылаем еще двое командных курсов.

Ленин [1].

24 апреля 1919 г.

15

В ночь на 25 мая генерал Секретёв с конной группой прорвал фронт 8-й Красной армии на Белой Калитве и, развивая успех, стремительно шел на соединение с верхнедонскими повстанцами. 9-я же армия, еще раньше рассеченная и потрепанная корпусом Мамонтова, устремившегося теперь на тылы 10-й, под Царицыном, была практически разгромлена. Она в панике откатывалась к Чиру и здесь натыкалась тылами на заставы вешенских казаков. Главной опоры армии — 23-й мироновской дивизии в прежнем ее значении не существовало. Из нее изъяли блиновскую конницу и, объединив с кавбригадой из 36-й дивизии, спешно создали кавгруппу, прикрывая ею теперь все наиболее опасные участки и стыки частей. По слухам, блиновцы несли огромные потери, сам командир, не излечившись еще после прежних ранений, ходил в кровавые сабельные атаки, хотел вывести свою конницу из-под удара, спасти от разгрома. Пехотные полки дивизии, потеряв половину состава при выходе из окружения за Донцом, страдая от голода и тифа, отходили к родной Усть-Медведице, чтобы там переправиться через Дон и в относительной безопасности отдохнуть, вымыться, наесться пшенной каши около родных куреней.

В этих условиях поручик Щегловитов, по-прежнему ходивший в красных штабах под именем комиссара Гражданупра товарища Щеткина, мог только радоваться и даже предаваться некоторому меланхолическому безделью, если бы не настойчивые напоминания контрразведки: быть настороже, действовать четко и обдуманно.

Дело в том, что момент этот — краткий миг всеобщих успехов и побед — мог нечаянно оборваться... Силы Антанты вели какую-то дьявольскую игру по отношению к России. Они помогали белогвардейским штабам лишь постольку, поскольку белая сторона оказывалась слабее. Но как только Деникин или Колчак забирали силу, так и слабел ручей поставок, меньше транспортов приходило в порты, падала активность интервентских частей, высаженных в Одессе и Архангельске. Собственно, это была не столько помощь, сколько средство затягивания войны, средство подтачивания сил в России... Многие уже понимали это, настроение деникинских солдат держалось на волоске, войну надо было кончать как можно скорее, и здесь могли иметь значение многие второстепенные, даже мелкие факты. Чего стоила, к примеру, одна только работа бывшего полковника генштаба Всеволодова в красном тылу или компрометация, а затем и устранение начдива Миронова с театра военных действий? А вешенский мятеж?

Разумеется, пока в штабе 9-й, у красных, сидел полковник Всеволодов, охраняемый авторитетом наркомвоена Троцкого, Деникин мог спать спокойно. Но вдруг, допустим, большевистская контрразведка резала эту нить, очищала штаб, сменяла командование, что тогда? Или, допустим, Москва решительно изменяла отношение к повстанцам, даровала им амнистию, учитывая, что эти казаки, в огромном большинстве, никак не хотели еще объединяться с белогвардейщиной, — что же получалось бы в этом случае? Не исключалось и появление на Южном фронте изгнанного Миронова в каком-нибудь высоком качестве (например, командарма-9!), что имело бы для белого фронта самые пагубные последствия. Этот Миронов опять начал бы раскалывать и дробить передовые части белых, забрасывая их умело написанными прокламациями — а делать это он великий мастер! — и через месяц-полтора мобильная мамонтовская конница сотнями и россыпью стала бы перебираться в красный стан, потому что-де «у Миронова безопасней», можно сохранить шкуру. Так ведь было в январе и феврале в донских степях, и так получалось сейчас, на Западном, куда Миронов только прибыл. Дошли слухи: под Смоленском он уже переманил на свою сторону два кавалерийских полка с той стороны и собирается сделать из них непобедимую красную бригаду имени бывшего комиссара Ковалева! За два месяца с небольшим, в незнакомых лесах Смоленщины — непостижимо, но факт!

Были и другие подводные камни в нынешней военной игре, поэтому поручик Щегловитов держался строго. За неполный год перепробовал уже десяток подлых, плебейских фамилий-кличек типа Щетинин, Скребницын, Каблуков, Копытов, Засекаев, Мокрецов — тьфу ты, дрянь какая!.. — теперь же был, как сказано, Щеткиным. Он сновал близ Усть-Медведицкой, чутко прислушиваясь к обстановке, красноармейским разговорам, все учитывая и наматывая на ус. Тут, во-первых, вовсю вспоминали Миронова и ждали его возвращения (начдив Голиков даже переписывался с ним открыто), и, во-вторых, интересовал Щеткина выздоравливающий после возвратного тифа Илларион Сдобнов... Он хотя и не согласился в свое время принять дивизию после Миронова, но уже вставал на ноги, долечивался в Усть-Медведицкой, а полуживая 23-я под временным командованием Голикова медленно пятилась через Морозовскую — Обливскую к местонахождению своего верного начштаба. А рядом со Сдобновым до

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 50, с. 289—290.

времени притаилась и жила вполне сносно известная Щегловитову Татьяна... Неглупая институтка в прошлом и красивая баба, говоря нынешним языком, но — баба есть баба. Нашла теплое местечко и... забыла о своем деле, о задании контрразведки. Щегловитов мог понять ее и даже пощадить, но протест Сдобнова, разбившего своим вмешательством искусно сделанную Щегловитовым газетную утку «Волк в овечьей шкуре» (и не где-нибудь, а в большевистской газете!), ожесточил поручика и требовал действий.

Кожаная куртка и пропотевшая на летней жаре кожаная фуражка, а также соответствующие документы в кармане позволяли Щегловитову заявиться в Усть-Медведицкий станичный ревком среди бела дня и при огромных полномочиях. Для ведения секретной операции сотруднику Граждаиупра Щеткину была выделена наиболее глухая, задняя комната в ревкоме. Сюда он и вызвал в глубоких сумерках для допроса означенную Татьяну, походно-полевую жену начальника штаба дивизии Сдобнова.

Лампа-молния под белым абажуром, разрисованным нежными завитками и пузатыми амурами, горела на столе ярко и ровно, с тихим потрескиванием округлого фитиля. Комиссар Щеткин сидел за столом, скрестив под высоким табуретом ноги, опущенное лицо оказывалось в глубокой тени. Но вызванная Татьяна сразу узнала его и от неожиданности села на длинную, прибитую к полу скамью у двери. На ту самую скамью, на которую сажали до революции вызываемых в станичное правление злостных недоимщиков. Хотела что-то спросить или просто сказать, но тут же оглянулась на плохо подогнанную дверь, на темное окно, лишь наполовину зашторенное красной занавеской. Прикусила ровными и молодыми, чуть пожелтевшими от курения зубами нижнюю губку...

— Садитесь сюда, ближе, — сказал комиссар Щеткин и, сдвинув в сторону кипу газет, успокоительно подмигнул.

Она подошла ближе, села на табурет, тоже привинченный к полу, сдернула с затылка на плечи газовую косыночку (по станичной улице женщина не могла ходить простоволосой) и подняла лицо. И ее глаза налились до краев темно-золотистой яростью, а поручик почувствовал, что этот отраженный свет от близкой лампы подогревался еще и внутренней яростью женщины, готовностью убить и уничтожить за эту его опрометчивость или даже глупость.

— Как вы посмели?! Что за мальчишество?.. — вне себя прошептала Татьяна. Сцепленные в замок пальцы хрустнули. — Как я объясню после?

— Все обдумано, все обдумано, Таня дорогая, — шутливо сказал поручик и, поднявшись, прошелся несколько раз из угла в угол. Даже промычал какой-то пошловатый, ресторанный романс, чтобы переломить возникшее настроение: «Встретились мы в баре ресторана, как мне знакомы твои черты... Где ты, счастье мое, Татьяна, любовь и мечта, отзовись, где ты!» Он снова, как и в первый раз, на хуторе Плотникове, немножко играл и жуировал, потому что она так на него влияла: либо шутить и валять около нее ваньку, либо уж всерьез пасть к ногам...

Пригасив немного фитиль лампы, он снова водворился на табурете. И, подперев кулаками скулы, долго рассматривал в молчании ее красивое, чуть побледневшее лицо с характерным надломом бровей и темными полудужьями под глазами.

Она ждала. И тогда Щегловитов отнял кулак от подбородка и сказал грубо, точно плюнул в лицо:

— Я, конечно, понимаю, мадемуазель, что вы неплохо устроились по нынешнему бурному времени... Жизнь, вполне безоблачная с точки зрения большевистских борщей, не говоря уже о простейшем уюте, так сказать, если помнить, что муж еще не старый человек, к тому же бывший казачий есаул. Но долг и дело все-таки требуют...

— Вы хотите, чтобы я ударила вас по лицу? — вполне серьезно, срываясь на хриплый шепоток, спросила Татьяна. Лицо ее стало некрасивым, маловыразительным.

— Не стоит, Таня, — невозмутимо сказал он. — Поручика Щегловитова вы еще могли бы унизить пощечиной, но комиссара Щеткина — никогда! Не забывайтесь! — Он чувствовал, что она может сорваться, и прекратил дурную игру. — Короче: обстановка требует с вашей стороны действий. Слушайте! Не сегодня завтра генерал Секретёв проломится сквозь заградительные отряды экскорпуса и соединится с вешенцами. В Донбассе и на Мелитопольщине красные бегут... Войска Улагая и Врангеля к концу месяца входят в Царицын и соединяются с русскими войсками Сибири, уральскими казаками Дутова, Мамонтов идет по пятам разгромленной 9-й, вашей так сказать, армии, что вам, конечно, известно. Его превосходительство Антон Иванович недавно обмолвился, что первыми (поручик нажал на последнем слове, выговорил как бы с растяжкой: пер-вы-ми!) в первопрестольную Москву должны войти именно наши войска, армии Юга, но никак не сибирские...

Не мог Щегловитов, разумеется, не помянуть и «красного вождя» Льва Троцкого, который теперь мотался посреди фронтовой неразберихи, потрясал митинги и аудитории запальчивыми речами-лозунгами: «Революция охватила весь мир! Хищники дерутся из-за добычи! Но — позор! Мы отступаем! В Харькове четыре презренных деникинца произвели неописуемую панику в среде наших многочисленных эшелонов! Падение Курска, товарищи, будет гибелью мировой революции! Сплотим ряды! Мы — не хищники, мы не придаем значения тому, что уступаем врагу территории! Но час пробил — нужен беспощадный террор против буржуазии и белогвардейской сволочи, изменников, заговорщиков, трусов и шкурников! Надо еще и еще раз отобрать у буржуев излишки денег, одежду, взять заложников!» Троцкий, говорят, при этом брызгал слюной. Щегловитов не мог этого делать, у него сохли губы от ненависти.

Отдышавшись, он рассказал еще между делом, что в Таганроге, ставке Деникина, уже стоит в конюшне оседланный белый конь — араб с Провальского конно-

го завода, на котором главнокомандующий Русской армией собирается въезжать в первопрестольную под звон сорока сороков ее церквей...

— Понимаете, Таня, игра уже сделана. Весь фронт красных на Юге обезлюдел и разложился. Остались лишь штабы и обозы с единичными стрелками да больными начальниками штабов, вроде вашего, к-гм, патрона. Тылы красных — это мертвая пустыня с оазисами зеленой армии, которая тоже чужда порядку... Но сейчас речь надо вести не о триумфальном въезде в Москву, а лишь о ближайших, насущных наших делах. И — о близком возмездии: уничтожении тех красных негодяев, которые учинили весь этот кошмар. Я не жесток, Таня, но самая элемен-тарная справедливость вопиет! И мне бы лично не хотелось, чтобы среди сотен заблудших красных казаков, среди отступников разной масти, стоящих ныне перед эшафотом, вместе с тем же Сдобновым затерялась и ваша маленькая, но такая дорогая для всех нас, поверьте, судьба! Честное слово, не будь несчастной войны с германцами, всей этой междоусобной свары «за землю и волю», этого лихолетья века, вы были бы всего-навсего милой, изящной женщиной, которых именуют до сей поры «тургеневскими», и главное — вы были бы в своем кругу! То есть мы, офицеры, не толкали бы вас к делам жестоким и кровавым, а лишь теснились вокруг, почитая за счастье поцеловать край вашего платья, втайне пожать вашу руку!.. Но — увы! — времена не те, я должен грубить, настаивать, предостерегать, ибо все мы на краю событий. Сейчас весы истории пошли решительно в нашу сторону, нельзя терять момент.

Щегловитов говорил теперь без фатовства и даже с вдохновением.

— Как вы упустили из рук эту девчонку, дуру, почему она не убила Миронова, а наоборот, стала при нем главным янычаром личной охраны? Почему вы до сих пор тянете со Сдобновым? Ведь эти бывшие казаки — столпы нынешнего красного движения на Дону! Вы, кубанская казачка!

— Я не казачка, — сказала Татьяна. — Я просто уроженка Кубанской области, но не в этом дело... Надежду я просто не успела подготовить, потому что Миронов тогда всех нас опередил, в Плотникове... В этом повинны вы, мужчины! А потом с ней начались эти любовные припадки, что тут поделаешь? Это бывает... Он, между прочим, интереснейший человек, этот Миронов. Рыцарь, каких нынче уже не встретишь!

— Благодарю за откровенность, — усмехнулся Щегловитов без всякой иронии и даже отчасти соглашаясь с ней.

— По крайней мере, всегда говорит лишь то, что думает. И делает лишь то, о чем говорит, — сказала она в оправдание. — Это в наши дни тоже уже становится редкостью. И, как ни странно, однолюб. Во всяком случае, как я вижу, Надька около него счастлива.

— У нее ум гимназистки, но вы-то! — оборвал Щегловитов.

— Ум гимназистки, но — неиспорченной, восторженной...

— Ах, полно, Татьяна. В ваших словах слишком много мишуры. Должна быть готовность к подвигу, но не к смерти! — Щегловитов сказал тоном приказа. — Миронов. Не исключено, что этот красный печенег в скором времени появится на нашем фронте. Об этом теперь много разговоров. Так вот, надо рвать все связи вокруг него, оставить в пустоте! Поймите. Ковалева, слава богу, схоронили в чахотке, Блинов со своей конницей зажат между молотом и наковальней, и зажат намертво. Бураго, бывший политком, вызван в Реввоенсовет, получил какое-то маленькое назначение в вновь формируемую часть, но к месту почему-то не явился... Возможно, уехал «в Москву за правдой», как у мужиков ныне принято говорить... Теперь очередь за Голиковым и Сдобновым! Это надо понять в первую очередь. Как только красные казаки лишатся своих испытанных командиров, они тут же начнут шататься «в мыслях», многие разбегутся — кто домой, на вареники, кто в зеленые... Относительно Сдобнова ответственность полностью падает на вас. Теперь уже — вторично, во искупление грехов, так сказать...

Она не могла сделать э т о так просто, с расчетливостью мелкого рассудка. По дороге к дому Татьяна зашла еще к фельдшеру Багрову, сказала, что с утра ее трясет лихорадка, и выпросила порошок хины, а заодно и полстакана денатурата. Выпила с отвратным чувством, с гадливостью и, пока шла в темноте до знакомого двора со скрипучей калиткой, никак не могла унять дрожь, чувствовала, как мечется ее слабая душа в невидимой клетке вынужденности и страха.

Стало уже ясно: не молодость свою она похоронила в этой кровавой сумятице, а растранжирила целую жизнь без остатка. Боже, как все нелепо сложилось, в какое дьявольское решето просыпались ее дни?

Жизнь уже пропала, но все равно и за эту пропащую жизнь ей следовало еще платить... И чем? Жизнью близкого человека!

Как штабист и красный командир, сочувствующий РКП(б), он не вызывал в ее душе никакого сочувствия, мысленно был даже предан ею, но он, к сожалению, еще оставался мужем, потому что был хорош как человек, как военный, обладатель воинских крестов и медалей, властный хозяин большого штаба, где его слушались беспрекословно. И он к тому же открыто и честно любил ее, заботливо ограждал от жестокой действительности, по возможности нежил за постоянную готовность принадлежать ему. Он прощал ей издерганность, плаксивость, всю ее неврастению и курение взахлеб, по две-три папироски кряду... Ждал, верно, что она, согретая его любовью, отойдет сердцем, выздоровеет, станет верной спутницей в общей их кочевой судьбе...

И теперь она должна перешагнуть через это — весы судьбы качнулись не в его пользу...

Она стояла у калитки, кусала губы и облизывала соленость с губ, намеренно взвинчивала себя воспоминаниями об отце, сгинувшем в самом начале гражданской, о холодных купаниях в талом снегу под Екатеринодаром, когда отбивались от Корнилова, об ужасе Таганрогского десанта.

Спирт горячил и успокаивал, и она очень боялась, что не справится с собой в нужную минуту. Наконец

ее передернуло от одного только последнего воспоминаиия — как, с какнм грязным вожделением посмотрел на нее брнтоголовый бычок, адъютант в прнемной Щеткииа, когда провожал на эту встречу-допрос. Под его взглядом она вся сжалась в один упругий комок, словно лесная кошка. Теперь она собралась прыгнуть далеко и расчетливо, но ее покндали силы.

Илларион сидел, горбясь, у стола, в свежей инжней сорочке, брился. Он выздоровел. Выпяченные, напряженные губы, характерный потрескивающий звук отличной немецкой бритвы «Золлингеи» на его черной щетине, запах дрянного «совдепского» мыла на всю комнату, как в прачечной. Неряшливая газетная бумажка с грязноватыми клочьями сбритой с лица пены — о господи, как надоел этот военно-полевой быт, грязь, вечное унижение души... И еще этот нищенский осколок зеркальца, в который смотрелся по сути одним глазом Илларион, вконец ожесточил ее.

Ведь он генерал, генерал по должности, ну что бы стоило достать хоть доброе, хорошего толстого стекла зеркало для квартиры — ведь полно реквизированного в складах! Но нет, у них это не положено, упаси боже — не может человек выжать из себя прирожденного плебея!

С ними, с этими мужланами, после всей этой кутерьмы жить? Тысячу лет?..

— Куда и зачем вызывали? — запросто, хотя и с видимым интересом спросил Илларион, не прерывая размеренных движений бритвой. И еще сильнее выпятил свои тонкие, хорошо очерченные, жадные губы. Она оценила его позднее бритье — наверное, совсем хорошо себя почувствовал, захотелось ласки, близости — и тут же прикинула внутренним зрением, что он совсем неосмотрительно расселся спиной к открытому окну в темный палисадник.

— Комиссар-чекист допрашивал! — гневно бросила она, отвечая на его вопрос, и быстро прошла в спальню.

Двери в спальню не закрывались, он снова спросил, не поворачивая головы:

— Чего ради? Ты что, штатный осведомитель?

— С вами свяжешься, так превратишься в кого угодно! — сказала она, сдерживая дрожь в голосе, а ему показалось, что она уже распускает волосы и говорит так, по привычке держа головные шпильки в зубах. — Почему-то... все про Миронова допытываются...

— Ну да? — легкомысленно хмыкнул Сдобнов.

— Про Миронова! — со злостью повторила она.

Вышла из спальни, зачем-то накинувшись теплой шалью и держа руки на груди, под шалью. Стала спиной к распахнутому окну, даже присела на подоконник...

— О чем же?

— Не писал ли он что в станицу, и какие разговоры о нем здесь, и как ты о нем...

— А они до этого не знали? — он усмехнулся, лениво проходя бритвой по чистому месту. Осколок зеркальца перед ним был мал, Илларион не мог хотя бы в проекции увидеть позади ее напряженную и собранную, как перед прыжком, фигуру, ее странный, провальный взгляд.

Смяла от волнения слова:

— Письмо его чуть не дословно повторила там... Ну, о новой мобилизации Деникина. «Бедные мои станичники, они опять потянутся на борьбу за казачество, и опять польется дорогая человеческая кровь. Опять слезы, сироты, вдовы... Как бы я хотел быть снова на Дону, кричать полной грудью и удержать казаков от нового безумия...» Я и то наизусть запомнила! Но им почему-то не понравилось, негодяям!

«Оно и не могло каждому понравиться, — мельком подумал Сдобнов. — Слишком уж острые вопросы всегда он задает!»

В последнем письме к Сдобнову Миронов возмущался разделением Донской области и подчинением Хоперского и Усть-Медведицкого округов Царицынской губернии... Это было нелегко читать и самому Иллариону:

«С неослабеваемым вниманием я слежу за печатью, как больной, исстрадавшийся за долгую зиму, следит за появлением вестника весны — ласточки, скворца. И вдруг как-то читаю декрет об организации переселения в Донскую область. Раньше этого прочитал, что Усть-Медведицкий округ присоединен к Царицынской губернии.

И сжалось сердце болью. Не от того, что будут переселять на Дон, не от того, что Дон расчленится как административная историческая область... Нет... земли хватит. Всем жить под тем же солнцем! Но сколько пищи для провокации... Какая богатая почва для посева контрреволюционных семян. И бедные мои станичники опять потянутся на борьбу...»

Илларион, сдерживая в себе волнение, добривал свой породистый, раздвоенный подбородок, а она подняла голос выше:

— Сто раз говорила, смотрите зорче, с какой дрянью вы связались, каков будет окончательный расчет! Ведь они вас в мешок увязывают! И кто вокруг? Нечисть, дрянь человеческая, инстинкты толпы!

Лицо Сдобнова расстроилось, стало вдруг дряблым и безвольным от этой растерянности и неопределенности.

— Что с тобой, Таня? Ты же сама не слышишь, какую чепуху несешь...

Он хотел обернуться, чтобы увидеть ее глаза.

— Я не Таня. Я — Вера! — вдруг со злобой вскричала она. — Вера! Вера!

И, крича и бесиусь, она выпростала из-под шали дуло нагана и выстрелила почти в упор в его белую спину, чуть ниже левой лопатки. И тотчас на чистейшей белизне рубахи вдруг зацвела пунцовая капля, словно маленькая гвоздика в пять отчаянно живых лепестков, стала расплываться... Илларион почти без стона ткнулся локтями в край стола и с едва различимым мычанием начал сползать с табурета, вытягиваться на полу.

За распахнутым окном разверзлась глубокая тьма, которая могла скрыть следы. Но Татьяне показалось, что кто-то стоит там, в невидимой засаде... Потом почудилось движение в коридоре. Тогда она, почти не

думая, примерилась, чтобы не задеть кости, и выстрелила еще раз — себе в руку, выше локтя. Боль была страшная, но, превозмогая все, она зашвырнула наган далеко в кусты (откуда, по ее версии, кто-то стрелял по ним) и уже после стала истошно кричать, звать на помощь...

ДОКУМЕНТЫ

По телеграфу *Срочная*
Реввоенсовету Южного фронта *3 июня 1919 г.*

Ревком Котельниковского района Донской области приказом 27 упраздняет название «станица», устанавливая наименование «волость», сообразно с чем делит Котельниковский район на волости.

В разных районах области запрещается местной властью носить лампасы и упраздняется слово «казак». В 9 армии т. Рогачевым реквизируется огульно у трудового казачества конская упряжь с телегами.

Во многих местах области запрещаются местные ярмарки крестьянским обиходом. В станице назначают комиссарами австрийских военнопленных.

Обращаем внимание на необходимость быть особенно осторожными в ломке таких бытовых мелочей, совершенно не имеющих значения в общей политике и вместе с тем раздражающих население. Держите твердо курс в основных вопросах и идите навстречу, делайте поблажки в привычных населению архаических пережитках.

Ответьте телеграфно.

Предсовнаркома *Ленин*[1].

Козлов, РВС Южфронта и по месту нахождения Сокольникову

Всеми силами ускоряйте ликвидацию восстания, иначе опасность катастрофы ввиду прорыва на юге громадная. Курсанты и батарея вам посланы. Извещайте чаще.

6 июня 1919 г.

Ленин[2].

Из письма Москва, Совнарком, Ленину

...Хвесин обнаружил беспомощное положение. Решительно предлагаю срочно назначить командиром корпуса МИРОНОВА, бывшего начдива-23... Имя МИРОНОВА обеспечит нейтралитет и поддержку северных округов, если не поздно. Прошу немедленно ответить. Командующий 9-й армией согласен.

Сокольников[3].

Козлов, 10 июня

16

Вихрь событий потрясал до основания новую жизнь на юге России. Упорная работа Троцкого по укомплектованию армейских кадров и Гражданупра «своими» работниками с непременным шельмованием неугодных, честных партийцев и командиров лишала людей уверенности. Исчезали куда-то опытные работники, вроде комиссара Бураго, начдива-15 Гузарского (оба старые большевики), другие ходили не у дел, третьи в непонимании разводили руками. Неуклонное проведение подрывной линии Троцкого приводило к краху всю позитивную работу, разваливало армию. Непостижимо, но факт: только с осени прошлого года в 8-й армии сменилось шесть командующих: Чериавин, Гиттис, Тухачевский, Хвесин, Любимов, Ратайский... 11-й армии уже не существовало, умерла, не родившись, 12-я, в связи с чем наркомвоен Троцкий выдвинул «спасительную идею»: в целях выравнивания фронта... оставить Астрахань. В степях Причерноморья, под Одессой, вспыхнул мятеж Григорьева, разлившийся по всей Таврии. Глухой ропот сочился из всех щелей деревянной и посконной сельщины. Красный Царицын отбивался в полуокружении и просил помощи, но помощи требовали и другие армии.

Чрезвычайный комиссар Юга Серго Орджоникидзе писал в эти дни Ленину: «Что-то невероятное, что-то граничащее с предательством... Где же порядки, дисциплина и регулярная армия Троцкого?! Как же он допустил дело до такого развала? Это прямо непостижимо...»

В эти дни старый большевик член РВС Республики Валентин Трифонов писал подробный доклад о положении Юга в ЦК партии, особо выделяя ошибки Донбюро в проведении сумасбродной линии на «расказачивание», которые в ряде случаев перерастали в прямые преступления. Он же критиковал, как несвоевременный, апрельский декрет о переселении части среднерусских крестьян в Донскую область. Троцкий, узнав об этом, немедленно ограничил полномочия члена РВС Трифонова, назначив его комиссаром в экспедиционный Донской корпус...

Но экспедиционные функции уже отпали сами по себе: кавалерийская группа генерала Секретёва соединилась с повстанцами. Последовало распоряжение Совета рабочей и крестьянской обороны: Миронову в 24 часа сдать дело в 16-й армии и прибыть в штаб Южного фронта, принять экспедиционный корпус.

...12 июня в штабном вагоне ехали к войскам новый комкор Миронов, комиссар корпуса Трифонов и комиссар штаба старый партиец Скалов. Окна вагона были распахнуты, стояла летняя пора, переезжали тихие среднерусские речки, ночью слышался соловьиный бой из проплывавших в лунной паутине садов, но некогда было любоваться природой. Дел было по горло, не спали ночами. Каждый собирал необходимый материал, готовил письма и приказы, запросы и воззвания к частям и населению. Из-под руки Трифонова Миронов читал свежее воззвание к обманутому казачеству Дона:

«Действия отдельных негодяев, примазавшихся к Советской власти и творивших преступления и беззакония на Дону, на которые ссылаются белогвардейские захребетники, со всей строгостью ОСУЖДЕНЫ центральной Советской властью.

Часть этих негодяев уже расстреляна, часть же

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 50, с. 387.
[2] Там же, с. 341.
[3] ЦГАСА, ф. 3/4, оп. 2, д. 145, л. 364.

ждет своей участи и будет расстреляна, как только виновность их будет установлена. Советская власть не может и не будет потакать врагам народа, негодяям, злоупотребляющим своей властью...»

Сам Миронов в особом приказе-воззвании оповещал казаков Хоперского округа, еще не занятого пока деникинцами, что Казачий отдел ВЦИК вошел с ходатайством в правительство о срочной их мобилизации, условиях службы, оплате за коней и снаряжение, принадлежащее лично мобилизуемым, отмечал революционные заслуги 1, 4, 14, 32 и 35-го казачьих полков... Гнев и надежда бились в нервной строке:

«Куда же девался этот революционный дух фронтовиков? Неужели можно его угасить сказками Краснова и Дудакова, бреднями сумасшедших вешенцев?..

Зову от лица Революции казаков-добровольцев, уже служивших в Красной Армии! Зову молодых и новобранцев: все под знамя Революции! Приглашаю на командные должности следующих лиц, бывших в 23-й дивизии: Блинова Михаила Федосеевича, Кувшинова Ивана Степановича, Карпова Ивана Николаевича, Шкурина Фому Кузьмича, Мазлова с хутора Репного, Буянова с хутора Большого Етеревской станицы...»

Пока Трифонов, пощипывая крошечную колючую бородку, просматривал через очки мироновское воззвание, Филипп Кузьмич все же выбрал время в две-три минуты, подошел к окну, отвел шторку. Вздохнул.

За вагонным окном медленно катилось, разворачивалось каруселью зеленое июньское утро. Проплывали небогатые, клочками на залежах, ржаные поля, некошеные луговины у скудных речушек. Среди жирных, вымахавших в человеческий рост бурьянов вдруг открывались деревеньки с покосившимися избами, сломанными пряслами, рухнувшими мостами на суходолах... Молчали южнорусские хаты в соломенных, нахлобученных по самые оконца крышах, ярко освещались солнцем старые скворечни на вербах, в них уже начинали оперяться птенцы... В одной деревушке выгоняли немногочисленное коровье стадо, старый дед-пастух с седыми космами уныло смотрел на движущийся состав, коровы лениво отмахивались на сторону рогами, отгоняя слепней. Усталые глаза Миронова с болью наблюдали тяжкую картину разрухи и бедности, но сам он старался сохранять душевную бодрость и даже подъем, возвращаясь в родные места. Снова возникала надежда на скорое окончание войны, правда о положении на местах так или иначе дошла до центра, до Совнаркома, многих перегибщиков и подлецов отстранили от дел, а то и посажали в тюрьмы, называемые теперь домзаками. И он, Миронов, отчасти чувствовал себя победителем. Сложнейшая борьба двух контрразведок, так и сяк игравших именем Миронова (иногда на потребу минутной ситуации), не смогла поколебать его авторитет, казалось ему. На дурную газетную утку сама же газета дала опровержение. Да и простые люди знали: он повел их к новой, неведомой судьбе как беспартийный большевик и он знает свою ответственность перед ними, перед их семьями, женами, стариками и детьми...

— Филипп Кузьмич, — окликнул его Трифонов от маленького вагонного стола, над которым все еще горел фонарь. — Я говорю, здесь вместе с вашей подписью надо бы учинить подписи Хоперского ревкома и, возможно, печать. Для убедительности.

— Ревкома? — покосился от окна Миронов.

— Исполкома окружного, — поправил Трифонов.

— Не возражаю. Мы так обычно и поступали в Михайловке. Теперь сделаем то же в Урюпинской. Власть советская, тут в одиночку, не приходится решать.

— А так все верно, даже лихо, — сказал Трифонов.

Пришел из своего угла Скалов, пожилой, обстоятельный московский мастеровой (по виду) в кожанке и кожаном картузе со звездочкой, из старых боевиков Красной Пресни. Показал набросанный им приказ о дисциплине в войсках. Получилось у него довольно неумелое сочинение с угрозами и предупреждениями в части нарушителей. Миронов и Трифонов переглянулись, и первым, конечно, не выдержал молчания Миронов:

— Нет, нет... Назидание, комиссар! Назидание и скука, тут надо как-то по-другому. За душу взять! Сейчас подумаем...

Взял из рук Скалова лист, перечитал, недовольно хмыкая, не боясь, что комиссар невзначай обидится... По лицу Миронова прыгали тени от того, что поезд шел в этом месте сквозь шеренгу высоких тополей.

— Тут у вас насчет развала дисциплины и фактов мародерства все верно, — сказал Миронов. — А дальше надо как-то веселее... А?

— Хотите застругать в форме беседы, что ли? — усмехнулся Скалов.

— Именно так. Награды и благодарности у нас идут обычно от имени РВС, всякие увещевания от политотдела, а уж нагоняй придется делать командиру! — засмеялся Миронов и, глядя на Трифонова, подбил согнутым пальцем вислые усы. — Пишите с абзаца, товарищ Скалов. Буду диктовать.

Скалов успел очинить карандаш над пепельницей, смуглая его рука писала под диктовку:

— «Товарищ красноармеец! Враг-белогвардеец надвинулся со всех сторон, враг напрягает все силы и, пользуясь вышеприведенными нашими недостатками, теснит нас!» Абзац, с новой строки! «И если теперь же не принять решительных мер против этой разнузданности в наших рядах, Земле и Воле грозит тягчайшее испытание». Пожалуйста, с нового абзаца, товарищ Скалов, и крупными буквами: «Таково мое мнение, так думаю я — скажи, красноармеец, как думаешь ты? Нужно ли с этим бороться, и если нужно, то скажи как?!»

Скалов записывал, отчасти удивляясь всей этой вольности. А получалось неплохо.

— «Надеюсь и убежден, что это письмо товарищи красноармейцы обсудят в одиночку, обсудят кучками, а потом взводами и ротами, и свои ответы пришлют мне, чтобы я мог судить, как поднять дисциплину в частях, и с помощью этой дисциплины совершить такие же подвиги, какие выпали на мою долю со славной 23-й дивизией на Южном фронте в борьбе с мировой контрреволюцией...

Только с железной дисциплиной мы победим, только ею!

Спешите же с ответами, мои друзья по оружию и идее!

Спешите, пока еще не поздно!»

Миронов вытер в волнении лицо платком, оценил ровную скоропись комиссара и добавил:

— Теперь подпись: «Командир Особого корпуса... гражданин Ф. Миронов». Гражданин — обязательно! Потому что с революцией все граждане: и бойцы, и обозники, и командиры всех рангов. Это люди должны чувствовать постоянно, ежечасно, в этом гвоздь общей ответственности и общей славы. Вот. Завтра, в Бутурлиновке, отпечатаем и разошлем по частям.

Трифонов с интересом присматривался к Миронову. Еще с первой встречи в Козлове — сам по крови казак, но уже не «служивский», а фабричный, достаточно образованный, прошедший многолетнюю школу подполья и тюрем, — он с ревнивой придирчивостью оценивал его, слишком размашистого, слишком прямодушно-откровенного, безусловно храброго воина и при всем том какого-то незащищенного, до наивности открытого и потому не внушающего особого доверия постороннему.

Ох уж это станичное ухарство, простоватое стремление задевать ближних двусмысленными шутками, насмешками, остротами, чаще всего даже на свой счет: «мы, мол, конечно, дурни, но себе на уме...» — и при том не придавать вообще-то никакого значения всему этому, словам вообще. Слова, мол, не более как оболочка, шелуха, простое украшение вокруг человека, а вот посмотрим на тебя, милый друг, когда до шашки и пики в бою дойдет, до ночного поиска по вражьему тылу или даже в рукопашной — один на один! Вот там и посмотрим, чего ты стоишь! Вся эта казачья человеческая особица была в общем-то ясна и не чужда Трифонову, но в Миронове эта особица была доведена до крайности, и человеку новому, незнакомому он казался странным.

Брат Трифонова Евгений тоже отмечал эту несообразность между внешним обликом и делами этого недюжинного командира. Воевал этот казачий начдив великолепно, в иных случаях его действия были почти непостижимы, но окружающие почему-то не упускали случая сказать о каком-то авантюризме, забубенности бывшего начдива-23.

За вечерним чаем Трифонов узнал еще, что у Миронова с прошлых войн было восемь царских орденов и серебряная шашка. Да и сейчас на боку тоже серебряное оружие, из советских рук, — ясно даже без очков, что этот казачок не так прост, как выглядит на досуге, даже при сочинении общественно полезного приказа. Черты какого-то юношеского легкомыслия в словах и какая-то святая открытость, острая прямота, исключающая даже оттенок какой-либо игры. Налицо большая внутренняя тяга к людям, желание душевного единения. Таких любят особенно молодые женщины, еще не склонные к игре, переборчивости, изменам...

У Миронова, как и следует, молоденькая, очень видная из себя, глазастая особа, кажется, уже беременная... Наследие полупартизанской войны прошлого года, когда в штабах и обозах колготились жены и детишки. Теперь, разумеется, с этим надо бы кончать, но как? Попробовал Трифонов заговорить на эту неподходящую тему, Миронов не стал как будто возражать ему, но тут же повернул мысль на иной путь:

— Вообще-то верно, товарищ политкомиссар, надо бы почистить штабы не только от жен и сударок, но и от вольнонаемных машинисток, политотдельских девушек с их подружками, но... это — если воевать мы собрались до бесконечности долго. Думать надо о другом — о скорейшем окончании войны. — И пояснил свою мысль более пространно: — Посудите сами. Многие из красноармейцев, в особенности старших возрастов, как ушли на действительную при царе, скажем, в девятьсот десятом, так с тех пор и не расстаются со строем, шашкой, пикой, с осточертевшим солдатским котелком и шанцевой лопаткой. И главное, не видят этой войне конца. Так что же им делать? Ясное дело: заводят связи. Надо кончать войну вместе с этой походной жизнью.

— Деникин, к сожалению, пока что наступает, — возразил Трифонов. — О скором завершении войны думать рановато... Вы как считаете, можно Деникина до осени разбить? Хотя бы к ноябрю?

— Считаю, что можно, — сказал Миронов.

Скалов тогда отставил кружку с горячим чаем, внимательно посмотрел на обоих. Суть разговора его тоже заинтересовала.

— Какими силами? — спросил Трифонов. Он знал о положении фронта.

— А хотя бы силами нашего корпуса. Пятнадцать тысяч штыков! Да при поддержке всего населения, сочувствующего, безусловно, Советам! Если эти пятнадцать тысяч с умом переформировать, подтянуть, накормить, выбить инстинкт толпы «спасайся кто может!» или, именуемый шляхетской поговоркой, «пан за пана ховайсь!» да после этого вдарить по тылам Врангеля и Май-Маевского, то там начнется такая же каша, как весной у Краснова, — самоуверенно сказал Миронов.

— Тут еще корпус Мамонтова по нашим тылам бродит, — с невеселой усмешкой, стараясь отрезвить командира, заметил Трифонов.

— Ну, не один же наш Особый корпус на стороне Советов! Есть еще 8-я и 10-я армии, корпус Буденного... Я на что нажимаю: если «добровольцев» Май-Маевского и Врангеля рассеять, то наши низовцы, черкасня эта, сами по домам побегут, верьте на слово! Кого-кого, а этих вояк я знаю!

«Самонадеян ужасно, — заключил Трифонов. — Отсюда и разговорчики эти в штабах об авантюризме...»

13 июня, утром, были в Бутурлиновке.

Встречал сам Хвесин со штабными, при полном параде. Отговорили приветствия, бодро откозыряли по всем правилам, но Трифонов да и сам Миронов, наверное, отметили глубокую, почти болезненную усталость и нравственную смятость здешних командиров. Сам Хвесин, невзрачный, морщинистый человек с услужливыми движениями бывшего полового или интенданта заштатного, был попросту жалок. И при нем комиссар, почти мальчик, едва ли двадцати лет, с боль-

шнмн, отрешенными, как бы навсегда ушедшнми мыслью в себя глазамн... Последний день в корпусе, есть уже прнказ о его откомандировании с большим понижением...

— Попов? Это какой же Попов? — поздоровался за руку с юнцом-комиссаром новый командир корпуса. — Какой станицы?

Судя по этим вопросам, можно было отвечать свободно, не по уставу. Юноша пересилил что-то в себе, улыбнулся со смущением, цеия такую минуту и одновременно тая в душе глубокую тревогу:

— Станнцы Усть-Медведнцкой, товарнщ Мнронов... Только вырос я в Москве. Ну, сын Александра Серафнмовича...

— Вот как! — обрадовался Миронов н еще раз встряхнул руку Анатолия Попова. — Хорошо. Будем, стало быть, вместе бить кадетов?

— К сожаленю, меня откомандировывают, товарнщ Мнронов. — При этнх словах Хвеснн потупился, а Попов объяснил коротко: — На совещанин в Воронеже я выступил... Ну и после этого распоряжение самого товарища Троцкого...

— Хорошо, об этом поговорнм еще. А как отец? Где нынче?

— Отец не так давно был здесь, собнрается большой материал дать в газеты, особо о восстаиин... Очень ждем этих статей, они тут прямо необходнмы, до зарезу! О вас вспомииал, Фнлнпп Кузьмнч, и хотел встретиться.

— Я бы тоже хотел, — вздохнул Мнронов, и глаза его как-то затуманнлись. — Ну, хорошо. Не отправиться ли сразу к войскам? Они у вас, верно, разбросаны по всей дуге, от Калача до Казанской?

Уже в самом вопросе Мнронова таилось неодобрение по поводу такого расположення войск, н бывшнй комкор Хвеснн подтянулся, руки по швам:

— Ннкак нет. Войска в основном здесь и в Калаче. Все... После прорыва Секретёва нного выхода нет, как отбиваться в этом направленин всемн снлами, товарнщ Миронов...

— Пятнадцать тысяч штыков... в одном месте? Кучей?

— Нет. Всего около трех тысяч, — сказал Хвеснн.

— А остальные?

Хвесин замялся, как бы не поймая вопроса. Смотрел на Миронова, а прнезжне в свою очередь ждали ответа от иего.

— В нашем корпусе, товарнщ Миронов, в данный момеит всего около трех тысяч штыков. Еслн вам сказали другую цифру, то это устаревшне данные. Были тяжелые бон, отступлення, потерн...

И тут Трнфонов увидел, как на глазах меняется лнцо Миронова. Как слетела с него вся недавняя беззаботность, безоглядное казачье ухарство, самоуверенность. Вообще смуглое, загорелое, оно вдруг налилось гневом и стало как бы чугуниым.

— Три... тысячн? Как же вы... до-пус-тнли до этого? Тут же были юицы, курсаиты! Их же надо было оберечь, учнть! — И обернулся в полном недоумеиин к Трнфонову и Скалову: — Неплохо поработалн негодяи повстанцы! С умом... А? У них ведь одни шашкн и пнкн... Холодное оружне!

Трифонов со всей остротой понял нелепость их нынешнего положения. Прнбылн они к корпусу, которого, по сути, не было. Одна неполная днвнзия, и с ней нужно держать целый фронт!

— Есть случан дезертнрства, — продолжал неиужный уже доклад Хвесни. — Вообще-то с начала мятежа, с марта, на восстание былн кинуты мелкне части... Недооценка момента...

Мнронов, нарушая всякий этнкет, сплюнул под ногн.

— Прн такнх пнрогах я бы на месте Секретёва был уже в Воронеже, а то н дальше. У этого пьяницы, как вндно, разведка ин к черту! А? Вот воюют, подлецы. Ведь нас, вообще говоря, можно уже в кольцо брать, как курят, голыми руками! — И снова оглянулся на Трнфонова: — Едем в таком случае к дивнзии, время дорого. Минутами н секундами жнть придется...

...Вечером, вернувшнсь иа ночлег, Миронов выкроил время н зашел к Анатолию Попову проститься. Тот засовывал какне-то вещн, кннгн, записные книжки в дорожный мешок, очень застеснялся, когда вошел комкор. Выпрямился с опущенными рукамн, отшвырнув мешок на кровать.

— Проходнте, Филнпп Кузьмнч. Вот за стол, пожалуйста, — сказал он. И сам сел иа кровать. Потом снова встал. — Чаю не хотите? Я скажу хозяйке.

— Нет, спаснбо, — сказал Мнронов. — Я как верблюд, могу по семь дией не пнть и не есть... Да... Утром уезжаете? Куда, еслн не секрет?

— В район Царнцына. Направление — в конный корпус Буденного. Брнгадным комнссаром...

— Н-да. Так что же пронзошло в Вороиеже?

Анатолнй сндел иа кровати как побнтый, сложнв на коленях рукн. Ответнл после длнтельной паузы:

— Не поннмаю, что пронсходит... Ну, было совещанне политработнннков. Проводнл Троцкий. Речь у иего обычная: «Казачество — опора царя. Уннчтожить казачество в целом, сиять лампасы, запретнть нмеиоваться казаком, расказачить, выселить в массовом порядке в другие областн — вот наш лозуиг!» Я в ответ запротестовал, сказал, что казачество неоднородно, что большая часть кавалерин на юге да н в пехоте — из казаков. Как в таком случае вестн с нними политработу? Есть также большие командиры из казаков, комиссары полков н днвнзнй... Добавнл при этом, что н сам я из казаков...

— А он что? — весь наершнлся Мнронов.

— Он закрнчал: «Вон отсюда, если вы казак!»

Анатолнй горько н сдержанно усмехнулся.

— Так и сказал?

— Так и сказал, представьте.

— Уму непостнжимо. Что же это делается? — Миронов облокотился иа стол, сжал чугунные свои скулы кулакамн и замолчал, насупясь. Сидел так долго, недвнжимо, как бы отключнвшись, ие думая нн о чем. Потом сказал: — Надо проннкать в Москву, обратиться к Леинну. Зиаю, Ковалев собнрался, да не успел. Теперь вот надо нам эту его недоделку исправнть. А вы

напишите обо всем отцу. Это — политическое хулиганство, не больше и не меньше.

Миронов встал, крепко пожал руку Анатолию.

— Может, я попрошу все же чая? — спросил тот.

— Ничего не надо. Дела ждут, сынок, — отказался Миронов и, пожелав доброго пути назавтра, вышел.

17

Остатки войск 9-й Красной армии, заняв круговую оборону по правому берегу Дона близ станицы Клетской, медленно переправлялись на понизовый левый берег и затем лугами, займищами тянулись на север, к железной дороге. Когда последний обоз спустился под гору и начал громоздиться на паром, боевое охранение было снято. Бойцы бросались вплавь...

Именно здесь, под Клетской, Троцкий самолично отстранил от командования Княгницкого, тайно побеспокоившись о вызове его на партработу в Бессарабию, и вопреки новому составу РВС армии назначил на его место военспеца Всеволодова.

Всеволодов ультимативно потребовал устранения члена РВС Михайлова и некоторых других политработников, на что Троцкий пойти не мог. Затеялась длительная перебранка, в пылу и под прикрытием которой новый командарм распорядился об отводе своих войск за пределы Донской области.

Дальнейшее его мало интересовало. 17 июня, во время переезда штаба из Михайловки в Елань-Камышинскую, Всеволодов отлучился легковой машиной в хутор Сенной, где временно находилась его семья.

— Знаешь, милая, — сказал он жене, собиравшей вещи, — в Калаче появился Миронов с какими-то чрезвычайными, чуть ли не генерал-губернаторскими полномочиями... Лучше не испытывать судьбу, не усугублять положения. Думаю, что здешние мои дела закончены и его превосходительство поймет меня правильно. Пора, знаешь ли, и честь знать... Сегодня ночью мы выезжаем к Арчединской, там предположительно должны уже быть передовые разъезды Сидорина...

На следующий день в Елани было смятение: не могли сыскать нового командарма, захватившего в портфель наиболее важные оперативные документы...

В эти же дни политкома Гуманиста срочно вызвали в политотдел фронта, освободив от обязанностей в эскадроне.

Аврам выехал с тайной тревогой, а в Козлове эта тревога значительно возросла. В штабе исподволь начали искать виновных за катастрофу на фронте, смещали, наказывали, отдавали под суд.

Начальник политотдела усадил Аврама перед собой в кресло и долго в молчании рассматривал его юную в общем-то и жалкую фигуру с тонкой шеей и кудлатой головой. Ходоровский был по возрасту старше Аврама всего на пять—семь лет, но смотрел на него и говорил в дальнейшем с отеческой строгостью. Этому способствовали не только большая черная борода и огромные очки Ходоровского, но и вся обстановка в Реввоенсовете.

Сказал, склонив голову и глядя исподлобья через дужки очков:

— Одного не пойму, товарищ Аврам, как это вы под Монастырщиной устроили с этим командиром эскадрона... как его?..

— Барышников?! — с готовностью привстал Гуманист.

— Да. С ним... Как это вы додумались там устроить варфоломеевскую ночь среди бела дня?

Аврам откинулся в кресле, расслабляя нервы до предела, и кинул голову сначала влево, потом вправо, как бы освобождая тонкую шею от тесного воротничка.

— Были же директивы на этот счет? — нашелся Аврам, спросив тихим голосом, как заговорщик. — А теперь что? Другие установки?

— Теперь вот что, — строго сказал Ходоровский. — Первое: директива Донбюро, разработанная Сырцовым, Блохиным и другими, отменена Политбюро ЦК. Отменена. Не только как головотяпская, но и вредная по сути. Но дело не в этом, товарищ Аврам... — Ходоровский снял очки и, сильно щуря свои пронзительные глаза, начал протирать стекла белым платком. — Дело, понимаешь... Тут еще приехал с передовой некто Мозольков, член партийной комиссии по этому делу, он, между прочим, питерский, так вот он и докопался до этой истории. И требует отдать под трибунал тебя и Барышникова.

Ходоровский водрузил очки с протертыми и чистыми стеклами на нос и насупился еще больше. Побарабанил толстенькими пальцами по столу, обтянутому зеленым сукном.

— Как смотришь на это?

У Гуманиста взмокли ладони и явственно выступил пот на окружности лба, у корней волос.

— Не... понимаю, — сказал он, снова пытаясь привстать в кресле.

— Да! Барышников-то офицер, мосол так сказать, он выполнял букву приказа и в данном плачевном случае не подсуден никакому суду, — вздохнул Ходоровский. — А вот для тебя вопрос совсем плох... Не кто иной, как политком, обязан был блюсти дух закона, его суть! И политком в ответе кругом. И за себя, и за командира.

— Переговоры были запрещены, товарищ Ходоровский, — сказал Аврам дрожащим от возмущения голосом. — Другого выхода же не было!

— Как это не было? — удивился Ходоровский. — Был! Взять этих повстанцев под стражу и конвоировать в ближайший штаб! Неужели ты не мог сообразить? К нам или в крайнем случае в Воронеж! А там бы разобрались с каждым в отдельности. Но ты, Аврам, не сообразил этого по молодости и, прямо сказать, подпал под влияние более опытного и старшего по возрасту командира. Бывшего офицера к тому же. Ведь подпал же?

— Совсем не то. Не подпал. Но просто не мог и не счел возможным удерживать его перед лицом эскадрона. Там всякие сорвиголовы, они могли посчитать меня трусом...

— Да? Это несколько проясняет дело в твою пользу...

Ходоровский еще побарабанил пальцами по мягко-

му сукну стола, по некой невидимой нервной клавиатуре и вздохнул:

— Вообще-то дельце неприятное для нас для всех. Отвратительная история. Ты согласен?

— Отчасти да, — вздохнул Аврам. И повинно кивнул вихрами.

— А все дело в том, что не на месте ты оказался, товарищ Аврам. Не на месте, как военный имеино комиссар! Место твое — в гражданском агитпропе, и не более того... — отцовские нотки вновь пробудились в голосе Ходоровского. — Вот я и решил: зачем губить молодую, неопытную душу на самом взлете? Жалко мне тебя, братец, такого зеленого и такого слабого... Пусть уж все станет на свои места.

Аврам весь напрягся от внимания и тревоги. Что он решил?! А Ходоровский сказал спокойно:

— У нас имеются вызовы, две командировки на работников агитпропа в Харьков. Для борьбы с остатками банд Григорьева и — в штаб Махно.

— Махно? — снова вспотел от неожиданности Аврам.

— Да. Сейчас он с нами, командует дивизией. Пойдешь к нему в политотдел. Инструктором. Рядовым. На особо опасную работу. Это снимет с тебя и всех нас всякую вину за прошлый инцидент. Ты понял?

— Но... Махно? Как же так?

— Все так же. Он ведь никогда не примыкал к белым. Болтался меж двух огней. А сейчас его обратили в праведную веру, и надо формировать политсостав. Там будут опытные товарищи: Полонский, Азаров, Вайнер и другие. Поработаешь с ними, кое-чему научишься.

Гуманист задумчиво склонил голову, молчал. Ходоровский на прощание протянул руку:

— Направление в канцелярии. Ехать надо в Харьков. Желаю успеха.

Тучка только набежала на солнце, но грозу пронесло, как понял Аврам. На радостях он не забыл еще забежать к знакомым проститься.

ДОКУМЕНТЫ

Из докладной Ф. К. Миронова

Председателю ВЦИК т. Калинину
Председателю Совета Обороны т. Ленину
24 июня 1919 г.

Назначая меня комкором Особого, Реввоенсовет Южного фронта заявил, что этот бывший экскор силен, что в нем до пятнадцати тысяч штыков и что это одна из боевых единиц фронта. Если такие же сведения даны вам, то я считаю революционным долгом донести о полном противоречии этих сведений с истинным положением вещей. Я нахожу это недопустимым, ибо, считая информационные данные как нечто положительное, мы, благодаря им, закрываем глаза на действительную опасность и, убаюканные, не принимаем своевременных мер, а если принимаем, то слишком поздно.

Я стоял и стою не за келейное строительство социальной жизни, не по узкопартийной программе, а за строительство, в котором народ принимал бы живое участие. Тут буржуазии и кулацких элементов я не имею в виду. Только такое строительство вызовет симпатии крестьянской толщи и части истинной интеллигенции.

Докладываю, что Особый корпус имеет около 3 тысяч штыков на протяжении 145 верст по фронту. Части измотаны, изнурены. Кроме трех курсов, остальные курсанты оказались ниже критики, и их осталось от громких тысяч жалкие сотни и десятки...

Особкор может играть роль завесы. Положение на фронте Особкора сейчас спасается только тем, что вывезены мобилизованные казаки Хоперского округа. Расчет генерала Деникина на этот округ полностью не оправдался. Как только белогвардейщина исправит этот пробел, Особкор, как завеса, будет прорван.

...Считаю необходимым рекомендовать такие меры в экстренном порядке:

Первое — усилить Особкор свежею дивизией.

Второе — перебросить в его состав [23-ю] дивизию как основу будущего могущества новой армии, с которой я и начдив Голиков пойдем захватывать вновь инициативу в свои руки, чтобы другим дивизиям и армиям дать размах, или же назначить меня командармом-9, где мой боевой авторитет стоит высоко...[1]

Личное письмо члена РВС
Особого корпуса Скалова
В. И. Ленину

Уважаемый Владимир Ильич!

Необходимо Ваше содействие тов. Миронову в успешной и крепкой организации нового корпуса. Снабдите всеми техническими средствами, чтобы этот корпус был действительно тараном в опытных руках тов. Миронова. Тогда мы сможем разбить деникинские банды до уборки хлеба, который в этом году по всей Воронежской губернии необыкновенно хорош.

Тов. Миронов пользуется огромной популярностью среди местного населения, и к нему стекаются все истинные бойцы-воины. Поэтому я убедительно прошу Вас принять самое близкое участие в формировании нами нового корпуса.

Я старый питерский работник, которого Вы хорошо знаете и можете вполне доверять.

3.VII 1919 г.

Скалов[2].

18

След Всеволодова, как и следовало, отыскался в Таганроге, месте расположения деникинской контрразведки. По этому поводу редактор «Донской волны» Федор Дмитриевич Крюков просил своего сотрудника и близкого человека Бориса Жирова срочно съездить

---

[1] ЦГАОР, ф. 1235, оп. 82, д. 15, ч. 2, л. 390—413. Докладной В. И. Ленин не получил, она была задержана Ходоровским.

[2] ЦГАОР, ф. 130, оп. 3, д. 133, л. 515.

в Тагаирог и взять у бывшего краскома свежее интервью для публики.

Федор Дмитриевич снова работал как одержимый, горел всеми страстями времени, с началом верхнедонского восстания как бы пробудившись от глубокой нравственной летаргии и душевного упадка. Отчаянные вешенцы вдруг вдохнули в его стынувшую душу новую ненависть к красным, желание стоять за белое дело до конца... От имени войскового круга писал Крюков одно воззвание за другим, и не было в них уже недавней усталости или какой-либо рефлексии. Бумага едва ли не горела под его пером от ярости, когда он писал к восставшим: «Близок час победы, мужайтесь, братья-казаки! Не помиримся с позором подневольной жизни, с вакханалией красной диктатуры! Идите расчищать донскую землю!..»

Военные успехи повстанцев и деникинских корпусов не успокаивали и не примиряли Крюкова, после известных статей наркомвоена в красных фронтовых газетах о войне с Доном ни о каком смирении или понимании самой революции не могло быть и речи. Едва бросив перо, Крюков сжимал кулаки — на память вновь приходили откровения глашатая мировой революции Троцкого: «Старое казачество должно быть сожжено в пламени социальной революции... На всех их должно навести страх, ужас, и они, как евангельские свиньи, должны быть сброшены в Черное море!» И — нигде ни слова о белом, собственно, казачестве, везде речь о народе в целом! Возможно, автору этих странных статей мешали чем-то и красные казаки, а стариков, старух, женщин и детишек он вообще не брал в расчет? На языке историков все это уместно было бы назвать геноцидом, но в сутолоке и неразберихе гражданской войны легко сходило за классовую борьбу... «Ах, сволочи, ах, изверги рода человеческого, блистающие чистыми манжетами и белыми воротничками! — негодовал Крюков. — И этот главный их оракул в пенсне, с копной курчавых волос, ординарнейший провизор, возомнивший себя мессией!..»

Крюков проклинал заодно и свой упадок, душевную свою индифферентность, возникшую не так давно, после беседы с окаянным человеком Мироновым. Да, тогда утомленный разум в положении плена готов был, кажется, смириться, понять, простить и даже благословить все, что творилось вокруг. Лишь сердце несогласно болело, предчувствуя утрату не только ближайшей цели, но и веры. Теперь он считал, что прозревает... Что понять, что благословить? Неизбежный крах казаков в недалеком будущем?

Говорят, писатели Горький и Серафимович, признавшие русскую революцию, теперь ушли в оппозицию, издают либеральную газету «Новая жизнь». Даже Александр Блок уединился от революционной суеты и не хочет вспоминать о своих двенадцати христопродавцах, сопровождающих Иисуса Христа на Голгофу... Вполне возможно. Что-то такое уже предчувствовалось в их предреволюционных исканиях, метании душ в поисках нового Бога... А разве сам он не ошибался в то время? В понимании народа целиком, в рассуждении войны с германцем? Особенно в этом, последнем! Не желая войны (как истый интеллигент), он все же допускал войну как частность и исключение, считая, что она, как некий отрезвляющий душ, поможет народу объединиться, стать единой, живой, сознающей себя силой. Единой личностью, если хотите. А что вышло?

Вышло то, о чем пока еще трудно судить... Но Лев Толстой, кажется, предчувствовал нечто такое, когда собирался писать рассказ о женщине, бросившей своего ребенка и кормящей чужого... Не вскормила ли русская интеллигенция, по слепоте своей, чужого ребенка в последние десятилетия перед этой катастрофой? И что же здесь понимать и тем более благословлять?

Крюков неистовствовал и как будто хотел наверстать упущенное. Никогда еще слог его не был столь жестоким и откровенным до цинизма. Он становился глашатаем всего деникинского штаба.

30 июня пал красный Царицын. В захваченный город въехал на белом коне командующий кубанской конницей Врангель, и в газетах Освага угадывали знакомый стиль Крюкова: «Свершилось! Трехцветное знамя реет над безумным городом! Оттуда, из «красного Царицына» растекался по югу российской земли яд большевизма!..»

Рассказывали, когда сам Деникин в сопровождении атамана Африкана Богаевского и главы английской военной миссии полковника Хольмса прибыл в Царицын, на всех окрестных телеграфных столбах покачивались трупы повешенных коммунаров. Крюков не испытывал, как ранее, никакого смущения, душевного неустройства за это, отвечая спокойно, как отвечал бы офицер-строевик или даже завзятый контрразведчик: «Что ж, это неизбежно, такова логика борьбы. Но не дай вам бог познать логику отчаяния, то во много раз страшнее!»

Люди не узнавали прежнего доброго, либерального Федора Дмитриевича. Он перестал вовсе заниматься литературой, считая, что при громе пушек музы должны замолкать. В душе он оправдывал себя полностью, двоиться и раздумывать было не к чему, все обнажилось до предела.

Ах, когда-то вы, милостивый государь, были думающим, либеральным русским писателем? Прекрасно. И до чего же вы дописались?

Нет, отныне я — просто цепная собака моего народа. Я охраняю его дом и двор от внешних врагов и многочисленных шпионов, заброшенных извне, и, разумеется, от внутренней скверны. Я — писатель, но лишь до той поры, пока не запечется кровь в сердце, а шерсть на загривке не встанет торчмя непримиримой щетиной в готовности души к схватке не на жизнь, а на смерть! Очень глупо искать красоту в мире, потерявшем человеческий облик, не так ли милостивые государи, любители изящной словесности?

Со времени крепостного права, рассуждал Крюков, все мы глупым хором и с необходимой важностью, кстати, лепетали что-то о личности и ее правах. Но ведь все это — ложь, вздор. У человека есть только обязанности. Да-с, только обязанности! Перед богом и совестью, и ничего более. И оставьте о правах! Вы забыли, что живете среди темных и порочных людей, которые вслед за вами тоже требуют каких-то прав!

Что еще? Кажется, на этом можно кончить всякие споры.

Вернее, вы можете рассуждать как угодно, но я не стронусь со своей позиции ни на йоту. Да-с. Недаром и в самой совдепии возникают столь бездушные, формалистические школы, разные кубизмы и абстракции, — исковерканная душа человечья не в силах принять мир старых форм с началами Добра и Веры...

Потом, после, когда-нибудь... Задумаю роман вселенского масштаба о нынешнем потрясении рода человеческого! Но это после, когда взбаламученное море людское войдет в берега и хищные рты черни захлебнутся кровавой жвачкой собственных вожделений. Потом, когда-нибудь, спустя столетие, возможно, возродится искусство людей...

Когда появилась знаменитая «Московская директива» главнокомандующего Деникина, Федор Дмитриевич Крюков воспринял ее с внутренним ликованием, как некую героическую поэму. Деникин отдавал приказ о движении своих армий на красную столицу: генералу Врангелю выйти на фронт Саратов — Ртищево — Балашов, сменить на этих направлениях донские части и продолжать наступление на Пензу, Рузаев, Арзамас и далее — на Москву. Теперь же направить отряды для связи с Уральской армией. Генералу Сидорину правым крылом продолжать выполнение прежней задачи по выходу на фронт Камышин — Балашов, остальным частям развивать удар на Москву в направлении Воронеж, Козлов, Рязань... Генералу Май-Маевскому наступать на Москву в направлении Курск, Орел, Тула. Для обеспечения с запада выдвинуться на линию Днепра и Десны, заняв Киев и прочие переправы на участке Екатеринослав — Брянск...

В ожидании интервью Всеволодова из Таганрога Федор Дмитриевич решил напечатать еще обстоятельную статью от начальника штаба Донской армии и, пользуясь расположением генерала Кельчевского, попросил аудиенции.

Пожилой интеллигентный генерал, бывший профессор академии генерального штаба, сохранил до сей поры черты внутренней благовоспитанности и этим особенно импонировал Крюкову. В нем ничего не было нарушено, сломано, деформировано, испорчено, как у других, надломленных временем, вроде Володьки Сидорина или даже Африкана Богаевского, желающих гулять по ресторанам в расстегнутых мундирах. Вокруг Анатолия Киприановича Кельчевского царил, если можно так выразиться, старый добрый, царскосельский порядок.

Он принял Крюкова с подчеркнутой любезностью, как признанного властителя дум бывшей интеллигентной публики и местного новочеркасского света, пригласил не к рабочему столу, а к раскрытому венецианскому окну и в мягкие кресла, располагающие к непринужденности почти довоенной. И при всей перегруженности своей нынешними важными делами согласился все же подумать над статьей для газеты и журнала... И тем окончательно подкупил Крюкова. Федор Дмитриевич расчувствовался и — совершенно случайно, удивляясь даже самому себе! — вдруг заговорил о благотворности военных успехов в части нравственного умиротворения, необходимости каких-то экстренных мер, шагов, может, попросту жестов в утверждении гуманности, «милости к падшим»... Понесло, будто в санях под гору! Ему показалось, что именно теперь, сейчас, в данную секунду он может исполнить давнюю просьбу своего странного знакомца и врага Филиппа Миронова о смягчении участи полковника Седова, кончающего дни свои в новочеркасской тюрьме. (Федор Дмитриевич вовсе не скорбел об участи «красного полковника» Седова, но его беспокоила и давила обязанность как-то выполнить последний наказ Миронова! Было желание освободиться от какого-то своего молчаливого обета, что ли...)

— Это... который Седов? — сразу насторожился вежливый генерал Кельчевский. — Не тот ли, что увел весной восемнадцатого весь свой полк в Каменскую, к мятежникам Подтелкова? И которого осудили у вас тогда же к расстрелу?

— К сожалению, ваше превосходительство, тот самый, — повинился Крюков. — Но... ведь то был самый первый момент всеобщего помешательства, революция многим представлялась девой почти божественной, не знавшей первородного греха! А теперь он истощен, сломлен, стар... и после помилования, надо полагать...

— Категорически не советовал бы вам, Федор Дмитриевич, затевать подобный разговор именно в данное время. Даже несмотря на решительные успехи на фронте, — вдруг прервал его объяснения генерал, не переменив выражения любезности на своем лице и непринужденности позы. — Не дай бог дойдет все это до Антона Ивановича, весьма ревниво принимающего всякие областнические и сословные веяния на Дону и Кубани! — И, уловив новую попытку Крюкова что-то объяснить и уладить, его робкое непонимание, смягчился до шутливого тона: — Прекраснодушие ваше, Федор Дмитриевич, попросту не знает границ! Выбрали, что называется, время! Все силы напряжены, успех держится исключительно на моральной силе войск, которые численно значительно уступают врагу, на доблести офицерства... Когда не только распускать вожжи, но даже подумать о каком-либо размягчении...

— Но именно поэтому! — воскликнул Крюков.

— Именно поэтому я и прошу вас... — тихо, но внушительно предостерег генерал Кельчевский, вставая с мягких кресел и тем давая понять исчерпанность темы и даже всей, так хорошо начатой беседы. — Именно потому, Федор Дмитриевич. Как лицо военное и отвечающее за многое в нашем общем деле, я прошу вас. Впрочем... если только одно дело бывшего полковника Седова беспокоит вашу совесть и, что называется, «не дает жить», то употребите рвение свое как-нибудь частным порядком. Через начальника гарнизона или начальника тюрьмы, что ли. Дабы в этом не было даже намека на изменения в общей политике нашей по отношению к врагам веры и отечества. В остальном, как было условлено, я к вашим услугам...

Крюков вышел от генерала смущенный и подавленный. Его смутила обида генерала Кельчевского и насторожила неприятно оброненная фраза насчет того, что «Антон Иванович весьма ревнив ко всякого рода областническим веяниям на Дону и Кубани...». Разве

все это не кончилось с выходом в отставку генерала Красиова и его начальника штаба Полякова? Все еще продолжается грызня мелких самолюбий?

Он не успел как следует успокоиться, отогнать дурные мысли, как вернулся из Таганрога его посланец Жиров, изрядно пропылившийся, потный и злой. Расстегнув не только мундир на все пуговицы, но и ворот закалевшей от пота рубахи, Борис Жиров (всегда вообще-то предупредительно-вежливый около Федора Дмитриевича) вдруг плюхнулся на жесткий диванчик в редакции и закрыл лицо толстыми ладонями.

— Что-то ужасное! Что-то такое творится в мире, хоть камень на шею да с обрыва! Вы не представляете, Федор Дмитриевич!

Крюков выжидающе смотрел от стола, держа снятое пенсне в слабых пальцах.

— Что-нибудь... в пути? — спросил он ради того, чтобы успокоить подъесаула.

— Да... Сначала там, в Таганроге, но это лишь прелюдия! — воскликнул Жиров, отнимая ладони от своего лица. — Этот бывший полковник генштаба, недавний краском... Всеволодов! Негодяй! Отказался что-либо говорить для нас! Именно: д л я н а с! Никакого интервью, говорит, для Новочеркасска, для казачьей прессы! Так и сказал, представьте: «Все казаки поголовно в душе — красные! Большевики либо сочувствующие им!» Такое вот убеждение высказал! А? Как вам это?

Жиров достал несвежий носовой платок и вытирал им жаркое лицо и толстую, налитую кровью шею. Его горячее дыхание достигало Федора Дмитриевича.

— Видно, он еще не успокоился... после бесед с самим Троцким? — спросил Крюков. — Или, может быть, из зависти к Миронову?

— Возможно. Ненавидит, как любого врага, этого изверга Миронова, и насчет конницы Блинова еще... Если бы не было конницы Блинова, говорит, 9-я армия была бы теперь истреблена!

— М-да, — покачал головой Федор Дмитриевич, сожалея о непоправимо испорченной репутации его ближайших земляков с Верхнего Дона.

— А истоки подобных умонастроений и распрей душевных, Федор Дмитриевич, прояснились только в пути обратном, в Ростове! — сказал Жиров, даже не собираясь менять своей расстегнутой на все петли, расхлябанной позы. — Нынче ночью в гостинице «Сан-Ремо» убит, как говорят, контрразведчиками... председатель Кубанской рады Рябовол. Прямо после заседания Юго-Восточного союза! Вот в чем истина всеволодовского неприятия казаков! Вот где! Кто бы подумал?!

Федор Дмитриевич надел пенсне слабой рукой и снова снял. Свет мерк перед глазами, весь мир переворачивался кверху дном.

— Нашей контрразведкой? То есть... деникинской? Именно. Это скорее всего так и было, — соглашаясь, кивнул он. И наконец извинил внешнюю расхлябанность поэта-неудачника Жирова. — Именно. И все, знаете, очень по-русски. Кому же иному придет в голову... м-м... из-за тактических мелочей... в горящем доме, на пожаре, когда ваш общий дом горит, именно в этот момент и выяснять отношения? Сводить счеты с родственниками!

— Страсти-мордасти, — сказал Жиров упавшим голосом.

— Что же делать, господи? — вслух взмолился Федор Дмитриевич. — Научи и вразуми!..

ДОКУМЕНТЫ

Из Биографической хроники В. И. Ленина

Сентябрь, не ранее 16-го.

Ленин получил через Особый отдел ВЧК выписку из белогвардейской газеты «Утро Юга» (Екатеринодар) от 17(30) июля 1919 г. с текстом статьи бывш. командующего 9-й Красной армией Н. Д. Всеволодова «Разгром южных советских армий»...

Из статьи Н. Д. Всеволодова

...В общем силы советских войск на всем Южном фронте по своей численности превосходили Добровольческую и Донскую армии в четыре раза, а на ударном участке Луганска не менее как в шесть раз. Техника была всецело на стороне советских войск... В советских верхах царила полная уверенность в успехе...

К этому же времени... относится взрыв общего восстания станиц (Еланской, Вешенской, Мигулинской и Казанской)... Из центра последовал ряд легкомысленных приказов подавить восстание — сначала в 3-дневный, а потом в недельный срок... Однако некоторые тайные союзники, офицеры генштаба, состоящие на военной службе у красных, но на деле не склонные служить им, сделали все возможное, чтобы дать развиться этому восстанию в полной мере.

Благодаря умышленному распоряжению штаба 9-й армии, ударная группа была сосредоточена, вопреки приказу фронта, не у Божедаровки, вблизи 8-й армии, а у Усть-Белокалитвенской, удаленной от 8-й армии на 100 верст, с целью нанесения ей отдельного поражения.

26 мая командующий 13-й армией Геккер донес во фронт, что отступающую армию остановить нет сил: люди митингуют, арестовывают своих командиров, были случаи расстрелов, с поля сражения исчезают целые команды и батальоны... В 13-ю армию прибыл сам Троцкий. Вид его был ужасный. Начались аресты и массовые расстрелы.

4 июня в штаб 9-й неожиданно приехали две следственные комиссии. Одна из Козлова и другая — прямо из Серпухова, от Троцкого. Первая сделала обыск у меня и в штабе (час ночи), но обыск не дал никаких результатов. Я сказал, что ожидаю большой налет вражеской конницы. Комиссия убралась в тыл, в Балашов.

С занятием [повстанцами] Усть-Медведицкой положение 9-й армии стало катастрофическим. В результате 5-дневных боев армия Хвесина была наполовину разбита. Хвесину дали неограниченный отпуск. Вместо Хвесина прибыл известный Миронов, бывший полковник. Назначение его состоялось опять-таки по представлению Сокольникова.

Миронов прибыл в Себряково 4 июня [ст. ст.] и отсюда разослал телеграммы казакам УМО и Хоперского округа, призывая их стать в ряды советских войск. Чтобы не дать произвести эту мобилизацию, назначенный насильно новый командующий 9-й армией решил немедленно отвести армию от Усть-Медведицы к Елани и Красному Яру.

Понятно, что Миронову пришлось мобилизацию казаков прекратить.

С отходом 9-й армии на Балашовском направлении образовалось два грандиозных прорыва, в которые и хлынула Донская армия...

19

Екатеринодар, 14—31 июля

...Миронов стоял на Красной площади Москвы, прямо напротив Спасской башни, и смотрел на зубчатую красно-кирпичную стену, на серый каменный кругляш Лобного места, старые камни брусчатки. Чуть правее, ближе к Историческому музею, чернели чугунные литые фигуры двух великих граждан России, Минина и Пожарского, и высоко воздетая рука нижегородца Минина с властным захватом пальцев как бы останавливала и сдерживала на этой упредительной черте всякого пришельца и гостя: остановись, человек, и прочувствуй, каков град перед тобой, в какой стране, какая даль времен опочила на этой неприступной стене, на древних башнях, на плывущих по небу куполах и затейливой вязи храма Василия Блаженного! И не только чужестранных гостей и пришельцев остерегала в чем-то срединная площадь России с ее великими мужами Мининым и Пожарским, но и своих граждан приглашала задуматься и постоять в глубоком молчании перед строгой высью ее башен, перед незыблемостью лобного возвышения, навсегда впечатанного в каменистую твердь близ Покровского храма...

Стоял Миронов спиной к Главным торговым рядам, заколоченным досками, смотрел с глубоким чувством на башни и купола, на памятник Русской Смуте и Русской Доблести и почти бессознательно, попутно вычерчивал и определял на брусчатке ту дорожку, по которой везли когда-то из-за ближнего поворота, с Варварки, к Лобному великого донца, любимца России атамана Степана Тимофеевича Разина. И видел будто, как толпилась стрелецкая и посадская столица в оцеплении стрельцов и служилых людей, как вытягивала от любопытства шеи и сдавала на две стороны, чтобы дать узкий проход е м у к главной точке, той самой, где рубят непокорные головы. Как в песне: «Той дороженькой на плаху Стеньку-Разина ведут...» Но, между прочим, говорили, что в этот последний Первомай здесь было большое торжество, на Лобном месте выставлялся деревянный памятник Разину и его верной ватаге, рубленный каким-то большим художником из народа, и вокруг в почетном карауле стояли две конные сотни красных казаков с алыми флажками на пиках под командой председателя Казачьего отдела ВЦИК. И сам Ленин говорил речь с Лобного места о Степане Разине, революции и судьбах русского крестьянства. Жаль, не нашлось времени весной приехать сюда, послушать.

Но, как знать, нынче его вызывали прямо к председателю ВЦИК, Всероссийскому старосте Калинину, и пропуск уже был заготовлен в ближнем окошке — бери и проходи в главное правительственное здание Советской России, над куполом которого, на большой высоте, день и ночь ало струится на ветру стяг Революции... Проходите, товарищ Миронов!

За Боровицкими воротами — древность, соборы, Грановитая палата, царь-колокол с отколовшимся краем, царь-пушка с громадными ядрами при ней, а в небе — золотые кресты Ивана Великого... Все знакомо по книжкам и снимкам «Нивы», песням и преданиям старины, и все до странности простое и как бы обыденное, «свое», волнующее душу этой своей обыденностью.

— Товарищи, а где тут Казачий отдел ВЦИК?

— Говорят, в бывшем здании Судебных установлений, там же, где Совнарком. На втором этаже спросите у дежурного...

Тишина в узком коридоре, и в самом конце — распахнутые двери, за ними потрескивает машинка, дежурный у телефона знакомо смягчает окончание слов: «стоить», «пишеть»... А в глубине — одна-разъединая душа, комиссар по казачьим делам Республики Матвей Макаров, знакомый с прошлой осени, когда разъезжал по фронту...

— Давно надо было заглянуть, товарищ Миронов... — смеется дружелюбно.

Крепко пожали руки один другому, прицелились заново, Макаров вновь засмеялся озорно, словно ближний казак-односум:

— Раньше бы, говорю, надо побывать у нас, товарищ Миронов, верно?

— Где уж нам! Слухом пользовались, что вы тут все из пролетариев, служилых офицеров не очень-то жалуете! — принял этот староказачий, полушутливый тон Миронов.

— Ну, смотря кого! Теперь подход сугубо индивидуальный, товарищ Миронов. У нас и есаулы служат исправно, а в генеральном штабе и полковники и генералы сидят. Но и заслужить перед революцией надо, с каждого кое-какой спрос есть. Подозрительность в иных случаях даже вполне определенная и объяснимая.

— Это и мы чувствуем. Часто даже с обидой, — сказал Миронов, сдвигая фуражку на затылок, вытирая вспотевшее лицо и шею платком. — Плохо! Вы тут разве не заметили до сих пор, что по сути дела к нам, красным казакам, повсюду двойственное отношение? По декретам одно, по директивам на местах — совсем другое?

Заговорил Миронов, как всегда, открыто, отчасти и с вызовом:

— Ты тут зачем сидишь, товарищ Макаров? Чтобы в Кремле «типичность» наружную демонстрировать со своим чубом и лампасами и прочей бутафорией или затем, чтобы правительственную линию держать? Слышали небось, какие пироги-бурсаки испеклись под Вешенской? А вы куда смотрели, пока Миронова дома не было?!

Макарова же не стесняла такая прямота, он тоже был не из робких.

— Присядем, Филипп Кузьмич... Поговорим.

Машинистка принесла на подпись какую-то бумагу, Макаров положил в папку, не читая, чувствуя горячее внимание Миронова.

— То, что вам на местах больно, то у нас тут как удавка на шее. Мы тут, можно считать изо дня в день сидим в немыслимой обороне, как второстепенный отдел, и вас обороняем, и нет никаких сил за всем поспевать. Вы поймите, что происходит! Декреты вырабатываются основательно, с общего мнения, даже от вас визу иногда требуют. А директивы-то ныне каждый подотдел в губернии насобачился писать по своему разумению — и до дюжины в сутки! А? Решения VIII партсъезда по крестьянскому вопросу, прямо говоря, не везде выполняются, саботируются, так где уж тут о наших, казачьих болях говорить!

Разговор начался долгий и откровенный. Макаров поведал вовсе удивительную историю с Урала, где до сих пор шла тяжелая, яростная борьба с Дутовым.

— Там у них во главе областного ревкома такой Ермоленко поставлен, двадцати лет «теоретик»... Конечно, из иногородних. Всех казаков, какие в руки попали, посажал в тюрьму, а Уральск между тем оказался в полном окружении белых... Послали мы на подмогу отсюда Ружейникова, он родом уральский казак, по образованию врач, большевик с девятьсот пятого. Так он с правительственным мандатом обломал руки тому Ермоленко, выпустил из тюрьмы арестованных — а их, между прочим, более двух тысяч! — сорганизовал их на конную бригаду — красную! — и обрушился на генерала Дутова, с того только перья посыпались! Теперь гремит по всему нашему фронту этот отряд Почиталина! Ну что ты с ними, ермоленками, будешь делать!

— У нас на Дону свой такой есть, Сырцов, — хмуро кивнул Миронов.

— Кабы только у вас! Везде копья ломаются! Еще 25 апреля мы просили ВЦИК объявить поголовную мобилизацию донцов, и Калинин нас поддержал. Ведь ясно же: не охватим станиц мы, заберет их Деникин! Так нет, Реввоенсовет потребовал гарантий: а ну-ка вооруженные казаки вдруг побелеют? В мае вновь писали, давали гарантии, ссылались на дивизии Миронова и Думенко. Глупость же, а приходится делать, потому что Троцкий — власть, и немалая. Хорошо, приехал с Волги предревком Ульянов, пробился к Ильичу, пошло дело в Наркомвоен. Но Деникин-то тем временем успел отрезать весь Второй Донской округ... Так и варимся в этой каше.

Миронов напился холодной воды из графина, охладил ярость. Спросил глухим, севшим голосом:

— А нельзя ли лично с Лениным объясниться? Чтобы он образумил кое-кого? Ну... из штатских военных?

— Видишь ли, решения-то вырабатываются коллективно, на то и называется С о в е т Народных Комиссаров! Сложно, Филипп Кузьмич. Бывает, что на важном каком-нибудь совещании и голосов не соберешь. По Бресту знаешь как было?

— Но вы же тут партийные люди, — не захотел понимать этих сложностей Миронов.

— Тем и заняты, тем и озабочены, Филипп Кузьмич. Поверь, что хлеб даром в Республике никто не ест. Работаем, спорим, а то и деремся в меру сил... Терпение и труд, как говорится.

— М-да... — пожал плечами Миронов.

— Очень крепкие узлы завязаны, тут кавалерийской атакой ничего не решишь, — настаивал на своем Макаров. — А программа у нас такая. Попросим вас, как очевидца с фронта, с фактами в руках доложить у председателя ВЦИК. Михаил Иванович нас уже ждет. Белые вот-вот окончательно прорвут фронт, там у них Мамонтов и Шкуро как звери... Я со своей стороны приложу доклад Ружейникова. А когда получим правительственное решение о красной казачьей кавалерии, то уж... никому не под силу будет раскачивать нас на тонкой веревке. Так-то! Завтра вечером прием у Калинина, а пока, Филипп Кузьмич, отдыхайте, готовьтесь к докладу! — И посмотрел в глаза Миронова настойчиво, с внутренним напряжением, как будто хотел выразить нечто невысказанное. Указал на пустые столы в отделе: — Места для вас хватит, занимайте любой. Всех разогнали на места, по станицам и округам. Мошкаров и Тегелешкин и командир охраны Гаврил Харютин — на Дону, Ружейников до сих пор в Уральске, а кубанца Шевченко аж на Колчака послали, он там инспектором кавалерии фронта. Воюем...

Посмотрел на карту фронтов, висевшую на стенке, и вдруг спохватился, вспомнил еще важную подробность:

— Да! Тут недавно заходил из «Правды» наш общий земляк, писатель Серафимович! Тоже пришлось поговорить с ним немало о восстании. Ну и просил, когда вы будете в Москве, чтобы его известить что ли...

— С большой радостью, — сказал Миронов. — Тем более что перед отъездом пришлось видеть его сына. Позвоните, пожалуйста. Я с ним даже знаком был, вообще говоря. Если, конечно, не забыл старик с тех пор...

Сколько же прошло лет? Больше десяти? Если иметь в виду последнюю встречу их в Петербурге, у Крюкова в номере? И какие события размахнулись на полсвета, отделили наглухо от того, прежнего мира и той, прежней жизни?

Снова гостиничный подъезд (только без швейцара и услужливых коридорных), неработающий лифт, квартира-номер на третьем этаже. Временная обитель писателя и журналиста, корреспондента «Правда», просиживающего за письменным столом до полуночи...

Устал, сморщился, поседел Александр Серафимович за эти тринадцать лет! Не тот бритоголовый крепыш, каким видел его Миронов в Петербурге, поизносился человек... «Наверное, и я тоже не тот подъесаул с маньчжурских полей, каким представлялся перед его очами расторопным Федором Крюковым», — подумал вскользь Миронов, пожимая крепкую пока еще руку постаревшего земляка.

Обрадовался Серафимович, узнав, что Миронов только что с позиций под Калачом и Бутурлиновкой,

тут же напомнил о сыне, сразу завязался разговор о близких и знакомых, погоревали вместе о Сдобнове (говорят, эта деникинская шлюха после, на допросах в Чека, во всем призналась...) и снова, разумеется, о сыне:

— Как он там? Хорошо бы — при вас его оставили, чтобы ума набирался около зрелого командира.

Можно было понять отцовские чувства, но разве нынешнее время и нынешние события с чем-нибудь считаются?

— К сожалению, его уже перевели куда-то под Царицын... — сказал Филипп Кузьмич. — Корпус расформировали, получил назначение в 6-ю кавдивизию, кажется, бригадным комиссаром.

— Там, под Царицыном, наверное, будут теперь ужасные бои?

— Сильные бои будут теперь по всему фронту. Деникин взял инициативу в свои руки, наступает, — сказал Миронов.

— Да, да. Так вот случилось...

— Не без нашего любезного «соучастия» в чужих успехах, — едко добавил Миронов. И Серафимович, в короткий миг внимания оценив выражение его лица, как-то затормозился весь, то ли очнулся от никчемных хозяйских обязанностей (говорить либо о пустяках, либо о сугубо личном), и пошел к двери заказать какой-то ужин, объясняя на ходу:

— Вы знаете, я в последнее время... по этому поводу совершенно в расстроенных мыслях... Но постойте минуту, я схожу закажу чаю.

Чай скоро принесла в большом эмалированном кофейнике пожилая уборщица из кубовой, но разговор сложился не сразу. Как бы ощупью, вслепую подбирал нужные слова и фразы Александр Серафимович, обнаруживая некую нерешительность, а может быть, и неполную проясненность жизненных наблюдений и выводов, которые так стесняли его. Да и не хотелось, чтобы эти наблюдения вывалились на гостя в форме сплошных жалоб...

Очерков о поездке по родным местам, самых животрепещущих и актуальных размышлений о положении крестьян, о причинах вешенского восстания (после триумфального шествия советских войск и злостных ошибок Гражданупра) никто решительно не хотел печатать. Говорили, что он «сгустил краски» и «положение не столь уж кричащее», что, мол, нынче «иных забот полон рот» и что, наконец, проводится в жизнь измененная политика VIII партсъезда по крестьянскому вопросу и надо просто подождать новых фактов позитивного характера. Розалия Самойловна Землячка, его наставница и покровитель, серьезно огорчилась, когда он стал с горячностью жаловаться на новую совбюрократию, которая не хочет-де слушать никаких доводов разума и совести. «Что вы, что вы, дорогой мой Александр Серафимович! Что вы! Есть куда более насущные проблемы, задачи и, наконец, интернациональные связи! С казаками все ясно, а вы, дорогой, определенно устали. Нельзя так стихийно и безотчетно вымолачивать здоровье, помилуйте! Нет, нет, и не пытайтесь, пожалуйста, спорить! Ваше здоровье — достояние общее, партийное, если хотите! Сегодня же поезжайте в Ильинское. Вы знаете, мы недавно открыли в бывшей княжеской усадьбе, здесь, под Москвой, нечто вроде санатория для пожилых и просто уставших работников, бывших политкаторжан и по линии МОПРа... И вам следует месяц-другой побыть в тишине, под наблюдением врачей. Ну же, соглашайтесь, дорогой Александр Серафимович! Я вам устрою путевку непременно!»

Он отказался и ушел разъяренный и раскаленный, с больным сердцем и вот уже несколько дней места себе не находил. А тут еще сын как-то напомнил в письме с фронта: «Папа, как со статьей о казаках? Кровно необходимый материал для политработы!»

Но что же он мог сейчас сказать Миронову, сугубо военному человеку с передовой, далекому, возможно, от этих «внутренних» борений и разногласий? Да и удобно ли?

Пили чай, смотрели испытующе друг на друга, почти как чужие, и что-то уже назревало, открывалось в этом молчании, какая-то подспудность мысленная... Серафимович сказал по-стариковски бурчливо, уклончиво:

— В Ильинское хотят меня запрятать, в санаторий для политкаторжан, представьте... Подальше от больных вопросов!

— Это где? — как хороший военный, тут же осведомился Миронов.

— Бывшая усадьба великого князя Сергея Александровича, которого тогда убил Каляев... Помните? Да. Близко, но — подальше от дел.

— Меня вон на Западный фронт перебрасывали. Такая у них политика, — кивнул Миронов. — Сразу-то и не разберешься, а потом проясняется...

Он был, оказывается, не очень-то провинциальный человек, тоже следил за ходом событий в центре. И что-то прорвалось, не выдержал Серафимович, заговорил:

— Знаете, когда-то в отрочестве и далекой юности я был страшно религиозен. Да. Часами стоял и мотал рукой перед иконой... И что странно, вера моя почему-то не приносила просветления, высоты, благодати, как это бывает в церкви, на торжественном богослужении. Была в моей вере какая-то тяжелая и жестокая, как туча, угроза. Что-то было не православное в ней, а скорее католическое, страх божий... Так вот и сейчас ощущаю я нечто похожее, когда в недрах новой нашей системы проясняется иной раз некое чуждое течение, что ли... Не знаю пока, как его назвать даже: фракция, уклон, крыло — или как? Во всяком честном начинании словно натыкаешься грудью на острое, всякая верная идея исподволь доводится до абсурда...

Миронов слушал внимательно, молча, но отчего-то болела душа, когда он угадывал знакомые наблюдения и выводы, которые подтверждали и его собственные сомнения.

— Вы нашли верное сравнение, — сказал он. — Католичество под личиной православного миссионерства. Без учета каких-либо интересов и мнений обращаемых низов...

— Да! — сокрушенно вздыхал Серафимович. — Иной раз сдается даже (дай бог, чтобы я ошибался!), что среди нас же, на политическом уровне так

сказать, суетятся людишки, которым как будто на руку все эти бедствия и лишения простонародья, вся эта разруха. Но зачем? К чему? Не могу понять, хоть убей! А наряду с тем все новые и новые факты подобных действий, отсекание всего живого, внесение хаоса, глушение памяти... — Шумно вздохнул, задумался и спустя время добавил: — Не могу ничего простить и старой русской интеллигенции! Ушли от дела, насмехаются тайно, саботируют, а ведь «свято место пусто не бывает»! Значит, приходят другие, вместо Репина учит картины писать теперь какой-то Татлин, не слышали? А этим другим будущность России если и нужна, то лишь из корысти!

— Где теперь Владимир Галактионович? — вдруг спросил Миронов.

— Короленко-то понимает все, он не уступил своего места. По возрасту, к сожалению, уже не может витийствовать, но все же подает голос из родимой Полтавы, — сказал Серафимович. — Осенью образовал Всероссийскую лигу спасения русских детей. Статья была «На помощь русским детям!». В Киеве и Полтаве собрал несколько эшелонов продовольствия для Москвы и Питера, но это капля в море...

— В общем, как я вижу, придется еще России начинать все сызнова, от первого камушка, — сказал Миронов. Подумал и добавил, к слову: — Завтра, между прочим, нас принимает Калинин.

— Это хорошо, — кивнул Серафимович. — В случае чего можете сослаться на меня и мои неопубликованные очерки с Дона. Да. Вообще, какие-то общественные выводы уже носятся в воздухе, и пора им найти выход.

Миронов и сам понимал, что возникает для него полная возможность прямо на высшем уровне, у Всероссийского старосты, как называли Калинина, прояснить сущность и первопричины всех нынешних затруднений на фронте и даже в тылу, в жизни всего рабоче-крестьянского мира...

Пронзительные, несгибаемо твердые во взгляде, жесткие глаза Ленина.

Они смотрели проницательно, без привычной портретной улыбчивости, и чувствовалось, что он видит и понимает тебя насквозь.

Миронов стоял перед Лениным, ответно не опуская взгляда, и докладывал о положении на Южном фронте, о вешенском восстании и его внутренних причинах, недопустимости затягивания в деле организации красных казачьих частей, о вреде длительной продразверстки для крестьянского хозяйства, которая допущена лишь в качестве «крайней меры» в прошлом году, но вот уже входит чуть ли не в постоянную практику как универсальное средство... Здесь явная опасность: к продразверстке в верхах уже привыкли и рассчитывают на эту «универсальную бессмыслицу» не только в текущем году, но и в будущем...

Миронов, конечно, не готов был докладывать именно у Владимира Ильича. Но так получилось. Когда Калинин пригласил к себе членов Казачьего отдела с Мироновым, чтобы перед заседанием ВЦИК ознакомиться с их просьбами и ходатайствами, раздался телефонный звонок от Ленина. Состоялся короткий разговор, Михаил Иванович сказал, что у него делегация казаков, и Ленин, несколько нарушив собственный распорядок дня, пригласил всех к себе. Казаки вместе с Калининым перешли в кабинет Председателя СНК и Совета Обороны, и доклад пришлось начать здесь, у Ленина.

Конечно, возникло немалое затруднение для Миронова: мгновенно сократиться вдвое и вчетверо. Здесь, как и на Высшем военном совете, не полагалось длинно рассуждать и отдаляться в пространные мотивировки. Надо оперировать предельно сжатыми тезисами, выводами из практики. Ну и помимо всего следовало же полностью скрыть естественно возникшее напряжение и волнение. Не кашлянуть невпопад...

— Мы слушаем вас, товарищ Миронов. С вашей докладной с фронта мы также ознакомлены, — чуть грассируя, сказал Ленин, имея в виду всех присутствующих, и положил на видном месте стола свои карманные часы с ремешком. Ремешок был старый, поношенный, рабочий, и это почему-то понравилось Миронову, отчасти даже и вдохновило. «Речей поменьше, дело в первую голову» — так можно было понять этот жест Ленина.

— Гражданин Владимир Ильич! — сказал Миронов своим глуховатым, несильным голосом, упорно придерживаясь излюбленного своего обращения «гражданин» в любом случае, считая слово «товарищ» лишь дружеским, внеслужебным... Гражданин — вот истинное обращение революционеров со времен Великой французской революции и Парижской коммуны, способное в полной мере заменить отпавшие старые обращения вроде «господа» или приподнятое «милостивые государи»...

— Гражданин Владимир Ильич! В феврале войска Южного фронта, в частности ударная группа войск 9-й армии, могли — имели к тому полную возможность! — покончить с белым Новочеркасском и всей контрреволюцией на Юге...

Передохнул, вновь встретился с очень внимательным, несколько настороженным, без улыбки прищуром Ленина. Его слушали с повышенным вниманием. Тут важно было всякое слово, интонация даже... Пробежал глазами по строчкам слишком многословного своего доклада, выбирая основное и главное.

— Провал допущен исключительно по вине красного командования в верхах, Деникину просто дали такую возможность, передышку для контрнаступления. Причин две: ненужные реорганизации частей и штабов в самый решительный момент нашего наступления и неправильное, предвзятое и глубоко ошибочное отношение политических органов и Граждупра к коренному казачьему населению, безусловно поддерживающему Красную Армию и Советскую власть...

Миронов ждал, что в этом месте Ленин прервет,

заметит, что все это достаточно известно, но его пока что не прерывали.

— Не только на Юге, но даже в центральной печати, товарищ Ленин, то и дело мелькают фразы и даже своего рода установки о казаках как о какой-то единой, в прошлом полицейской касте, хорошо оплачиваемой за службу царю и буржуазии! Но это ведь не так, такого рода кастой можно считать только офицерство, да и то не поголовно. Рядовой казак — это обыкновенный крестьянин, приученный к коню, и не более того...

Позволил себе усмехнуться по поводу другого примера:

— В печати следовало бы изъять и такие ошибочные сведения, как сообщение о «среднехозяйском казачьем наделе» земли в пятьдесят десятин. Цифра взята из старых энциклопедий, где в расчет приняты все войсковые земли, включая помещиков и крупных арендаторов, и вот эти пятьдесят десятин морочат всем головы, в особенности среднерусскому крестьянину, для которого з е м л я не только средство существования, но и объект религиозно-экстатического поклонения...

Владимир Ильич здесь оживился, и мелкие морщинки брызнули от глаз, появилась усмешка и под усами. Этот Миронов, как видно, не прост, поскольку такая «обобщенная» цифра в пятьдесят десятин упоминалась и в его, ленинской, работе. М-да... Ленин вновь с оживлением усмехнулся и кивнул с поощрением:

— Действительно, нет ничего глупее так называемых «средних цифр»! У меня, допустим, сто рублей, у вас ничего, а в среднем мы имеем, конечно, по пятьдесят! Продолжайте, мы вас слушаем.

— Еще 16 марта я подал из Серпухова докладную в Реввоенсовет Республики и Казачий отдел, где высказывал свои соображения насчет того, как привлечь основную массу населения Дона на нашу сторону. Мне известно, Казачий отдел полностью поддерживает эти предложения. Что касается Реввоенсовета, то никаких откликов мы оттуда не имели, а Граждаупр как его рабочий орган придерживается до сего времени противоположных взглядов. Этим и объясняются наши неуспехи на фронте в последнее время. Я, разумеется, не касаюсь тут внешних причин вроде Антанты и международных заговоров против русского народа... Мой вывод, как практика с фронта, поддерживаемый Казачьим отделом: нужны срочные формирования казаков, не раз доказавших свою преданность либо лояльность, — корпус или даже конная армия — для освобождения всей области от Деникина. Нужно веское поощрение для красных казаков, которые испытывают до сей поры некое ущемление... Июньский декрет не везде выполняется, а чаще саботируется все тем же Граждупром! Товарищ Ленин, окраины Дона как в мае прошлого года, так и весной нынешнего подверглись разгулу провокаторов, влившихся в огромном числе в тогдашние красногвардейские ряды, — продолжал Миронов. — Я имею в виду анархистов и просто деклассированные элементы, отходившие с Украины...

Это тяжелая драма фронтового казачества, которая будет когда-нибудь освещена беспристрастной историей. Среди сотен расстрелянных и сосланных было много невиновных. Революция сделала такие углубления, что бедный ум станичника бессилен разобраться в совершающихся событиях... Наконец, всякие глупости в «Военных известиях», что русское казачество не что иное, как зоологическая среда... Надо ввести военную цензуру для подобных теоретиков.

Ленин вновь усмехнулся и теперь уже откровенно посмотрел на свои часы с потертым, стареньким ремешком. Миронов говорил более пятнадцати минут — небывалый регламент в этом кабинете.

Закончил глуховатым от волнения голосом, как и начинал:

— Владимир Ильич, мне поручается формирование конного корпуса. Прошу оказать всемерную поддержку, чтобы я в короткий срок смог перехватить инициативу из рук белой армии на Южном и Донском фронтах, чтобы прекратить казни наших людей в тылу Деникина и отвоевать нынешний урожай хлеба у нас на Юге и в части Воронежской губернии. Пока еще не поздно. — Миронов сделал шаг назад и, опустив руку с бумагами, добавил как бы от себя лично: — Я знаю, существует недоверие ко мне, как к бывшему старому офицеру. Я человек действительно уже пожилой, старого закала, мне претит и не по душе некая анархия у нас... Но кто бы обо мне чего ни лгал, я торжественно заявляю здесь, перед лицом пролетариата, что делу его не изменял и не изменю ни при каких условиях! А что касается людей подозревающих и не понимающих, в сущности, коммунистической идеи, то не мне одному от этих толкователей тяжело и больно, а больно, думаю, всему трудовому крестьянству.

Владимир Ильич мельком глянул на часы, потом на бумаги — перед ним лежали неоконченные странички обращения «Все на борьбу с Деникиным!» — и заметил, лично для Миронова:

— Относительно крестьянского вопроса и продразверстки, мне кажется, на местах все еще допускаются нарушения линии VIII партсъезда и перегибы, с которыми надо бороться самым жесточайшим образом. Вот последняя резолюция Моссовета на этот счет. — Ленин взял из ближайшей папки бумагу и прочитал вслух: — «Все силы напрячь для помощи среднему крестьянину и пресечения тех злоупотреблений, от которых он так часто страдает, для его товарищеской поддержки. Такие советские работники, которые не понимают этой единственно правильной политики или не умеют провести ее в жизнь, должны быть немедленно смещены». И еще... — Владимир Ильич обернулся теперь к Калинину: — Надо уже теперь оповестить через газеты, а может быть, и по телефону, что твердые цены на хлеб предполагается увеличить втрое, возможно, даже в пять раз! Это во многом решит наболевшие вопросы.

Миронов переглянулся с Макаровым и кивнул согласно.

За время короткого доклада по частным репликам и справкам, вроде последней, открылась Миронову самая характерная черта Ленина: понимать суть вопроса на всю его глубину, брать проблему в ее взаимосвязях с другими, менее острыми, которые могут выявить себя назавтра. Ленин обезоруживал собеседника не возражением, не силой своего интеллекта, а лишь пониманием и сочувствием к правоте.

Владимир Ильич между тем взглянул на Макарова и Миронова и добавил с едва заметной усмешкой:

— Что касается нерасторопности с мобилизацией казаков, то всю вину на Реввоенсовет возлагать, товарищи, все же не следует... Мобилизация направлена была у нас прежде всего на неземледельческие губернии и те местности, где больше всего страдают рабочие и крестьяне от голода. Передвинуть мы их предполагали на Юг, и прежде всего на Дон... Обстановка, насколько вы знаете, резко изменилась, а Реввоенсовет не смог быстро перестроиться. Инерция. Но теперь, надо полагать, товарищи сделают для себя выводы. — Встал, пожимая всем руки: — Пожалуйста, приступайте к работе. Со всей энергией! Товарищ Миронов, через месяц ваш кавалерийский корпус должен заявить о себе!

Миронов молча склонил голову, принимая напутствие как приказ.

Проводив взглядом вышедших из кабинета Макарова и Миронова, Ленин с привычной доброжелательной усмешкой взглянул на Калинина:

— А такие люди нам очень нужны! Вы как полагаете, Михаил Иванович?

Калинин несколько скептически пожал плечами:

— Миронов — фигура все же довольно сложная, не без сословных предрассудков. Надо ему дать хорошего комиссара.

— Да, да, комиссара! — Ленин, расслабясь, откинулся на спинку своего жесткого кресла и вытянул руки на подлокотниках. — Комиссара — это очень важно, архиважно! Кстати, а кто у нас там возглавляет бюро, на Дону? Сырцов, кажется?

Калинин кивнул утвердительно.

— Послушайте, но мне кто-то говорил, что он троцкист? Отсюда, возможно, и все затруднения в политике на Юге? — Ленин внимательно взглянул в откровенно блеснувшие очки председателя ВЦИК. — Если это так, то чего же ему делать на Дону? Поговорите в Оргбюро, чтобы подумали о переводе куда-нибудь в иное место. Ну, к примеру, в Одессу. — И повторил, как решенное уже: — Да. Не забыть. В ближайшие перевыборы — в Одессу.

...В Казачьем отделе дежурный и машинистка поднялись навстречу, вопросительно смотрели на лица возвратившихся с доклада, желая предугадать возможные решения. Макаров ободряюще кивнул им, а своего спутника чуть приобнял правой рукой за плечи:

— Все! Завтра же начнем формировать корпус! А через месяц, как сказал Владимир Ильич...

— Через месяц этот «трехнедельный удалец» Мамонтов запрыгает у меня, как блоха на горячей сковороде! — властно и прямо сказал Миронов и хмуро взглянул на карту, размеченную красными флажками фронтов...

ДОКУМЕНТЫ

10 июля 1919 г.

Из протокола № 76

Слушали: О кооптации в члены Казачьего отдела ВЦИК казака Усть-Медведицкого округа Донской обл. Миронова Ф. К.

Постановили: С чувством глубокой и искренней благодарности к тов. Миронову за всю боевую деятельность по укреплению Советской власти и защите прав и интересов трудового казачества и принимая во внимание полную преданность тов. Миронова, засвидетельствованную не только словами, но и кровавыми боями с противником, причем тов. Миронов стяжал себе славу непобедимого вождя, КООПТИРОВАТЬ В ЧЛЕНЫ КАЗАЧЬЕГО ОТДЕЛА ВЦИК, использовать его знания, как военного стратега, на фронте действующей армии по усмотрению высших военных властей.

Для установления полной связи с тов. Мироновым... и для наилучшей политической работы командировать в помощь тов. Миронову члена Казачьего отдела ВЦИК по избранию последнего.

Принято единогласно.

Председатель *Степанов*[1].

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

На глухой железнодорожной ветке Верхняя Хава — Анна, под Воронежем, формировались в середине июля части красного Донского кавкорпуса. Сюда отведены были на отдых остатки бывших экспедиционных войск, к ним присоединялись первые эскадроны свежей мобилизации из Хоперского и Донецкого округов, с верховьев Медведицы, сюда же группами и в одиночку тянулись по степной грани казаки-добровольцы, голь и беднота из порушенных Деникиным станиц и хуторов, шли бывшие раненые из отпусков.

На станции Анна — штаб.

Вдоль обшарпанных, израненных вагонов расклеены повсюду печатные афишки — на белой, московской бумаге призыв Ленина: «Все на борьбу с Деникиным!», тут же рисованная фигура скачущего на тебя всадника с заломленной шашкой: «Пролетарий — на коня!», а чуть ниже отпечатанная еще в Бутурлиновке листовка Миронова на оберточной, соломенной бумаге о дисциплине в частях «Товарищ красноармеец!». Около штабного вагона и домика

---

[1] ЦГАОР, ф. 1235, оп. 82, д. 4, с. 62—63.

напротив столпотворение вавилонское: подходят новые отделения, отъезжают сформированные команды, кого-то обмундировывают, у кого-то изымают до осени теплые вещи, тут же встречаются земляки и бывшие односумы — шум, крики, объятия, горестные восклицания по сгибшим товарищам. Около дымившей полевой кухни, в которой кипела белым ключом осточертевшая пшенная каша, под вербой расселись обозники. Дядя в защитном картузе с надорванным козырьком и тусклыми глазами рассказывал хрипло, как отступала на Донце родная 23-я дивизия. Не рассказывал, а ругался и плакал, не стыдясь мужского окружения:

— Мыслимое ли дело! Тут этот Секретёв атакует как бешеный с фронту, а во фланге уже Гусельщиков начал рубить наших почем зря!.. Хоть стой намертво, хоть бяжи, одна смерть в глазах! Кабы не блиновцы, не сидеть бы тут, не горевать по дружкам-односумам. Блиновцы мало-мало оборонили фронт, спасибо им сказать бы... А все одно всю артиллерию, считай, кинули на том берегу! Тимофей Лукич Стороженко, сам ранетый, слезьми кричал: пушечки-то дорогие, пристрелянные, а и с тех не поспели замков снять! Да-а, было делов на том Донце с полой водой... А у Дона? Привезли нас, ранетых, сорок вагонов, выкинули по берегу и ходячих, и лежачих, и полумертвых — спасайся кто может! А тут уж ихние шашки из-за ближнего леска посверкивают, гос-с-споди... Стороженку в баркас брали, я и уцепился, а то бы...

Надорванный козырек защитной фуражки клонился, дядя вытирал глаза тылом ладони, обозники вздыхали тягостно.

На крыльцо вышел и наблюдал всю картину тощий ликом, усталый Кирей Топольсков, с перебинтованной и прижатой к животу на белой перевязи рукой. Ранен он был давно, еще в начале верхнедонского восстания, направлялся в свое время Сдобновым из Усть-Медведицкой с письмом в далекий Смоленск к Миронову, возил к нему заодно и двенадцатилетнего сынишку его, Артамона, и с тех пор оставался при командующем вроде ординарца. Мальчуган мироновский крутился тут же промеж взрослых, слушал рассказы у котла с варевом, и это особенно не понравилось Кирею.

На станции прокричал маневровый, стукнули с лязгом буфера, отводили куда-то порожняк. Топольсков с неудовольствием передвинул марлевую петлю поближе к запястью раненой руки, одернул с высоты порожков разговорчивого солдата:

— Чего старое поминать, служивый? Чего было — не вернешь, теперь по-другому надо воевать! Слыхал, какую силу ныне собираем? Ну вот и лады, не морочь другим головы, они и так у них заморочены...

Он оглядел широкое подворье, запруженное народом, ржавые рельсы с составом теплушек, приосанился. Надежда на скорый военный успех шевельнула уголки губ, подняла широкую грудь на вдохе: корпус формируем, не шутка! Да и настроение повсюду другое. Молва прокатилась по всему Дону: Миронов снова явился в родные края и — говорят все по станицам и хуторам — поручено теперь ему формировать большое войско, целую армию, а опосля заворачивать кадетов от Балашова и Царицына и опять, как прошлой зимой, гнать до самого Азовского моря! Оно и понятно, в Москве тоже умные головы есть, понимают: хоть кричи, а до холодов надо кончать всю эту заваруху, иначе все с голоду помрем... Оттого и собираются вот под Воронежем служилые люди без всяких повесток, бредут пешком, с пикой на плече, а кто и конно, на исхудавшей кляче, той же степной дорожкой, как и в прошлую весну, — к Миронову, к Миронову! Каждый надеется на прославленного командира, даже и бывшие дезертиры вылезают из яров и буераков, навастривают чуткое ухо из-под старой, замызганной богатырки: Миронов вроде заявился опять? Ну, так этот в обиду не даст, и обмундирует, и шашкой махать обучит, и кадюкам наведет карачуи в два счета, так не податься ли сызнова, братцы, под красную присягу?..

Вчера пришли эскадронами и полусотнями выбитые из мятежных станиц ревкомовские караульные части, при оружии, но здорово измождённые и израненные, — из Вешек привел бывший урядник и бывший же начальник красного караульного батальона Фомин, а из Казанки пришла сотня без командира, погиб в бою...

Хотел Топольсков обо всем этом сказать сидевшим у котла обозникам, да не поспел. Мирно сидевший у его ног, на порожках, постовой красноармеец с винтовкой резво поднялся и вытянулся по уставу, глядя вдоль путей. От станции к штабу шли двое — московский комиссар Трифонов, с козлиной бородкой и поблескивающим пенсне, и еще какой-то моложавый, ученого вида, подбористый штабист. Пришлось и Кирею козырнуть для порядка здоровой рукой.

— У себя Миронов? — спросил комиссар Трифонов. Сам он только возвернулся из Воронежа, отсутствовал дня два-три.

— Так точно, — сказал Топольсков. — С утра все интендантов гонял...

— Понятно.

Миронов, по-видимому, наблюдал всю эту сцену из окна, потому что именно в этот момент и вышел на крыльцо, пожал руки прибывшим. Особо пристально оглядел молодого человека в парусиновой куртке, рослого, хорошо сложенного, со светло-русыми упругими волосами на косой, ровный пробор. Миронова теперь всерьез занимало, что за люди прибывали к нему в корпус, с какими целями... На этот раз он ничего подозрительного или тревожного для себя не определил, а лицо молодого человека, бледноватое от канцелярской работы, с молодым пушком на месте усов, показалось отчасти даже и знакомым. Рука была твердой и уверенной в пожатии:

— Ефремов. Евгений...

— Ваш новый политкомиссар, — представил его Трифонов. — Направлен политуправлением Юж-

фронта и к тому же наш земляк. Должны бы сработаться...

Вот тут у Миронова и шевельнулось больное чувство под грудной костью «А вы? Почему вас-то забирают?» — хотел он спросить Трифонова, но это было неуместно, как-то по-мальчишески. Да и молодой человек его тоже заинтересовал.

— Это какой же Ефремов? Одного Ефремова приходилось видеть в Царицыне, кажется, член РВС 10-й армии, но... тот был вроде постарше?

— Тот Ефремов другой. Ефремов-Штейнман, — сказал Трифонов. — Тот приезжий человек, а этот нашенский. Прошу любить и жаловать, товарищ командир корпуса.

Миронов совсем успокоился. Пока что в этом перемещении он не мог усмотреть ничего дурного или опасного. Главное, Южный фронт, значит, еще считался с его пожеланием: не направлять в корпус никого из хоперских политиканов, весьма и весьма содействовавших всеобщему возмущению по станицам. Особенно Ларина, который прямо способствовал весной удалению Миронова на Западный фронт, писал разные докладные о неблагонадежности Миронова... Это теперь учитывается, по-видимому. Да и не могли в Козлове не считаться с большим мандатом Миронова, полученным в Москве с ведома Ленина и Калинина...

— Ну, хорошо, — кивнул Миронов. — А вы, Валентин Андреевич, теперь куда же?

Трифонов ответил лишь тогда, когда они вошли в помещение штаба, от глаз посторонних.

— Отбываю в Пензу, на новое назначение. Там, как вы знаете, должно быть, формируется группа Шорина, и мы со Смилгой прикомандированы к штабу группы, как члены Реввоенсовета. В группу входят целиком 9-я и 10-я армии, а также корпус Буденного и ваш, как только он будет сформирован. Сила большая, пора уже поворачивать Деникина вспять.

«Да, сила немалая, — подумал Миронов бегло. — Сила немалая, но пока что в основном на бумаге. 9-й армии, можно сказать, не существует в природе, 10-я отбивается от Мамонтова и Врангеля под Балашовом, сдав Царицын... Корпус Буденного вместе с кавгруппой Блинова исполняют роль завесы и почти не выходят из боев с превосходящими силами противника. Момент горячее некуда! Им, кавалеристам Буденного и Блинова, сейчас бы помочь, дать разворот и простор, но катастрофически запаздываем с формировкой!»

— Ну что ж! — с откровенным сожалением во взгляде по поводу штабных перемен сказал Миронов. — Не в обиду будь сказано, товарищ Ефремов: нам, как в старину говорили, «что ни поп, то и батька». Лишь бы службу знать. Как вы? В седле бывали? Мне — чтобы повсюду рядом, иногда и в передовых порядках, и в лаве чтобы не стушеваться. А?

Ефремов в первую минуту опустил глаза, а Трифонов подсказал, чтобы смягчить неловкость минуты:

— Он из бывших вольноопределяющихся с германской, неплохо обстреляи, говорят.

— Вы меня должны бы помнить, Филипп Кузьмич, — чуть побледнев от скрытой обиды и внутреннего напряжения, сказал Ефремов. — В хуторе Фролове, на станции Арчеда... На призыве, летом четырнадцатого. Вы с моим отцом вместе отбывали тогда в действующую армию, а я был еще студентом коммерческого в Петрограде, имел отсрочку и провожал там отца. Должны помнить.

— Сын Евгения Евгеньевича? — сразу переменил тон Миронов.

Боже мой, так это же совсем другое дело! Ефремовы — одна из самых известнейших фамилий на Дону. Когда-то их предки ходили даже в войсковых атаманах, теперь же, перед революцией, эта семья была в загоне, молодые пошли по ученой части. Некоторые были даже «социалистами», до революции подвергались гонениям, как и отец этого молодого человека!

— Вы, значит, тоже... Евгений Евгеньевич? Второй, так сказать? И в партии давно?

— По билету с января семнадцатого, но фактически ячейка у нас в Урюпинской организовалась года на два раньше. После уже Селиверстов ездил в Москву, и прямо на партийном съезде взяли эту ячейку на учет, отсюда и стаж, — очень подробно объяснил этот вопрос Ефремов.

— Так вы, значит, из урюпинских? — похолодел Миронов, имея в виду «хоперцев».

— Нет, я там был во времена Селиверстова. Но его, как вы знаете, белые живьем закопали в землю... С Лариным и компанией вовсе незнаком, — сказал молодой комиссар, сразу разобравшись в подоплеке вопроса, чем и обрадовал командира. — Как здесь оказался? Это длинная история. В начале восемнадцатого из Петрограда попал под Таганрог, в политотдел 13-й армии, а когда услышал о формировании казачьего корпуса, написал письмо в ЦК и Казачий отдел. Вняли доводам, но перекинули меня для начала в Козлов, чтобы пообмять в Граждаупре. Но я там... как бы сказать, не сошелся с Сырцовым. Был конфликт, в результате чего Ходоровский и благословил мой отъезд в корпус. Я очень рад, Филипп Кузьмич.

Миронов внимательно слушал эти объяснения, и Ефремов вдруг простодушно и молодо, как-то обезоруживающе засмеялся:

— Не подумайте, что Ходоровский был озабочен устройством моей персоны, просто требовалась быстрая замена товарищу Трифонову, — он кивнул на старшего товарища. — Но я, повторяю, очень доволен. А на коне приучен ездить с детства, да и на передовой бывать приходилось.

— Хорошо, — кивнул Миронов. — Устраивайтесь, работы тут у нас очень и очень много. Центр обещает нам помощь, скоро бои. — И еще раз оценил взглядом нового комиссара: молод, жидковат, но — образован, а это главное. И немаловажно то, что «не сошелся с Сырцовым...». Это хорошо! Может, выйдет из него второй Ковалев? Надо бы!

Вечером провожали Трифонова. Пришел другой член РВС — Скалов (из московских мастеровых), с ним комиссар штаба Зайцев. Пили чай, беседовали, Миронов сидел между молодых политкомов довольный. Хлопал Скалова по плечу и откровенничал свыше всякой меры:

— Я, други мои, после Ковалева здорово тужил по добрым помощникам! Чтоб с открытой душой! Был еще Бураго, хороший мужчина, из питерских, и все, крышка! Остальные, каких видал, — мастер зудеть и подсиживать, наводить тень на ясный день! А то и запросто лишают доверия, будто они мобилизовали бывшего офицера Миронова в Красную Армию, а не сам он пришел. Вот еще Ларин такой был, в штабе 9-й, в политпросвете, так тот прямо на заседании Донбюро, говорят, выражал недоверие начдиву Миронову по причине скандала с михайловскими ревкомовцами, хотя все они — бывшие мои взводные! Да! Вот так и укрепляли авторитет командира. Грустные дела были. Теперь-то кое-кого повыгоняли с постов и, кажется, из партии, а за мной так и тянется репутация партизана. Вот чего впопыхах можно натворить!.. Ну, времена меняются, думаю, что теперь-то у нас все пойдет по-другому, больше на дела будем полагаться, а на темные интриги наплевать пора. Верно, товарищи?

Просил Трифонова, чтобы тот передал в Пензу, в штаб ударной группы товарища Шорина, приветы от штаба Донского корпуса, и обещал, что не позже 15 августа штаб сможет вывести корпус к боевым действиям, как это и было обусловлено в Москве, у Ленина. И тогда посмотрим на Мамонтова и Врангеля, чей клинок крепче!..

После неожиданного прорыва белых под Новочеркасском и крушения всего Южного фронта (при очевидном скандале с бегством командарма-9 Всеволодова) Лев Троцкий избегал Москвы, партийных и советских совещаний и заседаний. Требовалось некоторое время на поправку собственной репутации, на то, чтобы забылись или хотя бы стушевались роковые просчеты и ошибки, допущенные, как считалось, «в горячке дел и пылу борьбы». Между тем с назначением нового главкома С. С. Каменева полевой штаб Красной Армии перебазировался из Серпухова в Москву, так что нарком Троцкий оказывался как бы не у дел: теперь его личный поезд курсировал преимущественно рокадными линиями с Западного фронта на Южный и обратно. Более привлекал, разумеется, Южный фронт, как решающий, да к тому были еще и дела деликатного свойства в Пензе, не имеющие решительно никакого отношения ни к текущим военным задачам, ни к мировой революции в дальнейшем...

Постоянная тайная борьба с Лениным и Центральным Комитетом партии в данный момент для Троцкого персонифицировалась именами главкома Каменева, бывшего командующего Восточным фронтом (которого Троцкий пробовал ошельмовать «превентивно», но потерпел неудачу), члена ЦК и Реввоенсовета Сталина, отчасти Трифонова, занявшего непримиримую позицию по отношению к «расказачиванию» на Дону, и, наконец, начдива Миронова, формирующего теперь кавалерийские казачьи части на правах командарма.

Миронов стал вредной занозой в глазах Троцкого с момента перехвата его злополучной записки на имя Сокольникова, знал наркомвоен и о попытках его самостоятельных действий в Серпухове и Козлове по пути на Западный фронт. Миронов этот проявлял такую заботу о всеобщем состоянии дел в Республике, что «брал явно не по чину»... Немало возмутило Троцкого также неслыханное по смыслу и тону донесение этого сумасбродного «красного атамана» в Москву о заведомо ложных сведениях по составу экспедиционных войск. И наконец, вовсе не входило в планы Троцкого сотрудничество Миронова с Казачьим отделом ВЦИК, непрестанно ведущим против Троцкого тайную дипломатическую войну...

Если нельзя вязать петли и узлы мелких провокаций против неугодных лиц прямо в Москве, под боком у Ленина и Дзержинского, то почему бы не обосновать некоего временного узелка в крупном войсковом штабе, скажем в Пензе?

Военные учреждения в Пензе только разворачивались, прибытие Шорина со всем штабом из Симбирска предполагалось только в первых числах августа. В огромном здании, занятом под РВС группы, было пустовато и гулко. Широкие окна смотрели сквозь пыльную листву тополей на пересыхающую Суру, от сухости потрескивали старые паркетные полы. Шаги наркома были отчетливы и стремительны, двери распахивались во всю ширь и тут же с выдохом закрывались, запечатывались наглухо, храня военные и прочие тайны большой политики.

Всю политическую работу в ударной группе войск Троцкий взвалил на Валентина Трифонова (будет удобно со временем с п р о с и т ь за неизбежные упущения и недосмотр, как с заведомо фракционного противника!), а что касается другого члена РВС, Ивара Смилги, то ему поручалось особое задание по формированию частей и в особенности контроль за Донским корпусом, деятельностью неугомонного комкора Миронова. Смилге, поджарому интеллигенту из Прибалтики, Троцкий доверял вполне, как ближайшему соратнику и единомышленнику. Но изъяснялся с ним тем не менее лишь на деловом уровне, прибегая к аргументам открытой и ясной политики. Подоплека вопроса лишь подразумевалась, а задача формулировалась беспристрастно и корректно — тут требовался тоже своеобразный талант и артистизм.

— Кто такой, собственно, Миронов? — не то что спрашивал, а как бы упреждал Смилгу нарком. — Миронов — талантливый военспец, и не более того... Известна некоторая его авантюристичность, умение с малыми силами выиграть большое сражение. И эти его замахи на политическую роль!.. В свое время некоторые специалисты по Дону уже предупреждали нас, что из Миронова может получиться великолеп-

ный «красный атаман», поэтому с ним ухо держать надо остро! Деникин, кажется, намеревался переманить его на свою сторону, обещая пост главкома при Южнорусском правительстве... (Смилга здесь хотел возразить, потому что ничего подобного не было, но смолчал.) Перехвачена также записка Миронова, в его бытность окружным комиссаром, в которой он без обиняков высказывается против сельских коммун, во всяком случае, о их несвоевременности именно сейчас! Да, наши люди подсылали к нему одного страждущего мужичка за разъяснением... Наконец, последнее... — Троцкий взял со стола Смилги только что прочитанную в ряду прочих донесений резолюцию с места мобилизации в Красную Армию и резко подчеркнул ногтем заключительные строки. — Обратите внимание, — сказал он ледяным голосом. — Пишут и принимают резолюцию казаки Дурновской, Ярыженской, Павловской и Алексеевской станиц... Каково?

Смилга пробежал глазами то, что было подчеркнуто острым ногтем: «Да здравствует вождь всемирной пролетарской революции тов. Ленин! Да здравствует Красная Армия! Да здравствует наш вождь, неустрашимый революционер казак Миронов!» И подпись: «Пред. Аннинского ревкома Баклдин».

— Каково? — повторил Троцкий, внимательно наблюдая за выражением лица Смилги.

— Н-да, — согласно кивнул тот, пряча за блестящими стеклами пенсне лукавство выпуклых глаз. — Действительно, чересчур замахнулись насчет комкора-то... Вожди революции у нас известны, список их пополнять на каждом текущем митинге, безусловно, нет никакой необходимости. Я вас понимаю, Лев Давидович.

— Следует каждого «выдвиженца» ставить на место, иначе будет разлад, как я полагаю, — мягко заметил Троцкий. — И вообще... Корпус не следует форсировать, вооружения у нас очень мало. Особо советую побеспокоиться о комплектовании аппарата, военной контрразведки, товарищ Смилга. Спросится в конце концов с вас же...

Смилга не мог не оценить логическую стройность этих доводов. Но за ними следовали еще и конкретные детали плана.

— Я полагал бы, — сказал Троцкий, — что было бы уместно назначить в политотдел корпуса местных товарищей, понимающих обстановку и, наконец, заряженных против возможных отклонений от линии... Например, бывший Хоперский ревком во главе с Лариным, потом... еще, этого Рогачева из Котельникова... Я советовался с Сырцовым, он не возражает.

Смилга кивнул согласно, не выразив удивления. За два года совместной работы он уже привык к шефу. Долго смотрел в выдвинутый ящик стола, будто вспоминая что-то. Долго рылся в бумагах. Наконец извлек на стол тонкую, смазанную копиркой грамотку с грифом Казачьего отдела ВЦИК и положил перед наркомом.

— Против Ларина и его группы они... протестуют, Лев Давидович. И — мотивированно. Считают, что именно «левые» типа Ларина во многом способствовали донскому восстанию... Вот. Настойчивая бумага, как видите... (Смилга, увлекаясь, говорил с едва заметным прибалтийским акцентом, на согласных спотыкался, получалось: «пумака», «фидите»...) Может пыть, подыскать иные кантитатуры?

— Н-дэ?..

Троцкий бегло ознакомился с бумагой, брезгливо относя ее от близоруких глаз. Пропустил обращение на имя Калинина и чью-то неразборчивую резолюцию красным: «Политуправлению Южного фронта, для сведения...» В документе значилось:

«Казачий отдел ВЦИК находит целесообразным воздержаться от назначения на советскую и партийную работу в освобожденной территории Донской области бывших политработников Хоперского округа...

1. Ларин — глава особой группы «хоперских коммунистов». Находясь во главе Советской власти в качестве предревкома в Хоперском округе, плохо реагировал на безобразия, которые чинились преступными элементами, являясь покровителем лиц с подозрительным прошлым, граничившим с уголовщиной.

2. Рогачев. Судился за подделку документов по освобождению от воинской повинности при старом режиме... Как политический работник зарекомендовал себя шкурником и карьеристом.

3. Болдырев — бывший офицер, меньшевик, на IV съезде Советов вел агитацию против большевиков, агитировал против возникновения Казачьего отдела при центральной Советской власти...»

— Так что? — отложив этот документ, спросил Троцкий. Глаза его за стеклами очков казались как бы отсутствующими.

Смилга, конечно, знал о постоянной войне Троцкого с Казачьим отделом.

— О том же самом по телефону предупреждала из ЦК Стасова, Лев Давидович, — дотошно сообщил он.

— Возможно, — кивнул Троцкий рассудительно. — Для постоянной политической работы, возможно, эти активисты и не подойдут, не будем спорить со Стасовой. Но, Ивар Тенисович... не кажется ли тебе, что для нынешнего момента и, так сказать, так-ти-чески... лучших кандидатур в мироновский корпус и желать не приходится? Эти люди будут именно той лакмусовой бумажкой, на которой мгновенно проявится вся тайная расцветка этой заполошной души, каким я представляю себе Миронова. Нет, нет, до особого моего распоряжения укомплектуйте весь политсостав именно из упомянутых лиц. А далее посмотрим.

— Ходоровский прислал в корпус еще Ефремова...

— Ефремова-Штейнмана? Из 10-й?

— Нет, какой-то новый Ефремов... Из казаков.

— На пост?

— Комиссара корпуса, взамен Трифонова.

— Согласуйте с Сырцовым, его забота. И вот

еще что... Не перебазировать ли формируемый корпус куда-нибудь подальше от Донской области? Например, ну, хотя бы в Липецк? Подумайте и над этим.

Смилга вынужден был принять все указания к исполнению.

2

Конец июля. Жара. Пыль, грязный пот — конский и человечий. Над холками коней роятся мухи... Походным порядком шли конные эскадроны иа север, к Липецку. С получением приказа о передислокации в некоторых взводах пошумели, помитинговали казаки («Куда посылают? К хохлам, за семь верст киселя хлебать, а жен и детншков опять под Деннку? Да и кони не кованы, подков нету!..»), пришлось Миронову с новым комиссаром Ефремовым собрать митинг, найти подходящие слова и доводы, чтобы оправдать приказ РВС и целесообразность отхода в тыл. Полторы тысячи пластунов и пехоты погрузились в эшелоны, им, как говорится, ветер дул в спину, а конница пылила проселками вслед поездам...

Миронов и Ефремов шли верхами в замыкающей группе. Настроение у обоих померкло, потому что понимали они состояние и правоту тех рядовых бойцов, что поднимали шум и митинговали, но что делать, если на руках приказ фронта?

Миронов был огорчен вдвойне: где-то недалече, в Усмани, что ли, стояли на отдыхе и переформировке сильио потрепанные полки Блинова (об этом рассказывали многие очевидцы), и Миронов надеялся, что эти остатки бывшей его непобедимой конницы теперь отдадут ему же, в новый корпус. Увы, штаб фронта и в этом придерживался другого мнения. Смилга, член РВС Республики, разъяснил по телефону, что высшие штабы намерены создать в ближайшее время несколько крупных соединений конницы и группа Блинова со временем будет развернута в самостоятельную дивизию — Миронов на нее рассчитывать не должен.

— С тем и передислоцируем корпус, что вам, товарищ Миронов, придется обмундировывать и учить новобранцев из Воронежской, Тамбовской губерний. Учить и натаскивать, и, как понимаете, в самые сжатые сроки. Учитывая именно ваш опыт в строевой и учебной практике, товарищ Миронов.

Слушать эти заверения, конечно, всякому приятно, и все же краем души чувствовал Миронов неладное, тосковал, ждал подкрепления из Казачьего отдела ВЦИК...

Корпус разгружался на узловой станции Грязи. Пехотинцы забили прохладный вокзал, раскидались со стираными портянками и бельишком под пыльными тополями и осинами. Квартирьеры сбивались с ног: не было вблизи ни казарм, ни других приспособленных для войска и штаба помещений. Над путями дымили походные кухни, кипела в них все та же пшенная каша-размазуха, а то и вовсе скучная затируха из ржаной и ячменной муки. Конные эскадроны вытянулись вдоль мутной речушки с невеселым названием Матыра, кони лениво общипывали тут луговые кулижки, отмахиваясь хвостами от оводов.

Не было у Миронова ни проверенных в деле помощников, ни налаженных отношений, гонял новичков, взводных и эскадронных командиров, знакомился и беседовал со многими, подбирал штаб. В штабе временно управлялся адъютант будущей 2-й кавдивизии, бывший офицер, Дронов. Командира 1-го стрелкового полка Праздникова отрядил с молодыми, неиспорченными новобранцами в окрестные Советы — помогать по хозяйству бедным и многодетным семьям. Сам договорился с местными ревкомами и управами насчет картошки и прочей летней снеди, чтобы попадало в красноармейский котел сверх нормы, жизнь на станции Грязи стала помалу налаживаться. А тут из Москвы наконец прибыли помощники, и какие!

Михаил Данилов, старый знакомец, ввел к Миронову плечистого, калмыковатого крепыша с коротковатой борцовской шеей и небольшими, туго закрученными усами, отрекомендовал без пояснений:

— Товарищ Булаткин.

Миронов еще раз оценил вошедшего. По обличью — старый вахмистр-жила, но небольшие жмурястые глаза с веселинкой и казачьей простоватостью... На сильной, окатистой груди, перечеркнутой малиновыми «разговорами», резко пламенел в алой ленточке орден Красного Знамени... (Прикинул, что во всей Красной Армии сейчас их не более десятка, краснознаменцев!)

— Товарищ Булаткин, Константин Филиппович, — доложил Данилов. — Бывший комбриг-4 из 10-й армии, рекомендован командовать 1-й кавдивизией, быть вашим помощником и заместителем...

Данилов улыбался по-прежнему открыто и зубасто, и эта его привычная беспечная улыбка была словно пароль для Миронова: все, мол, идет нормально, за этого человека ручаемся.

— Хорошо, — сказал Миронов. — Помню такой приказ по фронту — о геройстве бригады Булаткина под Царицыном... Кстати, где ныне начдив Думенко?

— В Саратове, на излечении. Легкое вырезали ему, профессор какой-то делал операцию, спас, можно сказать... Они там вместе с Егоровым лежали, — сказал Булаткин.

— Да, были в прошлом году и победы и потери немалые, — вздохнул Миронов. — Оттого и приходится сызнова собирать силы... Вы-то сейчас откуда, если не секрет?

Булаткин приставил ногу к ноге, выказывая въевшуюся в кровь служивскую выучку, ответил чуть ли не рапортом:

— Послан был весной в красную академию, в Москву, товарищ Миронов. Но по прибытии оказалось, что прием окончен, все места заняты. Вроде как по нас отрезало, и сказали: до будущего набора...

— Но ведь было решение ВЦИК другое? — Ми-

роиов закуснл правый ус, хмуро взгляиул иа Данилова. Тот лишь махнул короткопалой рукой, пожал плечами:

— Вы же зиаете: во ВЦИКе — одио, в воеииом ведомстве — другое. Не любят там полевых комаидиров. Недавио вои Чапаева с Восточиого отчислили: дерзкий на язык, говорят!

— Ясио, — сказал Мироиов.

Булаткии огладил своей тяжелой, камеиио-твердой рукой усы, усмехиулся с простодушнем:

— Да я н ие сожалею дюже! Войиы впереди миого, какая там учеба!

— Оио-то так... Деникии в силе, иадо его бить, и бить как следует, — согласился Мироиов. — Но все же эти «академические тоикости» задевают душу... Хотя что ж, эти заботы, как говорят, иа завтра; а пока начием работать, товарищ Булаткии. Я рад вашему прибытию. Будем и строевой, и учеииями заииматься от восхода до заката. Народец все больше необученный, да и бездействне войск, как вы поиимаете, есть заведомое поражеиие в первом же бою. Старая истииа. Миогие к коню в первый раз подошли, а корпус-то имеиуется кавалерийским.

— Да еще мироиовским! — засмеялся Даиилов.

— А тебе, Михаил, поручим все хозяйство с нитендаитством, пропитаиие красиоармейцев, ие взыщи. Будешь крутиться за всех... Оформляйтесь пока у Дроиова, в штабе.

...Вечером у Миронова за чаем собралось все комаидование: сам комкор, Булаткни с Даииловым, комиссар Ефремов, член Военного совета Скалов, времеииый иачполитотдела Зайцев, адъютаиты штаба Дроиов и здоровеииый, борцовского вида Изварин. Беседа затеялась живая, дружиая, но ие сказать, чтобы веселая: тревожила всех эта иеожидаииая передислокацня при видимых успехах противиика иа Вороиежском направлеиии, совершеиио иеясны были и виды с вреиным сиаряжеиием. Мироиов вздыхал, что пополиеиие ндет в основиом пехотными маршевыми ротами, тогда как у иего весь расчет на кавалерию... Между прочим поиитересовался у Даиилова, почему до сих пор Казачий отдел не иастоял иасчет переброски к нему двух кавалерийских полков с Западиого фронта, о чем в Москве была полиая договореииость. Полки эти ои сам увел у поляков.

Полнтотдельцы со внимаиием виикалн во все эти заботы, привыкали к Мироиову и иовым командирам, осваивались.

— Я же из тех полков рассчитывал создать кавбригаду вроде блиновской, хотел даже наимеиовать в честь бывшего комиссара Ковалева! — объясиял суть дела Мироиов.

— А иасчет этого лучше разобъясиит Коистантии, — сказал Даиилов, иевесело гляиув на Булаткиа. — Ои с Кузюбердииым специальио выезжал в Смоленск иа расследоваиие по этнм полкам, Филипп Кузьмич. Ничего путного с тех полков не получилось, братцы мои...

— Как не получилось? — загорелся Миронов.

Булаткин молча отстегиул клапаи нагрудиого кармаиа и подал ему свериутый вчетверо лнст бумагн. Сказал хмуро:

— Что-то иепоиятное творится, браты, иасчет казачьих формированнй. Не любят их там... в штабе! Когда били мы всяких походиых атаманов иа Салу, в плен брали, иас прихваливали, а теперь вроде как отрезало! Куды ии ткиись, двери иа запоре. Надо б политотдельцам, что ли, этим заняться?

Скалов гляиул иастороженио в стороиу Ефремова, хотел что-то сказать, ио Мироиов, мгиовеиио помрачиев иад бумагой, поднял руку:

— Постойте, товарищи... Что же это такое? — Резко двииул от себя по столу бумагу в стороиу Скалова: — Погубили целую кавбригаду! В седлах и при оружии! Так иельзя дальше... Я-то иадеялся иа этих коиииков, призиаться, сильно надеялся! А тут какая-то иедостойиая, подлая нгра, как говорится. Как же так, Констаитии Филиппович?

— За тем комиссия и ездила, чтоб все это поиять, — сказал Булаткии.

— Подождите, товарищи. Давайте спокойио, — зарокотал Скалов.

Прочитали вслух докладиую представителей Казачьего отдела Кузюберднна и Булаткиа в РВС Западиого фроита. В ней говорнлось:

...Казачья бригада составлеиа из добровольио сдавшихся казаков Хоперского округа и сформироваиа штабом 16-й армии Западиого фроита в бытность комаидарма тов. Мироиова... Представляет собой в даииое время не боевую часть, а беспокойиую, затравлеииую массу, совершеино аполнтичную, иевооружеииую и голодиую.

1-й казачий полк пришел иа собствеииых коиях и седлах. С первых дней прибытия отиошение к иему со стороны власти было подозрительиое и недоверчивое, что больио задевало самолюбие казаков. Полк терпел крайиюю нужду в продовольствии, ие видел все время горячей пищи, был раздет даже в походе. Главиая причииа — присылка в полк комиссаров, чуждых казакам и ие зиающих совершеиио психологии и жизиеииого уклада... Полк, получив боевое задание прн такнх условиях, иаполовину сдался полякам, и все же 200 человек возвратилнсь обратно, иесмотря иа обиды...

2-й полк, узиав о сдаче первого полка, почувствовал себя еще более затравлеиным и осиротевшим, н, вместо того чтобы поддержать дух, комсостав поспешил нздать приказ о расформироваиии полка...

Добровольио сдавшиеся казаки оказалнсь в положеиии еще худшем, чем воеииопленые белогвардейцы.

2-й полк расформироваиию не подлежит, его надо отвести в тыл и укрепить...

Скалов читал, слушавшие его мрачио переглядывались. Мироиов хмуро смотрел в стол, восприиимая все это как личное оскорблеиие. Ведь не кто иной, как он сам, целый месяц убил на то, чтобы убедить через своих лазутчиков и вырвать эти полки с той стороны, сколотить особую кавбригаду в составе 16-й армии. И все увеичалось успехом! Казаки по-

верили, перешли на сторону Советской власти. И что же? Стоило Миронова перевести на другой фронт, на Дон, как в армию и бригаду пожаловали какие-то недоброжелатели, а то и люди с наклонностями провокаторов...

«Что же это они делают? — повторял он, не поднимая бешено горящих глаз от стола. Потом не выдержал, поднялся и отошел в угол, в тень. Закусив губы, сдерживал в себе молчаливый, слепой бунт. — Получалось, как при Павле Первом, крестние из императоров-немцев: «А не послать ли этих донцов-молодцов куда-нибудь подальше, к черту на рога, чтобы они живыми оттуда не вернулись?.. А? Ну, хотя бы... на завоевание Индий?» Помните ль, дорогие товарищи, такое историческое недоразумение в прошлом? Так то при царе было! А теперь не знаю, что и подумать! Кто это нам так упорно и тонко пакостит? Кто это советскую политику так хитро выворачивает наизнанку? Да и Миронов... в каком виде у тех казаков нынче остался в памяти? Обманщик, провокатор, брехун, попросту сказать? Не так ли? Но Миронов ведь уехал по приказу, не мог взять эту бригаду с собой, не мог! А как им теперь это объяснишь?»

Видно было даже со стороны, что комкор глубоко страдал от этих новостей с Западного фронта и с великим трудом сдерживал свои уже изрядно помотанные нервы.

— Да. Многовато на долю нашу перепадает непредвиденного и, скажу, непонятного, — кивнул Булаткин у стола и мрачно вздохнул. Его, видимо, тоже обнесли отказом в академии, и он молча переживал эту свою жизненную неустойку. Где-то рядом, возможно и в кавгруппе Блинова или у Буденного, мотается его прославленная кавбригада, собранная весной восемнадцатого в Сальской степи... Орден в свежей розетке банта только сильнее подчеркивал бывшие заслуги комбрига, его нынешнее душевное неустройство.

— Не доверяют, что ли, нам? Откровенно не доверяют? — сказал Булаткин.

— Нет, не то, — вмешался Ефремов, обязанный успокоить своих командиров. — Кто не доверяет? У вас мандат ВЦИК на руках, целый штаб вояк с заслугами, на всех нас великая надежда возложена, так о чем тут говорить, товарищи? Правда, в верхах кое-кто передергивает карту, болтает разные глупости, ну так на каждый роток, сказано, не накинешь платок, нечего и обижаться. Не всякое лыко в строку... Вот к середине августа, худо-бедно, соберем пару кавалерийских дивизий, одну пехотную и дадим взвару, как и положено: во фланг и тыл Деникину! А тогда пускай угадывают нашенских за версту — и враги, и те, кто не доверял!

Вроде бы получилось убедительно. Ефремов встретился взглядом со старшим товарищем, Скаловым, и принял ободряющий встречный кивок: правильно, не надо впадать в ложные страсти! Миронов же все еще стоял в затемненном углу, молчал, приводя в покой закипевшую душу, Булаткин тоже вздохнул неуступчиво. А Михаил Данилов, совсем не к делу и не улавливая нотки неодобрения в последних словах комиссара Ефремова (который по возрасту ему, Данилову, едва ли не в сыновья годился!), начал вдруг рассказывать о своих злоключениях после раздоров с Михайловским ревкомом.

— Этих дружков вместе с их начальником Алешей Федорцовым, как я слыхал, уже разогнали и в партии не всех оставили, а через одного... — начал он с внутренним надрывом. — А промежду тем в Казачий отдел поступила бумага из политотдела Южного фронта, и в ней обвинили меня же — в чем бы, вы подумали? — а «в пособничестве начдиву Миронову»! По их словам, начдив Миронов — партизан и анархист, собирался вроде разогнать окружной ревком! Вот умники, понимаешь. Факт вовсе дурацкий!

При этих словах комиссар Зайцев неуверенно кашлянул и обернулся к Миронову, молча испрашивая запрета на подобные воспоминания. Миронов не смотрел ни на кого, тяжко вздыхая, а Данилов жаловался дальше:

— Наркомвоен товарищ Троцкий особо нажимал при этом. И товарищам Макарову и Степанову пришлось... вывести члена РКП Данилова из состава Казачьего отдела. Такие вот дела. Троцкий — большая власть, с ним не поспоришь! Одним словом, заслали меня с Особой комиссией на Дон, подальше с глаз!.. Но я-то, братцы, сильно доволен за ту поездку, даже в равновесие пришел, когда мы с Мозольковым и Овсянкиным этих провокаторов из Морозовской к стенке поставили. Не зря ездил, дюжина грехов с души свалилась.

— Коммунисту обижаться на такие вещи нельзя, если тебя на другое место переводят, — как бы между делом вставил от себя Скалов.

— Это понятно, — сразу согласился Данилов. — Я и не обижался, поехал работать без всякого ропоту... Меж прочим, незадолго перед нашим выездом заявился в Москву как раз этот Овсянкин-Перегудов... Ну, у него стаж побольше моего, никак, с четырнадцатого в партии, раненый продработник из Донецкого округа. Хотел прямо к Ленину с этими делами! Мы его — к Михаилу Ивановичу, а тот сразу в корень: человек-то из рабочих, иваново-вознесенский, на Дону будет объективным до конца! «А не включить ли вас, товарищ Овсянкин, прямо в правительственную комиссию по борьбе с перегибами на местах?» — спрашивает. Тот, понятно, согласный, за тем и ехал. С Калининым распрощался да и поехал... Толковый оказался, упорный солдатище, по-большевистски умел с дураками говорить!

Посидели, покурили, молча. Миронов вышел из темного угла и занял свое место за столом. Страсти понемногу угасали. Данилов продолжал рассказ тихо, как бы отступив чуть-чуть, не привлекая к себе особого внимания. Но историю хотел довести до конца.

— В трибунале заседал, потом послали его в Воронеж, по нашему частному определению. Ну, насчет товарища Мосина, что эти директивы за своей

подписью рассылал... Но жалко, пропал куда-то наш посланец. Слухи были, что схвачен будто повстанцами тогда же, под Миллерово... Пропал, видно, человек! Он ведь никому не смолчит, тертый калач... А жалко. Надо было бы добраться тогда и до Воронежа, познакомиться с этим Мосиным. Бланки-то, на каких он рассылал директиву, были из Граждаиупра, почти что партийные!..

— То-то и беда, — желчно сказал комкор. И непривычно глубоко затянулся дымом папиросы. Курил он по-прежнему редко, но сейчас возникла такая потребность.

— Мосина я знаю, — сказал Ефремов. Этот молодой комиссар знал, что разговор следовало уводить куда-то в ином направлении, в спокойное русло. — С заскоками товарищ... Рядовой сотрудник Граждаиупра, но — личный друг Сырцова, вроде помощника при нем. Пользуется славой неподкупного деятеля. Но личных указаний от него, конечно, поступать не могло, разве что подписывался иногда за отсутствующего Сергея.

— Были подписи-то! — упорно вел свою линию простоватый Данилов. — Марк Богуславский — мы его шлепнули в Морозовской, как скрытую контру! — прямо плакался на суде и на коленки падал: такие указания были, мол, из центру, от товарища Мосина. И бумаги при деле фигурировали. Вот он и кричал: дескать, кому подчиняться-то?

— Чепуха какая-то, — проявил упорство Ефремов и, мельком глянув на Скалова, начал выбирать какие-то бумаги и директивы из своей полевой сумки-планшетки, всегда болтавшейся у него на боку вместо шашки. Нашел потертый блокнот с замятыми уголками, а уж из него извлек свежую, еще не поблекшую кабинетную фотокарточку. И протянул Миронову.

— Вот он тут, Мосин, собственной персоной и в натуральную величину... Это мы все — в президиуме Граждаиупра, на заседании. Сырцова тут нет, он на трибуне, за пределами фотографии, а это Блохин, Мосин, ну я тоже за компанию... — Ефремов скупо усмехнулся.

Карточка пошла по рукам. Миронов и Скалов только мельком глянули на воронежский президиум, потом очередь дошла до адъютанта штаба Изварина. Толстый и малоподвижный штабист Изварин был одним из народных комиссаров первого Донревкома, хотя родной брат у него болтался в эсерах-автономистах и обещал убить при случае, как «продавшегося евреям». Этот-то Изварин и вперился глазами в лица членов президиума... Фотограф, видимо по чьей-то просьбе, выхватил всего два-три лица на переднем плане, и лица эти отпечатались очень ясно и четко, с фактурой и особыми приметами — лицо Блохина выглядело асимметричным, каким-то отечным, а над левой бровью Мосина темнела расплывчатая приметная бородавка.

— М-м... Это — не Мосин, товарищи, — вдруг спокойно сказал Изварин. — Я этого человека знал по Воронежу и Курску еще до революции... Это — Мусиенко! Мусиенко, скрывшийся в девятьсот тринадцатом, агент воронежской охранки, вот это кто. Совершенно точно. — И положил фотокарточку на стол очень строгим движением, перевернув почему-то ликами вниз.

— То есть как? — удивился Скалов и взял фотографию в свои руки.

— Агент охранки? — тоже пожал плечами Ефремов.

— Совершенно точно, товарищи. Я в то время, гм... страшно сказать, был профессиональным цирковым борцом-силачом... Гастролировал по южным городам: Новочеркасск, Ростов, Мариуполь... — порозовел от этих признаний толстый Изварин. — Цирк-шапито! Ну, бывали и в Воронеже, Борисоглебске... С Иваном Заикиным дружил, с Черной Маской боролся, но, правда, проиграл по очкам... Афиши были вот такие! Могу гордиться: на лопатках был лишь однажды, да и то от Ивана Поддубного!

— Вы бы покороче, — вдруг нахмурился Миронов. — Какие тут гастроли? Вы же из казаков? И — в борцы, на ковер?

Все засмеялись, теснее сдвинулись к Изварину, кто-то протяжно вздохнул, поминая прежнюю казачью жизнь.

— Конечно, есть некая странность, — покраснел еще гуще Изварин. — Я из казаков, никого тут в обман не вводил, но из омещанившихся, городских казаков, так сказать! Ну, это известно: по безлошадности отец... Был он денщиком полковника Грекова на действительной и не пожелал возвертаться в родной хутор после действительной, да... Упросил полковника, знаете, и тот как-то помог ему устроиться в кондукторы на железной дороге. Трудно, конечно, но устроил! Вот так оно было. Я высшее начальное заканчивал, увлекся гимнастикой, а тут — брат-политик, какие-то знакомства начались с политическим уклоном... В общем, попал и я в революционный кружок, стал кое-какие поручения исполнять, бывал в поездках. Тем более что работа была подходящая — в цирке, среди публики... Ну и пришлось однажды выслеживать в Воронеже и Курске этого господина, Мусиенко. Агента охранки и провокатора. Он еще тогда был приговорен эсерами к смерти. Ручаюсь, что он.

Все молчали. Ефремов уставился на Скалова и чего-то ждал. А Миронов как будто оставил в стороне главный смысл разговора и проговорил с глубочайшей тоской в голосе:

— Да. Этак вот и жилось донским казачкам: по большой протекции — в кондуктора! — и поставил свой небольшой, но крепкий, мосластый кулак на стол. — А то еще бежали от донской славы и службы в половые, в официанты, а то и под землю, в шахтеры! Отец у Дорошева Ипполита, нынешнего члена Донбюро, казак-шахтер, из-под Каменской! Да и вырваться-то можно было лишь при связях и покровительстве старших офицеров... И вот за это былое «казачество» многие до сих пор то волей, то неволей проливают кровь, старую свою волю оплакивают — просто подумать и то дико! Как же

довести до них эту простую и понятную истину? Просто голова лопается...

— Подождите, Филипп Кузьмич, — сказал нахмуренный Скалов. — Тут дело куда серьезней! Бывший жандарм в президиуме Гражданупра! Если, конечно, сведения эти точны!

Он поднялся, словно по тревоге, и начал застегивать френч на все пуговицы. Встали и Ефремов с Зайцевым.

— Товарищ Изварин! — сказал Скалов. — Собирайтесь в ответственную командировку. С нашими контрразведчиками поедете в Воронеж. Там свяжетесь с местными чекистами. Сведения ваши, как сами понимаете, чрезвычайной важности! Выезжайте немедленно, не теряя часа.

— То есть как, сейчас прямо?

— С первым же поездом, даже товарным! — сказал Скалов.

Данилов, сидя, все еще рассматривал фотографию, так и этак поворачивая ее в руках.

— Но как же так? — недоверчиво оглядел всех Данилов. — Прямо так-таки из... жандармов и — в сотрудники к Сырцову? Да Серега Сырцов зарежется, когда узнает! Или пустит себе пулю в лоб! Это же дикая история!

Скалов молча отобрал у него фотокарточку и вручил Изварину.

— Зайдем ко мне, товарищ Изварин, я заготовлю письмо в Донбюро, переговорим по частностям. И вас, товарищ Ефремов, я прошу ко мне.

Вечеринка расстроилась.

Через несколько дней — Изварин еще не успел вернуться — из оперативных сводок стало известно, что Воронежская ЧК арестовала бывшего политического провокатора и агента корпуса жандармов Мусиенко, сумевшего длительное время скрываться в обличье ответорганизатора Гражданупра, то есть в высшем политоргане Южного фронта.

Сырцов, конечно, не застрелился.

Известие было сногсшибательным само по себе, но действовало на людей по-разному. Если комиссар Ефремов, много претерпевший от Сырцова — Мосина в Воронеже и Курске, ходил взъерошенный и готовый вспыхнуть спичкой, а Скалов и Зайцев, наоборот, замкнулись и стали без меры подозрительны, то на Миронова это известие подействовало, по странной логике, как бы и успокаивающе. Он еще глубже уяснил нынешнюю сложность борьбы, внутренне собрался к дальнейшей схватке.

Человек резкий и взрывчатый, которого обычно мучило и угнетало непонятное и необъяснимое действие вышестоящих органов или должностных лиц или столь же нелепое стечение обстоятельств, вызванное чьим-то произволом, сразу же обнаруживал необходимое самообладание, как только проникался пониманием внутренних причин или скрытой подоплеки вопроса.

Просто опасность таилась повсюду, враг выглядывал из каждой щели, веры, по сути, как бы не было никому, и в то же время такая вера была повсюду, снизу доверху. Такова логика этой жизни и этой борьбы!

Сколько подводных камней и железных надолб-спотыкачей подстерегают нас на том единственно правильном пути, который очевиден всем честным людям, но по которому тем не менее невозможно ступить и шагу, если не знать заранее о возможных засадах и провокациях! Решения, принимаемые тобой в военно-полевых условиях, иной раз на виду у противника, выходит, не годятся в нынешних сложностях, во взаимоотношениях с людьми, которые не всегда доброжелательны, с высшими штабами, с Реввоенсоветом Республики, который почему-то не понимает очевидных вещей и открыто не доверяет ему, Миронову. Все окружающие люди доверяют, убедились в его преданности, а Реввоенсовет пока что не убедился! Или даже наоборот: убежден в обратном! Все до предела осложняется в этой борьбе идей, масс, личностей и многих не выходящих на поверхность, трижды замаскированных тенденций и даже претензий и амбиций...

Миронов много раздумывал в эти дни и, возможно, поэтому сравнительно спокойно, запрятав недоумение и обиду подальше, воспринял новый приказ Реввоенсовета фронта: передислоцировать формируемый корпус еще раз, глубже в тыл, на север Пензенской губернии.

Когда начальник связи принес свежую директиву, удивились ей более всего сами политработники Скалов и Ефремов. Миронов же только пожал плечами и сказал хмуро:

— Ну что же, в Индию так в Индию, донцам и это не в удивление! — и попросил комиссаров пройти по ротам и батальонам, разъяснить бойцам новый приказ.

— При чем тут Индия? — холодно спросил Скалов. Он понимал обычно Миронова с полуслова, а тут вдруг не понял.

— Был такой нелепый поход, при императоре Павле Первом, я же на днях вроде рассказывал об этом.

— Ну, здесь же не Индия, а боевой приказ! — заметил Скалов. — Откровенно говоря, не понимаю я вас...

— Я тоже многое перестал понимать, — с некоторым вызовом сказал Миронов.

3

О, богоспасаемый уездный град Саранск!

Никто бы не мог толково объяснить и рассудить, в самом деле, почему товарищ Троцкий «рассудку вопреки, наперекор стихиям» избрал самолично отдаленный этот городишко, посреди чахлых ельников и великого российского бездорожья поставленный, местом окончательного формирования Донского корпуса? Может, потому только, что здесь некогда жарким костром бушевало Разинское восстание и поблизости, в Темникове, сожгли старицу Алену, водившую казацкие и мордовские полки по-над Волгой? Или потому, что не миновал этой округи и

другой великий доиец, «осударь Петр Третий», он же Емелька Пугачев?

Молодой и дотошный комиссар Ефремов по прибытии на место достал какую-то растрепанную книжку, без начала и конца, из коей вычитал древние были о городе Саранске и с охотой пересказывал их в свободные минуты, после штабных совещаний и перебранок. Говорилось в книжке, будто в царствование велнкомудрой и милостивой правительницы Анны Иоанновны сидел тут воеводой нечистый на руку Исайка Шафиров, которого царские фискалы прямо на цепь сажали за многолетнюю городскую недоимку... При взгляде же на нищие окрестные поля, суглинки и болотистые трущобы, полунстлевшие городские срубы, черные и будто осмоленные от банной топки по-черному, с замшелыми кровлями из толстых пластин в полбревна, на подслеповатые оконца пригорода верилось, что недоимка здешняя копилась от века, без всякой надежды на светлые времена. Другое смущало ум: неужели и воевод в старое время сажали на цепь?

Но бывало и другое в Саранске. В те же примерно годы здешний дотошный кузнец Севастьяныч с подьячим Сенькой Кононовым смастерили будто бы подъемные крылья, а точнее, летак-самолет из тонких еловых дранок, обтянутых бычьими пузырями, ради того, чтобы из этого скучного места, где жить и терпеть невмоготу, к небу подняться, ближе к солнцу. И ведь летали, окаянные, взобравшись с теми крыламн на пожарную каланчу. Изумляли и булгачили здешний темный народ.

Говорилось в книге: когда снесло летак по ветру и посадило Сеньку Кононова прямо посреди базарной площади, то бежали отовсюду горожане — кто с топором, кто с вилами, кто и с дрекольем — бить нечистую силу. Сбились орущей толпой и непременно убили бы, если бы ушлый саранский подьячий не знал вещего слова. Уже и вилы-рогатины занес над ним какой-то сосед, и смерть полыхнула чернотой в отважные очи, но в смертную минуту сообразил бедняга крикнуть устрашающе: «Слово и дело — государево!» — и отхлынула толпа, опамятовалась. Пригрезился каждому вдруг высочайший кнут по нижайшему месту... То-то разумный народец у нас кругом!

Но сказы — сказами, а жизнь — жизнью. Пока ехали в эшелонах, тянулись в эту затерянную в лесах Мордовию, удавалось Миронову коротать вечера и дни, убивать время в заботах о довольствии и самочувствии красноармейцев и неизбежных стычках с попутными начальниками и стрелочниками разных мастей. Вечерами слушали чтение комиссара Ефремова, обдумывали последние оперативные сводки, слушали казачьи глухие песни из соседнего вагона перед сном. Но вот заскрипели тормозами вагоны, звякнули буфера, вывалились красноармейцы из осточертевших, тряских вагонов, провонявших едким мужским потом, застучали копыта изнудившихся лошадей по дощатым трапам. Заголосили взводные, и тут стало ясно командующему, что недаром заслали корпус в такую глушь и такую даль, — ждала тут всех большая перемена судьбы. И вместилась эта перемена целиком в телеграфную новость на станции: председатель Донбюро товарищ Сырцов, временно заменяющий самого Блохина, не утвердил кандидатуру Ефремова в корпус, а присылает на эту работу политотдел в полном составе из числа Хоперского ревкома с Виталием Лариным во главе, а комиссаром — Рогачева из Котельникова, которого сам Ленин как-то отчитывал по телеграфу... Они-то и встречали в Саранске прибывшие эшелоны, помогали квартирьерам. По уставу доложились Миронову, Булаткину и Скалову...

— Думаем, сразу — митинг на площади, — сказал маленький, губастый Ларин, которого Миронов встречал еще в Урюпинской. — Все готово, товарищи, и даже гражданское население созвано на митинг. Вас ждали!

Миронов хмуро и с непониманием посматривал на Скалова, высшего партийного представителя. Насчет срочного митинга высказался откровенно:

— Я думал для начала расквартировать людей и дать хороший обед, а потом уж переходить к речам и приветствиям. Маршрут ведь был длинный, утомительный.

— Ничего, проведем митинг, — возразил Скалов, просительно глядя на Миронова: «Не затевайте раздоров хоть с первой минуты!..» — Митинг не помешает. Раз уж люди здешние подготовлены.

Миронов кивнул, соглашаясь. Со Скаловым он спорить не мог, да и не хотел. Скалов был из справедливых и твердых людей.

...Так они и стояли на широком помосте-трибуне посреди привокзальной площади двумя группами. У переднего края, откуда надо речи держать, веселые и дружные хоперцы: Ларин, Кутырев, Болдырев, которого прочили в начдивы-2, и еще кто-то из саранских начальников. Речь говорил Рогачев. А Миронов, Булаткин, Скалов и озабоченно-сникший Ефремов, попавший в неловкое положение, ожидали своей очереди немного в стороне, как бы на вторых ролях.

Миронов был темен лицом, гонял на скулах желваки ярости, но продолжал внутренне сдерживаться. Огорчительный перевод штаба в Саранск, явное недоверие к нему в РВС Республики теперь дополнилось новым актом: никак не желательным назначением в корпус всей ларинской группы. Тут добра не будет, ясно уже с первой минуты... Можно, конечно, подать рапорт о сложении с себя всяких обязанностей и полномочий, попроситься куда-нибудь на малую штабную работу, но ведь все это, как принято говорить ныне, несерьезно. Ведь был его доклад у Ленина, было решительное обещание сформировать за месяц непобедимый красный корпус и разбить Деникина. Все остальное, товарищ Миронов, — от лукавого и может иметь лишь второстепенное значение!

Он смотрел в лица красноармейцев, тесно окруживших помост с тонкой планкой ограждения, и невольно встречал вопрошающие взгляды, доверчи-

вость, веселую ответность со стороны казаков, давно знавших его, и одно сплошное любопытство необстрелянных новичков. Были тут и бывшие дезертиры-солдатики, с потными и грязными скатками через грудь, они воспринимали все, что творилось вокруг, как затянувшуюся, скучноватую потеху. Одно дело — митинги семнадцатого года, когда душа рвалась на простор, другое — прошлогодние митинги в наступлении, когда полевые кухни следом не поспевали, и третье — нынче, когда ничего никто не знает, патронов к винтовкам нет, на одну пушку в корпусе — три снаряда и те холостые... У всех бывших дезертиров уклончивые, воровские глаза, скрытая насмешливость: а что, мол, ты за человек, Миронов, отчего к тебе так льнут казаки? Как нам-то тебя понимать? Были мы, паря, и царскими солдатами, были и красногвардейцами, пришлось посидеть и в зеленых, и мы еще поглядим, как ты поведешь дело — а то ведь нам недолго и опять «позеленеть»!

Рогачев говорил громко и дельно, угрожал больше не Деникину, мелкой сошке мирового капитала, а прямо всем хищникам Антанты доразу. Подавался корпусом через оградительную планку трибуны, держа в вытянутой руке новенькую суконную богатырку с синей звездой по всему налобнику, и растолковывал бойцам смысл мировой революции, интернационала, во имя которых следует либо победить, либо умереть с честью. Но слушали его с некоторым безразличием, потому что к таким речам успели уже привыкнуть. Ожидали больше последних новостей с фронта, а еще лучше — желанной команды разойтись по казармам и квартирам.

Виталий Ларин собирался уже перехватить речь от Рогачева, как эстафету, коснуться вредных демобилизационных настроений в среде отдельных бойцов, но тут к самой трибуне (она была невысока, всего в полтора аршина) протискался вдруг исхудалый, злой солдатик в потной и выгоревшей добела гимнастерке и тоже сунул навстречу Рогачеву суконную богатырку, прося внимания. И получилось так, что оба шлема — оратора и этого нечаянного бойца — встретились и соприкоснулись.

— Погоди-ка, товарищ! — громко сказал солдат с бледным, костяным от напряжения лицом, как бы отводя в сторону прямую руку оратора. — Погоди, мы про мировую контру и все прочее и без тебя сами знаем! Наслышаны! А вот мы ни тебя, ни других, стоящих с тобой тута, не видали ищо в боях, а потому и слухать, сказать, необязаны!

Толпа нехорошо оживилась. Повеяло вдруг полузабытым уже сквознячком прошлой анархии и партизанщины, недопустимой вольностью. Миронов вздрогнул и как бы очнулся, стряхнул с себя какое-то необъяснимое равнодушие. Никак нельзя было допускать нынче даже и малой анархии, а кроме того, показался этот бунтующий солдат вроде бы знакомым. Вроде тот самый, что весной прошлого года приходил в Усть-Медведицу из Себровки, просил разъяснений насчет коммун и потом еще, при отступлении из Михайловки, встретился на обочине дороги, сидел, прихватывая телефонным проводом отвалившуюся подметку... Как его фамилия? Скобцов, Скобарев, то ли Скобенко? Или — Скобиненко? Точно! Тот самый, но почему он здесь? Место теперь ему в дивизии, у Голикова... Или — по случаю тифа, может быть, как-то отстал от части?

— Мы вас не знаем, а вот тут зато сам Миронов, так вот его мы и послухаем с нашим удовольствием, он — геройский командир! Все знают!

Обнаруживался тайный накал страстей, какие-то казаки тоже протискались к трибуне и подняли гомон за спиной солдата:

— Зато мы всех тут знаем! Это ж хоперские трибунальцы, что в мирное время по станицам били шрапнелью в баб и стариков! И опять чего-то собираются агитировать! А Филипп Кузьмич почему-та ждеть приглашения?! Корпус-то чей называется?

— Такой командир! Приехал обратно на Дон вроде порядок наводить, а теперя другие инциатиф перехватили обратно, али как?

— Хотим Миронова сперва послухать!

Жаркая, предательская сладость разлилась в простодушном сердце Миронова (народ его ни за что не даст в обиду! Никогда, ни при каких обстоятельствах! Так заведено еще с 1906 года!.. Слышите, вы, искатели легкого успеха!..) — но трезвый разум подсказывал иное: загасить поскорее этот недобрый шумок перед трибуной! Что-то было в нем н е ч и с т о е, какая-то подстроенность мерещилась и в появлении солдата, и в ропоте ничего не подозревающих казаков...

«Ну, ничего, — успокоил себя Миронов. — Минуты через две-три можно и вмешаться, оборвать чрезмерно ретивых бойцов, а пока сделаем выдержку, чтобы приезжие хоперцы вместе со Скаловым восчувствовали, каково мнение масс, как рискованно с кондачка подходить к мирским делам в мирное время...»

— Товарищи! — зычно вскрикнул Ларин своим женственно мягким тенорком, выдвинувшись рядом с Рогачевым. — Товарищи, мы так условились: после текущей политики выступит командующий! Доклад о текущей политике должен сказать комиссар, товарищ Ро-га...

— Эт понятно, гражданин! — опять бесстрашно и как-то запросто, вроде за бутылкой водки, оборвал солдат самого Ларина. — Эт понятно, говорю! Токо у нас, служилых бойцов, доверия к вам нету! Верно я говорю, братцы?! — он уже оборачивался к толпе, требуя поддержки и сочувствия.

«Надо бы его арестовать, немедленно... — подумал Миронов. — Почему они допускают всю эту чертовщину?..»

Рогачев, железный ревкомовец из Котельникова, более всего любивший поговорку «Не дрейфь, жми крепче, злее будут!», тихо склонился к бунтующему солдатику и убеждал в чем-то, едва ли не шепотом разъяснял нечто непонятное. Но, конечно, без всякого успеха, потому что Скобиненко замахал уже и обеими руками:

— А и слухать нечего! Вы там, в Урюпине, пона-

блудили, а теперя опять к нам — хозяиновать? Требуем разъяснений, пущай сам Миронов про вас первое слово скажет!

— Товарища Миронова! Филиппа Кузьмича! — простодушно заорали казаки.

Была какая-то неуловимая наглость в поведении этого смутьяна в белесой, выношенной до ветхости гимнастерке. Виталий Ларин, сообразительный человек, сделал шажок назад и еще в сторону, как положено вызванному рядовому возвращаться в шеренгу, тихо обратился к Миронову: ну, что ж, дескать, Филипп Кузьмич, по всей вероятности, придется вам выступить первым, переломить момент. Изменим повестку...

Миронов унял темное чувство в душе, тайное злорадство над смятым и обезоруженным недоброжелателем своим и вышел на край трибуны. Момент был отнюдь не такой; чтобы заниматься полемикой с Лариным или ставить на место Рогачева. Три тысячи красноармейцев сгрудились вокруг невысокого помоста, сбитые с толку, ждали верного, облегчающего слова. От него, командующего. И Скалов, тоже встревоженный, сказал вслед:

— Придется выступить, Филипп Кузьмич. Я — за вами...

Лицо Миронова было чугунным от гнева и напряжения, от внутренней борьбы.

— Товарищи! Красноармейцы и красные казаки! — он уже взял себя в руки, расслабился, даже усмехнулся краем души. — Первое, что я вам скажу... Если бы подобный случай, который произошел у вас на глазах в данный момент, случился в боевой обстановке, то я бы этого «недоверчивого» бойца!.. я бы отослал его в трибунал, а возможно, и приказал расстрелять на месте!

Сразу стало тихо. Вся площадь обмерла и сомлела от такого голоса.

— Что же получается, товарищи? — крикнул Миронов громче. — Деникин и вся южная контрреволюция... воспользовавшись нашими промахами, митинговщиной и болтовней, как у нас тут вот сейчас... а также безобразными реквизициями ревкомов в тылу, за нашей красноармейской спиной, ну и по причине других трудностей военного времени... Эта контрреволюция, товарищи, ломит на нас стеной, наступает по всему фронту! Деникин уже забрал у нас Царицын и Балашов, рвется к Воронежу, и тысячи виселиц с телами ни в чем не повинных рабочих и крестьян поднялись в городах и селах, сданных врагу, и висят они под сатанинский хохот всей мировой дряни, на радость спекулянтам от политики и провокаторам разной масти! Война — по всей земле, от края и до края! Оттого-то, как вы сами видите, нас и отодвинули формироваться в глубокий тыл!..

(«Боже ты мой, как легко врать «во спасение», как словами-то легко и просто жонглировать на виду у всех, — даже и не вернется... — душа у Миронова сжалась. — Ты ведь и сам не знаешь, как и почему вас отодвинули в эту тыловую глушь!»)

— Нас отодвинули в запас, впредь до окончательного формирования трех полных дивизий, товарищи! — убеждая в чем-то заодно и себя самого, горячо выкрикивал Миронов. — Через месяц, полтора от силы, мы выйдем грозной волной к фронту, и тогда... ни одна белая сволочь не устоит перед нашим натиском, доблестью вашей, товарищи мои! Такое твердое обещание я на днях дал в Москве лично товарищу Ленину!

Толпа тихо колыхнулась и теснее сгрудилась вкруг трибуны. Одно только имя Ленина напрочь сметало с лиц подозрительность и непонимание, мелкое любопытство к происходящему. Исторгало из глоток единый и дружный вздох облегчения, полнило души доверием и немым восторгом.

Нет, неправда, что эти толпы не понимали тех сложностей своего времени, о которых знали или просто догадывались немногие умы да верховные штабы. Неправда! Всё он знает и понимает, этот приморенный и даже неряшливый с виду солдатик, только связно высказать затрудняется до времени... Оттого-то и проникают ему в душу слова правды, искренность надежного командира. Перед ними не надо кривить душой, перед ними нужна открытость: вот где она, правда-истина неделимая, завет нашей революции, други мои и недруги, вот чем мы богаты искони, вот чем оборонимся и победим!

Миронов чувствовал, что смягчается сердцем, успокаивается. Унял голос:

— Тут я пригрозил этому солдату — за анархизм...

Напряглась снова тишина по всей площади, ждали какого-то божьего наказания, затихли в общей опаске, поэтому можно было говорить вообще без всякого напряжения, как в домашней беседе:

— Солдат этот.., бывший боец героической 23-й стрелковой дивизии, которая гнала генерала Краснова в хвост и в гриву, гнала до самого Донца, и если бы не... И если бы не наши общие прорехи и ошибки, то мы бы войну там и закончили еще перед севом... — голос командующего все-таки прервался и сел от скрытой обиды. Миронов достал носовой платок и осушил вспотевшее лицо. — Этот боец подлежит безусловному наказанию, товарищи, но я прошу вас... Поскольку мы не в боевой обстановке... прошу всех вас повзводно обсудить его поступок и написать в политотдел свое красноармейское решение, чтобы вынести общественное порицание за вопиющую недисциплинированность! За неуважение к новым нашим сотоварищам и одиосумам по борьбе и лишениям, которых ныне направил фронт для политической работы в корпусе...

(«Черт знает, что ты несешь ныне, дорогой товарищ Миронов... Никогда в жизни твоя речь не была столь путаной и двуличной! А запутался ты исключительно из-за этих хоперских активистов не по разуму, черт бы их взял вместе с наркомвоеном и его другом Ходоровским!.. Запутался, безусловно, и все же, с другой стороны, жить и работать дальше тоже как-то надо, иначе нельзя...»)

— Решайте, товарищи, сообща и коллективно!

Заулыбались напряженные до сей минуты лица бойцов, оживились и заблестели глаза, шевельнулись люди, будто с каждого свалилась непомерная тяжесть, стали толкаться, местами загомонили. Страшная минута прошла, миновала чья-то смерть, не послали этого дурня Скобиненку в трибунал, ну и слава богу! Миро-

нов этот не только службу знает, но, как видно, и душу человечью иеплохо понял, то-то его и хвалят бывалые вояки! Говорили и раньше: никогда своего бойца в обиду не давал, потерь в его дивизии почти не было. Похоже, что и правда...

— Я скажу также насчет нашего политического отдела, товарищи красноармейцы! — вдруг с усмешкой сказал Миронов, неожиданно и как-то невольно решившись на открытое прояснение отношений раз и навсегда. И ему показалось, что за спиной недовольно кашлянул Рогачев, а над площадью стало так тихо, что муха не пролетит.... — Надо прибывшим товарищам знать тоже, как о них в мнру говорит и судит народ. Не на собрании и не в строю, а каждодневно, чтобы не допускать таких ошибок в будущем. Люди они, как видим, молодые, горячие, не могли понять, что лихость только в атаке хороша, да и то не всегда. А в быту либо в поле с плугом лихачить нечего! На пахоте если, скажем, то много огрехов будет, да и нареканий от понимающих работу людей... — тут Миронов счел нужным все же снизить самый тон своего выступления примиряющим вопросом: — Но кто же, товарищи, гарантирован от ошибок в такое бурное время? А никто!

(«Опять понес ты околесицу, Филипп Кузьмич... Ведь не подкупишь ты Ларина ничем, добра с ним не будет до скончания веку, а народ сразу подметит эту твою слабовольную хитрость, «на живую нитку»...»)

Однако раздумья эти, обрывчатые и смутные, не могли уже сдвинуть его с избранной колеи:

— Тогда мы должны решить и постановить тут раз и навсегда: дисциплину со стороны массы соблюдать как в строю, так и на митинге, докладчиков не прерывать! Если что и непонятно, то спокойно задавать вопросы по истечении доклада! Ну вот... А товарищи политработники будут нас политически просвещать и агитировать, учитывая весь опыт недавней борьбы на Дону, и сами тоже поймут, что их в крепкий и надежный воинский коллектив направили для более тесного соприкосновения с массами, для повышения всей их политической грамотности — взаимно, так сказать!

Кое-кто уже и посмеивался внизу, начались переглядывания. Политотдельцы хмурились, Рогачев опять закашлялся.

— Между тем этаким порядком мы и придем к полному единению, — продолжал Миронов. — Все мы тут кровно переживаем и болеем за идею Советов, идею социальной революции и всеобщего трудового братства, и вот на этой-то большевистской платформе мы и объединимся для общего дела, товарищи! Для общей победы над врагами трудового народа!

Немножко путано было сказано, однако многие поняли вполне определенную мысль командующего: коекаких политработников еще и самих надо воспитывать, особо воли не давать... Миронов, чтобы сгладить свою речь окончательно, тут же распорядился относительно военных учений, а также насчет расквартирования и обязательных работ в пользу местных жителей и окрестных обществ, а затем Скалов, хмурый и сосредоточенный, в несколько слов закруглил митинг.

Когда расходились, Ларин холодно откозырял Миронову и, отводя глаза, ледяным голосом пообещал зайти на огонек, вечером...

Ларин...

В отличие от Миронова, натура которого поражала чрезмерной широтой и обнаженностью всех его побуждений (которые он и не пытался скрывать), предельной доверчивостью и, разумеется, неистовой горячностью по мелочам, Виталий Ларин, учительский сын из станицы Арженовской на Хопре, был политиком до мозга костей, гибким и в то же время жестоким человеком. Он многое знал, много интуитивно чувствовал в корне и существе тех общественных сдвигов и потрясений, которые перекраивали российскую жизнь заново. Кое-что он предполагал и наперед.

Так, едва осознав нависшую над его начальником Сырцовым опасность после верхнедонского восстания, какую-то еще неясную до конца, но вполне допустимую т у ч у, — прошелестели какие-то неопределенные толки в верхах о его якобы несоответствии, — Ларин мгновенно написал докладную записку в Оргбюро ЦК, в которой, во-первых, постарался взвалить всю вину за ошибки на единоличный диктат Сырцова, а во-вторых, отмежевался от этих ошибок наотрез, словно сам был при них сторонним наблюдателем. Он указывал на глубокие разногласия Сырцова с Ковалевым, бывшим председателем Донреспублики, выделяя особо вопрос замещения руководящих должностей некомпетентными товарищами, и делал выводы:

...Южфронт очутился в области малознакомых ему фактов и настоял на создании Отдела Гражданского управления, поставив во главе одно лицо — Сырцова... Недоумок этот влачил жалкое существование при РВС фронта, имея смелость настоять на необходимости сдачи Донской области под его высокую руку... не имея ни денег, ни работников. Во главе окружных и станичных ревкомов ставились элементы, наиболее пострадавшие от Краснова, которые, вспоминая прежние обиды, допускали ряд безобразий, были сплошь и рядом нечистоплотны... За отсутствием работников контроля развивался бандитизм.

Благое желание Донбюро — решительная чистка Донщины — при наличии на местах тупоумных работников привело к обратному: из меры революционной превращалось в меру контрреволюционную... Каковы результаты? Основы кулачества, «сливок» к тому времени в округе не осталось. Нашу карающую руку в большинстве испытали только хуторские атаманы[1] да непроглядная темнота...[2]

Ларин в этот момент готов был отмежеваться от сторонников Троцкого, честно проводить линию центральных декретов и покойного друга своего Ковалева. Но тут оказалось, что Сырцов не так уж слаб... Оказалось, что он силен даже не сам по себе, а той силой, которая стояла за ним, в первую очередь в лице самого председателя РВСР... Ларин понял, что поторопился. Зная тем более, что противников Сырцова иногда

[1] Х у т о р с к о й   а т а м а н — выборный сельский староста на общественных началах.

[2] ЦГАОР, ф. 1235, оп. 82, д. 15, ч. 1, л. 320—324.

постнгает участь до такой степени страиная и нежелательная, что лучше о них не вспоминать.

Из установок, полученных в Пензе от товарища Смилги, он понял одно: прощение ему как за прежние «перегнбы» в Урюпннской, так и за скоропалительные откровения в Оргбюро прямо связано с определенной лннией в отношенни Мироиова и его корпуса. Выбора не было...

Вечером, в полутьме штабного вагона — кероснновая лампочка тускло освещала только дальний левый угол пространства, — Ларнн напрямнк заявнл Миронову, что он не потерпит подобного подрыва авторнтета как своего, так и всего отдела, допущенного Мнроновым на мнтинге. Во-вторых, выяснилось странное обстоятельство, что вндный комаидир Красной Армин обнажил вдруг открытое и странное свое непоннмание роли коммунистов в армейской работе...

Этого было вполне достаточно, чтобы пресечь всякую возможность к дальнейшему взанмопониманню. Сначала Миронов собирался объясннть, что он был у Леннна и Калинина н этих коммунистов признает в качестве народных вождей и, безусловно, нм подчиняется... Но в груди закипело, Миронов вдруг спросил холодио:

— А вы, собствеино, почему у дел, товарищ Ларин? — Холодея от приступа бешенства, выпалил в лицо юного политика: — На митннге я еще не все сказал, товарищ Ларин! Там я не мог, не имел права перед лицом своих же бойцов! А сейчас я вам иапомню нзвестиое воззванне Реввоенсовета фронта за подписью товарища Трифонова! О тех иегодяях, которые еще ждут своей пули! У которых руки в крови невинных жертв... Вы — политическнй банкрот, и вам лучше бы скрыться куда-нибудь в подворотню, чтобы не смущать честных борцов за ндею, не марать партню коммуннстов!

Ларнн закусил губы и пошел к двери. Миронов сказал вслед:

— Имейте в виду: больше перед массами я вас ограждать и оправдывать не буду! Себе дороже...

Все мосты были сожжеиы в эти непоправимые минуты.

ДОКУМЕНТЫ

В Казачий отдел ВЦИК
6 августа 1919 г.

Официальное формирование кавдивнзий началось с 11 июля. Налнчного состава казаков достигает до 2,5 тысячи, пополнение поступает плохо, обмундирование н снаряженне получилн неудовлетворнтельное, то есть не в полном комплекте снабженне людей и лошадей.

Что же касается политической работы в днвизиях, то можно отметнть следующее. Партйных работнков достаточно, вся завнсящая от ннх работа в воспнтанни казаков в полнтнческом смысле проходит не весьма успешно, является сильная преграда со стороны Миронова, который ведет открытую агнтацию протнв партии коммунистов на митингах и собраннях... и все время стремится указать казакам иа все мелочные упущения партин...

Прн дивизии имеется политотдел, который ведет агитацноиную работу, при полках оргаиизованы культурнопросветительные кружки, ежедневно производится чтение лекцнй, настроение казаков покудова удовлетворнтельное.

Политком *Зайцев.*

Саранск. Комдонкору Маронову. Лично

...Я доехал сегодня, был в Кремле, приступаю к организацни своей базы, надеюсь получить все. Завтрашнй день с тов. Макаровым думаю пойти к тов. Ленину, буду говорить о формнрованни нашего корпуса, объясню весь тормоз его формнрования, постараюсь выброснть весь тот элемент, о котором вы мне говорилн. Тов. Ларниа нз корпуса убирают совсем, а Рогачева, его, кажется, арестуют, так как на него было заявлено, что он заннмался разной нелегальной конфискацией и реквизнцией.

Тов. Миронов, вы действуете так, как подсказывает совесть каждого революцнонера, стоящего иа защнте Советской власти. Зиайте, что центральная власть вам оказала полное доверие как честному и преданному революцнонеру-борцу. Весь разговор и наши с вами миения будут проведеиы в жнзнь, тов. Леинну н на заседаини ЦК.

А пока счастливо оставаться, желаю искрениего успеха в вашей работе по формированию корпуса, иу, пока.

Зайцев.

Саранск. Члену РВС Донкорпуса тов. Ларину В. Ф.

До сведення Казачьего отдела ВЦИК дошло через тов. Авнлову, что соображения, изложенные в докладе политкомов за № 1 от 6 августа с. г. по поводу тов. Миронова, Вами не разделяются и что Вы поэтому счнтаете за лучшее ие прндавать этому докладу значения. Я всецело прнсоединяюсь к Вашему мненню, но наряду с тем желал бы выслушать Ваш совет по поводу того, во-первых, следует ли содержание этого доклада предъявнть тов. Миронову на предмет получення от него объясненнй, что я счнтал бы справедливым не только ввиду общего порядка, но н потому, что он состоит члеиом Казачьего отдела ВЦИК...

Лнчно я в революционной честностн тов. Миронова не сомневаюсь. Насколько я его знаю, как из лнчных с ним бесед, так и иа основанни его доклада в Казачий отдел, а также и докладов его в моем присутствии председателю ВЦИК тов. Калинину и Председателю Совнаркома тов. Ленину, тов. Мнронов произвел на меня вполне определенное впечатленне преданного боевнка Красной Армни, работника в пользу Советской властн.

По порученню Казачьего отдела ВЦИК прошу Вас, тов. Ларнн, прнслать письменный доклад о работе в Хоперском округе с Вашими соображениями об ошибках Советской власти для избежания повторения их в будущем и передать своим товарнщам, может быть, кто из них напншет для Казачьего отдела письмеиный доклад относительио продовольственной политики и реквизиций.

У меня лично имеется уже около десяти обстоятельных докладов ответственных работников... из районов Котельниковского, Морозовского, Усть-Медведицкого, Миллеровского, а также о пресловутых Донбюро и Гражданупре. Все эти доклады уже сообщены Президиуму ВЦИК, на основании чего курс советской политики к казачеству резко изменился: от огульного и бесшабашного террора, как это делали Плятт, Гие и Френкель, переход к самому осторожному, разумному и внимательному отношению к трудовому казаку — середняку и бедняку, принимая во внимание как исторический уклад жизни и быт, так и экономическое и культурное развитие казачества. ЦК партии большевиков тоже сейчас занят разработкой казачьего вопроса.

Поторопите, пожалуйста, тов. Миронова, чтобы скорее высылал приемщиков с деньгами за сукном, в противном случае наряд на 5600 аршин синего и 700 аршин красного сукна будет аннулирован. Цена аршина сукна 80 руб.

Шлю Вам товарищеский привет и прошу Вас написать ответ с подателем сего, тов. Сониным, экстренно и специально командированным к Вам.

Комиссар по казачьим делам ВЦИК *Макаров*[1].

Москва. По месту нахождения Зайцева
18 августа 1919 г.

Тов. Зайцев!

Извиняюсь, что не через Вас передал доклад политотдела и доклад РВС.

По получении письма отправляйтесь в канцелярию Совета Народных Комиссаров (СНК), вызовите секретаря Авилову Марию (у нее доклады) и с ней постарайтесь пройти к Ильичу, без Казачьего отдела ВЦИК, он слепо верит в Миронова.

Привет от Скалова.

Член РВС *В. Ларин.*

4

Больше всех был озабочен организационными неурядицами и открытыми распрями в штабе старый политработник Скалов. Уже повидавший жизнь человек, он не мог не видеть ту обструкцию, которую творили Ларин и Рогачев в отношении командующего, и в то же время не мог до конца оправдать словесной невоздержанности Миронова, когда он почти открыто, на собраниях, называл кое-кого из политработников лжекоммунистами. Он мог лишь разделить всю его душевную боль и неустроенность в нынешнем положении...

Миронова видел «до дна» не только Скалов, комкор был открыт и почти беззащитен для недругов, тем более что его доверчивость и готовность служить делу и долгу натолкнулись теперь на такое препятствие, которое нельзя победить или разрушить сразу, одной атакой. Сказывалась, по-видимому, и возрастная усталость душ, тот опасный момент прозрения, когда человек начинает исподволь ощущать тщету собственной жизни, ее главной линии. Его охватывало иногда чувство бессилия и почти постоянно душевное одиночество... Именно поэтому опытный и крепкий нервами вояка стал то и дело срываться, проявлять бешенство и нетерпимость, а его противники в один голос стали утверждать, что т а к о й Миронов попросту опасен. Ходит он злой, взъерошенный, не дает никому спуску, кричит, а на вопросы красноармейцев, почему на фронте провалы, а корпус не формируется, отвечает прямо, что-де виноваты лжекоммунисты, примазавшиеся к партии и новой власти, которых надо гнать отовсюду грязной метлой, как было в Морозовской и Урюпинской станицах. А его высказывания шли, разумеется, как круги по воде, порождали новые, расширительные толкования...

Скалов пригласил Ефремова и зашел под вечер в салон-вагон командующего, побеседовать, унять страсти.

Миронов при тусклой лампочке читал какие-то письма и был с виду спокоен. Приказал ординарцу Соколову поставить самовар, с удовольствием прочитал вслух два письма: от Михаила Блинова, из-под Новохоперска, с тревожными сообщениями о больших потерях и тяжелых рубках с конницей белых и другое — из родной 23-й дивизии, от бывших помощников Ивана Карпова и Фомы Шкурина. Дивизия стояла пока что на отдыхе в Глазуновской, и там все обрадовались, что Миронова вновь вернули на Дон и теперь-то он с широкими полномочиями начнет бить контру как следует! И они вроде ждут не дождутся, когда их дивизию включат в новую армию Миронова.

Земляки писали:

«Тут ходят слухи, что Миронов наш уже на Поворине, а другие говорят, что еще только выступает, но задумал он план отрезать Царицын с кадетами в котле, а остальную контру гнать аж до Черного моря, и ему даны широкие полномочия производить чистку всех саботажников...» Филипп Кузьмич прочел все это простодушное и дорогое его сердцу изложение и желчно усмехнулся. Сказал, глядя почему-то в сторону, во тьму угла:

— «Он задумал отрезать...» Чувствуете, друзья мои? Это ведь не я придумал, об этом народ сам мечтает. Да и никак не хотят верить люди, что командир их как-либо сплоховал или вообще «не у дел» — не такой вроде бы командир был! А тут вот дела-то... Ни людей, ни лошадей, ни винтовок... Совсем невеселые дела, если в корень глянуть. Вот еще два направления на мою голову! — он подал две бумажки со штампами из Воронежа и напряженно посмотрел на Скалова, ожидая неизбежного вопроса.

— Ну и что? — тут же спросил Скалов, не находя ничего примечательного в незнакомых для него фамилиях Лисин и Букатин в обычных сопроводиловках на двух новых работников в особый отдел корпуса.

— А то, что это — старые мои знакомые из ревкома Михайловки, — выразительно сказал Миронов. — Старые дружки Федорцова и Севастьянова, ко-

[1] ЦГАОР, ф. 1235, оп. 82, д. 15, ч. 2, л. 390—413.

торые сразу «заболели» в момент эвакуации, и я их еще тогда предал анафеме!

Скалов при этих словах выразительно вздохнул. Но Миронов не обратил на этот вздох никакого внимания.

— Из Царицына недавно поступили приятные новости: Федорцов и Севастьянов будто бы исключены из партии — как думаете, за что? «За учинение склоки с начдивом Мироновым»! Что это такое, что за двойная игра, товарищ Скалов?

— Ну, хорошо. А Лисин и Букатин, они при чем?

— Оба — бывшие каторжники.

— Каторжники ведь разные бывали, — неуступчиво сказал Скалов. Горячность Миронова его начала раздражать.

— Да нет, не за политику они изволили пребывать в кандалах, а за грабеж на большой дороге! Их взяли в Михайловке лишь для приведения приговоров в исполнение, как специалистов по мокрому делу! Какие, к черту, они работники! Я прошу это расследовать, товарищ Скалов, и — со всей строгостью. Кто это подбирает мне штаб?

Скалов молчал долго, рассматривая бланки направлений из Воронежа, думал обо всем пристрастно и тяжело. В меру назревавшего в штабе кризиса, за который он, Скалов, мог поплатиться в первую голову.

— Это же опять работа Сырцова, — сказал Ефремов и тяжело вздохнул.

— К сожалению, не только Сырцова, — нахмурился Миронов, уже не скрывая своей усталости и раздражения. — Целая шайка смутьянов и врагов действует почти на глазах, а кто и где, под какой личиной — понять трудно... Не могу... Была уже такая мысль у меня: подать рапорт о сложении полномочий, уйти либо в мелкие штабисты, либо вообще на покой, как положено военному инвалиду. Но нельзя же! Никак нельзя, и перед людьми, каких я повел прошлой весной в Красную гвардию, за Советы, и перед Москвой, если хотите. Ведь я самому Ленину слово дал, что разобью передовые части Деникина! Как же теперь? По слабости характера уйти, не оправдать доверия?

Скалов и сам не так давно поручился перед Лениным за комкора Миронова и его будущий корпус... Он помолчал в глубокой задумчивости, отложил с небрежностью две бумажки с незнакомыми фамилиями и сказал внятно:

— Я вот что думаю, Филипп Кузьмич... Я думаю, что весь этот узел надо разрубать нам одним махом, чтобы ничего от него не осталось. По-большевистски, как у нас говорят. Я со своей стороны кое-что попробую сделать в Москве, меня как раз срочно вызывают в Реввоенсовет. Но это — меньшая половина дела. Главное же — в вас, Филипп Кузьмич. Надо, во-первых, сдержать этот гнев, эту накипь за прошлые обиды, свободу высказываний, вроде: «Не вошь точит, а гнида!» Мне передавали. И знают, конечно, в политотделе, о ком речь... И потом, что у вас за дележ всех наших партийцев на большевиков и коммунистов?

— Так по станицам начали говорить. Выходит, что так... для многих понятнее.

— Неправильно это. У нас — одна партия, фракционность мы не потерпим. Кстати, Ларин и Рогачев лично даже в нашей партячейке большинства не имеют... Короче, речь я веду о том прежде всего, что вам, как испытанному красному командиру, надо вступить в нашу партию, товарищ Миронов. Пора. В этом весь корень вопроса.

Возникло некоторое замешательство, потому что Миронов удивленно посмотрел сначала на Скалова, потом на Ефремова и развел руками:

— Все, кто пошел с Красной гвардией в семнадцатом за декреты Совнаркома, за Ленина, все мы в душе партийные люди. Хотя я в нынешней обстановке иногда и подчеркиваю свою беспартийность. Но тут речь об оформлении... А принимать кто будет? Опять эти хоперские во главе с Лариным? Так они уже поговаривают в некоторых эскадронах: Миронов-де никакой не революционер, а вредный анархист и претендент в новые донские атаманы! И что придерживается он вообще-то программы эсеро-максималистов. Ну, разве не гниды?

— Я же сказал, что Ларин имеет вес только по должности, а большинства за ним нет, — сказал Скалов.

— Рекомендации вам, Филипп Кузьмич, собрать будет нетрудно, — подтвердил Ефремов. — Завтра же напишите заявление Ларину, это главное.

— Ну вот. В том-то и дело. А то — эсеро-максималист! — с негодованием сказал Миронов, расхаживая вкруг стола. — Впрочем, вы, товарищ Скалов, в Москве особо поинтересуйтесь, по какой такой нелепой причине в корпус стаскивают всякую шваль и личных недругов Миронова.

— У меня на этот счет и своя нужда есть, — кивнул Скалов.

Филипп Кузьмич сунул бумажки-направления в нагрудный карман и озабоченно потер ладонью горячий лоб.

Тревога не проходила.

Вечером, глядя на сильно располневшую Надю (она ходила на последнем месяце беременности), сказал тихо, увещевательно:

— Знаешь, Надюша, времена у нас пожарные, а ты в таком положении... Давай-ка я отвезу тебя в Нижний, к твоим родственникам, на это время? Согласна?

Она благодарно глянула на него и отчего-то заплакала.

С большой проверкой от ВЦИК прибыл в корпус член Казачьего отдела и член РКП(б) Феодосий Кузюбердин. Старый военный, тот самый офицер-большевик, который дежурил по штабу 4-го Донского казачьего полка в Питере в ночь на 25 октября 1917 года и не поднял казаков по телеграмме Керенского. Он жил в Саранске целую неделю, дожидаясь Филиппа Кузьмича из поездки в Нижний, проверял документы, переписку, взаимоотношения в штабе. Комиссар Рогачев заверил его, как представителя центра, что частичные недоразумения с Мироновым были, но, по-видимому, будут вскорости изжиты, так как он подал заявление о приеме в партию. С другой стороны, командую-

щий должен в корне изменить свой подход к политотделу, не усложнять вполне ясных вопросов.

— О составе политотдела, между прочим, идут споры даже в Москве, — как бы между делом заметил Кузюбердин, понимая всю ответственность свою, как представителя центра.

— Реввоенсовет от нас ближе, тут много не приходится спорить, товарищ, — столь же прозрачно намекнул Рогачев.

— Не вошь точит, а гнида, — в свою очередь вздохнул Миронов.

Уехал Кузюбердин в великой озабоченности. Посоветовал комкору успокоиться — насколько это возможно — и ждать вестей из Москвы.

— Вы мне обещали помочь! — доказывал свое Миронов. — Либо работать как следует, либо плюнуть на все и уступить этим лизоблюдам Троцкого! Почему до сих пор Казачий отдел не прислал своих представителей в подив, в полковой политсостав?

— Причина, Филипп Кузьмич, кругом одна и та же, — сказал на прощание Кузюбердин. И вздохнул.

В тот же вечер за Мироновым зашел Ефремов: приглашали на собрание. И когда шли в темноте от штабных вагонов до крайнего дома в городском посаде, где разместился политотдел, Ефремов предупредил, чтобы Миронов собрался, взял себя в руки — возможно всякое.

— А что? Решили без Скалова меня... обкатать? — спросил Миронов.

— По-видимому. Тем более что вы сами даете поводы... Заявление ваше, Филипп Кузьмич, написано несколько странно, я бы сказал!

Миронов только усмехнулся во тьме и отмолчался на этот раз. Заявление действительно он писал сгоряча, как вообще не пишутся деловые бумаги. Но ведь и понять должны! С другой стороны, робеть тоже не приходится. Недаром он начинал службу свою с ночных разведочных поисков по японским тылам в лесной Маньчжурии...

У крыльца мигали цигарки постовых красноармейцев, было тихо. Миронов с Ефремовым прошли через узкий чулан, закрыли за собой щелястую, чуть скрипнувшую дверь.

Лампа с картонным абажуром, одна на всю комнату, стояла посреди стола и округло освещала по крашеной столешнице бумаги и руки председательствующего Ларина, молодые, тонкие и нежные, как бы даже девичьи или женские руки. Лица всех скрадывались за чертой тени, выражения лиц и глаз тонули в тени единого для всех абажура. Кто-то пригласил сесть ближе к столу, выставили для этого два стула с гнутыми спинками.

Ларин прокашлялся и объявил, что это не собрание, на котором должен состояться по уставу прием в партию, а очередное заседание штабной политгруппы в расширенном составе. Отсутствует лишь товарищ Скалов, третьего дня выехавший в Москву. Тем не менее следует заслушать товарища Миронова, которому еще предстоит предварительно выдержать трехмесячный стаж сочувствующего РКП(б) и за это время собрать необходимые рекомендации от членов партии, буде такие найдутся к тому времени. Затем предоставил слово политкому штаба Рогачеву.

Длинный, упрямо глядящий на всех Рогачев начал без обиняков:

— Мы, товарищи, решили собраться в узком кругу и как бы предварительно, по той причине, что заявление от комкора товарища Миронова... поступило... о приеме его в партию большевиков-коммунистов, но, товарищи, в таких выражениях, что его, по нашему глубокому убеждению, никак нельзя зачитывать на общем собрании, то есть в присутствии рядовых бойцов, состоящих в партии. Заседание, выходит, у нас чрез-вычайное...

Сам Рогачев стоял в тени, на свету шевелились только его руки, сухие и нервные, шелестевшие пачкой исписанных бумаг, в числе которых он держал и заявление Миронова. Эти дрожащие руки почему-то успокоили Миронова.

— Вот вы, товарищ Миронов, здесь, как бы сказать, такую преамбулу дали, к заявлению... Вы встаньте теперь, товарищ Миронов, мы с вами коллективно и уважительно будем обсуждать этот вопрос...

Все-таки Миронов не мог ожидать, что атака наступит так скоро, сразу, без всякой подготовки, даже и не атака, а какой-то налет из-за угла. Оглядел в полусумраке лица сидящих: маленькое, губастое и сосредоточенное до крайности лицо Ларина, столь же сосредоточенный профиль Кутырева, рядом с ним приопущенный лик с аккуратно подстриженными на английский манер усами — Болдырев, чуть подальше облокотился на стол и подпер щеку ладошкой плечистый Булаткин, за ним едко улыбающийся Данилов (он не терпел Рогачева и Ларина и не хотел скрывать этого), на отдалении и мельком увидел лица Оскара Маттерна, латыша, начальника оружейного склада, и политотдельской девушки Клары, подстриженной под мальчика...

Миронов послушно встал, заложив руки за спину. Желваков на скулах никто не видел, картонный абажур на ламповом стекле, отбрасывающий свет вниз, тут был весьма кстати...

— Так вот... — продолжал Рогачев, выделяя особо подчеркнутую вежливость в голосе. — Так вот я зачитаю эту преамбулу, товарищи.

Пришлось склониться к самому столу, чтобы держать листок в полосе лампового света.

— Написано так: «В политотдел 1-й Донской кавдивизии от комдонкора гражданина Филиппа Кузьмича Миронова...» Хорошо. А дальше: «Не имея сведений о бюро эсеро-максималистов и не желая знать о их местонахождении, прошу содействия коммунистов дивизии о зарегистрировании меня членом этой партии...» Что это значит, товарищи? Да, дорогой товарищ Миронов, выходит — исключительно по духу вашей фразы — вам, собственно, все равно, в какую партию вступать? Так ведь получается? А ежели имели б сведения «о местонахождении бюро эсеро-максималистов», то?..

— Ну, зачем так-то уж! — громко выдохнул над столом крепкий Булаткин, и в ламповом стекле заколебался огонек. — Лишнее это у тебя, Рогачев. Всем же ясно, почему так в заявлении написано...

— Хорошо, — спокойно, хотя и иесколько поспешио, кнвиул Рогачев. — Дальше! Тут товарнщ Мнронов приводит лозунгн нашей партии, с которыми он-де полиостью согласен! А мы и ие сомневались в этом... Но дальше ои снова отступает в посторонние рассуждения и софизмы, товарищн, как, например... Вот иаписано, как говорится, пером и иедвусмыслениo: «Заявление это я делаю в снлу создавшейся вокруг меня клеветнической атмосферы, дышать в которой становнтся трудно. Желательно, чтобы Реввоенсовет Южного фронта и ВЦИК, его председатель тов. Калинии, председатель РВС Республикн тов. Троцкий н Председатель Совета обороиы тов. Ленин были поставлены в известность...» Вот, товарищн. Каждому непредупрежденному человеку ясио нз прнведениого, что все это — не рядовое заявленне сочувствующего в партию, а попытка иекоего своего — очередного прн этом! — меморандума, попытка оградить себя, как личность пока беспартийную, от справедлнвой крнтики товарищей, тем более оградить высокими именамн иашнх дорогих вождей. Это мы тоже инкак не могли бы оглашать в красиоармейских массах. При всем уваженин к вам, товарищ Миронов, — тут Рогачев даже приложнл к грудн длннную ладонь и сжал в пальцах ремеиь портупеи. — Но самое чудовищиое напнсано дальше...

Миронов продолжал стоять посредн сидящих, сцепив за спиной рукн, ждал.

— Вот концовка, в том же духе: «За такую Республику я боролся и буду бороться, но я не могу сочувствовать борьбе за укрепление в стране власти произвола н узурпаторства отдельиых лнчностей, кон, особенно на местах, не могут утверждать, что они являются избраиными от лица трудящихся...»[1] Точка. И конечно, подпнсь: «Миронов».

После выдержанной и хорошо рассчнтанной паузы Рогачев заложнл нзмятые и как бы нзмучеииые его нервными пальцамн бумажки в папку, завязал тесемки и задал вопрос в пространство:

— Как все это назвать, товарищи?

Было некоторое замешательство, скованиость, понимание «передержки» в выступлении Рогачева, н Миронову здесь в самый раз бы взорваться, накричать, хлопнуть, иаконец, дверью. Но он снова почувствовал в себе снлы держаться и дальше, как только обратнл винмание на пальцы Рогачева, завязывающие тесемкн. Да, пальцы этн были неуверены в себе, а тесемкн вдруг напомннлн другую папку с бельевымн завязками... Случай прошлогодний, когда он отчнтывал в Михайловке Ткачева за пьяный разгул в слободе и у того тоже тогда подрагнвали руки...

Между тем, чувствуя неловкость минуты, широко н как-то пропаще вздохиул Ларии, будто прощался с чем-то дорогим в душе, н сказал с гневом:

— Неслыханно. Ииого ие скажешь. Вызов нашей общей моралн, вот как это нужно квалнфнцнровать!

— Просто бестактность. По отношению к коллективу, — сказал из-за плеча Ларина Кутырев. Болдарев выразнтельно крякнул.

Миронов усмехнулся, хотя усмешка была отчасти и натянутая, почтн нежнвая:

— Возможно, и «бестактность», но — как вы поняли — с определенной целью. Чтобы помочь всем, сидящим здесь, в том числе и мне... освоиться, понять, так сказать побуждения. Революция освободила человеческую личность от всего темного и казенного, что унижало ее достоинство... Мы же свои люди, зачем нам таиться? Вы имели возможность высказаться, но теперь позвольте и мне.

Ефремов удивленно смотрел иа Мнронова и почти не узнавал его. Комкор обычно вспыхивал по мелочам, из-за нелепости или непонятиостн какого-то факта, случая, затруднеиия. Все уже прнвыкли к его «горючести», невыдержанности, а кое-кто и прямо рассчитывал на нее. И вот — такое иеожнданное хладнокровие. Почти как в бою.

— Что нменно вы хотите сделать, друзья? — продолжал Миронов с холодком. — Всем же ясно, что во всей ныиешней общественной неразберихе, в тайной глубине, так сказать, действует какая-то сильная н злая воля. Ее прямо ие вндно, но почувствовать легко... И вот надо, видите, морально уничтожить какого-то одного человека, скажем, Миронова. В угоду той самой потаенной воле илн группе лиц! И вы, положим, преуспеете в этом, допускаю. Вас тут, навериое, большииство, готовых на этот «подвиг»... Ну, а дальше-то? Ради чего? Что у вас начнется потом? Может ведь возникнуть и закрепнться такая практика самовырезания, что и сами вы взвоете, да поздно будет!

Вокруг Миронова возннкло какое-то несогласное окостенение. Каждый из противнннков готов был взорваться, и первым не выдержал слабовольный Кутырев:

— А разве Миронов сам не пытался нас унизить на мнтинге?! — закричал он.

— Пытался, — сказал Миронов спокойно, потому что интуитивно ожидал такого вопроса-вопля. — Пытался, только ие вас, а некую ошибочную линию я хотел уннзить, какая весиой возобладала в практике работы в некоторых ревкомах, в том числе и в Урюпинской... И мне это было очень важно: выявнть линию и уничтожить ее...

Он перевел дух и виовь заговорнл тем же увещевательным н каким-то примиряющнм тоном:

— Хочу сказать тут об отношенин к простому люду... В молодости, до службы, я, братцы, носил в душе такое дорогое чувство для меня, что вроде нет ие только вокруг меня, ио и иа всей земле такого человека, которого бы я ие любил, ие жалел. Честное слово! После-то я тоже стал разделять людей иа добрых и злых, честных и дурных, но лншь в своем кругу илн из высшего, командно-офицерского слоя. А что касается простонародья, то я до сих пор, кроме любви и уваження к нему, ничего не испытываю, сохраннл в душе до сих пор. И я, с этой точки зрения, не мог понять некой вашей свнрепости к трудовому казаку, товарищн, и всегда буду за это критнковать, а то и высменвать!

— Что за лирика? — усмехнулся Ларин.

Миронов ие обратил никакого вннмания на реплику. Ему важно было высказаться до конца, и он продолжал:

— Я не думаю, друзья, что вы так уж «от душн» перегибали палку с этнмн репрессиями на Хопре и в других местах... Ей-богу, вы н там желалн одного: выслужиться, исполнить с преизбытком гнусный прнказ, а что же вышло? Вышло, что приказ был ложный, ошибочный, а возможно, даже и вражеский, судя по арестам в Воронеже и Морозовской, напрнмер... Ну а коммунисты, по моему глубокому убежденню, должны служнть делу сознательно, а не механнчески, как в басне Крылова «Пустынннк н медведь». Медвежьи услугн, онн ведь не нужны ннкому и наказываются с теченнем времени...

— Стыдно, товарищн! — выкрнкнул из своего угла Данилов.

— Нет, не стыдно! — поднялся все время молчавший Болдырев и вытянул руку, как будто собрался говорить с трибуны, на мнтинге. — Мы хорошо знаем, чего мы хотнм, а знает ли товарищ Мнронов, чего он добивается? Откуда у него такая манння велнчня, что он готов обсуждать даже прнказы сверху? А манния величия у него — как у якобы непобеднмого военспеца! Понимаете? Конечно, может выпасть такая удача, что твою нмейно дивизию обошлн «вежлнвые» красновцы, а соседей порубили на мясо, так этнм надо гордиться? А еще и такие речи я слыхал: у Миронова, мол, и при старом режиме восемь орденов было, ге-р-рой, да и все! А надо бы поинтересоваться, за какие такие подвиги те ордена! За некоторые царские награды надо бы плакать, а не гордиться: были ордена, помним, н за выслугу, и за преданиость трону...

Миронов все стоял с костяным, одеревеневшим лицом и слушал. Но при последних словах Болдырева надел свою фуражку со звездочкой на вспотевшую голову и сказал с едва сдерживаемым бешенством:

— Разрешите... удалиться?

Сразу вскочил Ефремов, закричал на Ларнна:

— Вы же н меня поставили в глупейшее положение! Я приглашал сюда Миронова! Куда? Я приглашал на деловое заседание, а не на проработку компанией! Закрывайте этот... эти посиделки, я тоже ухожу!

— Кто «я»? Кто вы такой вообще, Ефремов? — громыхнул Болдырев.

— Я большевик, коммунист, — сказал покрасневший, словно из жаркой бани, Ефремов. — И не чета вам, Болдырев! Вы в партии без году неделя, болтались в семнадцатом, как г... в проруби, все собирались Казачий отдел Советов разогнать!.. И я послан из Козлова комиссаром в корпус Миронова, приказ еще не отменен, товарищ Скалов выяснит это!

— Приказ этот не станут утверждать, — сказал Болдырев холодно и спокойно. — Советую идти ко мне в дивизию эскадронным политруком.

Опять на мгновенне стало тихо.

— Так же нельзя, товарищи, — раздался громкий, сильно окающий голос латыша Маттерна. Он встал в дальнем простенке, между занавешенных окон, н зарокотал, как из тучи: — Товарищ Мнронофф — наш комаитнр, он войске пользуется афторитетом. Тумаю, что непрафильно мы тут пропапатываем беспартийного комантира, надо это... расобраться как-то по-человечески. Тофарищ Рокочефф, я тумаю, иато сакрыть этот засетанний, расопраться спокойно н ф рапочем порътке.

Он сел, образцово соблюдая порядок и дисциплину.

— Тем более что нет с нами товарища Скалова, — поддержал Булаткин.

Миронов посмотрел сбоку на алую розетку ордена, влитую в крутую грудь доброго конника из Сальских степей, и снял фуражку, решил отложить свой уход. Большинства н на этот раз у Ларина и Рогачева не было. Уходить собрались Ефремов, Маттерн, Даннлов ну и, разумеется, нынешний ординарец комкора, прибывший из Казачьего отдела, Никандр Соколов.

Булаткин отошел к двери, сказал в лад Маттерну:

— Давайте отложим. До прнезда Скалова, — и толкнул двери наружу.

Была темная августовская ночь. Прохладно и мокро мигали звезды. Все молча прошли к штабному вагону, постояли, покурили во тьме. Соколов проверил посты и сказал, что охрана в порядке, можно расходиться по квартирам. Ефремова Миронов позвал в свой салон-вагон.

«Хорошо, что на этот случай нет Нади, растревожилась бы!» — тяжко вздохнул он в пустоватом и гулком помещении. Кинул фуражку на рожок вешалки, нервно огладил пальцами опавшее, пергаментно-бледное лицо — недавняя выдержка дорого обошлась, все кипело внутри.

— Ну? — резко спросил он, стоя посреди салона.

Он знал, что Ефремова прислали в корпус с ведома члена ЦК Сокольникова н видного партийца Трифонова, да и не возражал против этого Ходоровский. Поэтому не считал его отстраненным, человеком «не у дел», как считали сторонники Ларина. Да н видно было, что этот мандат Сокольникова еще действовал, несмотря на опротестование Сырцовым...

— Ну, товарищ Ефремов, как же назвать этих людей? Во имя чего — грызня? И почему Болдыреву понадобилось поставить под сомнение даже прошлое Миронова, которое всем, каждой собаке на Дону, ведомо? Почему, наконец, его никто не призвал к порядку?

Прошелся туда-сюда по салону, освобождаясь от напряжения, ставя каблуки мягко, без стука, н вдруг засмеялся широко н открыто:

— Понимаешь, Евгений Евгеньевич, я уже начинаю действительно, как неграмотный станичный дед какой-нибудь, всех партийцев делить на большевиков н коммунистов, вроде тут две группы людей. Но ведь это — ошибка, верно?

Он в чем-то хотел еще разубедить себя.

— Опыт с Мосиным-Мусиенко должен вас немного бы успокоить, — сказал Ефремов, обходя в этом разговоре фракционную неразбериху и подпольные течения в партии. Но Миронов хорошо понял этот его маневр.

— Не совсем успокаивает, к сожалению, — сказал он и снова усмехнулся. — Да и неграмотные старики, они тоже отчасти озадачены! Да. Большевики выдвинули народные, вполне понятные лозунги о мире, земле, рабочем контроле, провернули народную нашу революцию в Октябре — честь им и хвала! А тут при-

ходят разные канцелярнсты в пенсне, в белых воротннчках и визитках не нашего покроя и давай реквнзировать, экспроприировать все без разбору! Даже трудягу мужика, лапотника — в мелкого буржуя записали, куда уж дальше! В довершение всего требуют непременных коммун. Ну, какие сейчас могут быть коммуны, скажите вы мне? Получается простое отторжение земли у того же крестьяннна в пользу неимущнх и непроизводительных групп, зачастую деклассированных элементов деревни, н только. С какой целью? Разве для грядущего голода н повсеместных мятежей?

Ефремов молча смотрел на командира, соображая некоторые возражения о коммунах, но Миронов не давал ему высказаться.

— Из-за этого «углубления» классовой борьбы в деревне половина мужиков либо начинает войну с коммунарами, уходнт в зеленые, либо вообще отказывается пахать и сеять! Разве неясно? И куда так заторопились эти «леваки» из ваших, товарищ Ефремов? Я ведь не стесняюсь на митингах говорить это: сначала надо укрепить Советы иа местах на основанин первых декретов... то есть иа подушном разделе земли, а наши урюпинцы либо возражают, не долго думая, лнбо запросто объявляют меня эсером, скрытым агентом Деникина... Не хотят онн понять н другого: продразверстка — дело временное и чрезвычайное во всех смыслах, ее ввели в прошлом году, уповая на скорое окончание гражданской войны, об этом и в газетах было написано черным по белому. Я сам читал, н все читали! Но война перекннулась н в год девятнадцатый, да и захватит, возможно, год будущий! Планы, онн не всегда складываются... А Ларнн с компанией вновь готовы прнбегнуть к продразверстке, как некоему унниверсальному средству! И никто не думает, что, еслн так протяиется, через год мужнк вообще перестанет сеять!

— Продразверстка — дело вынужденное, но пока что необходимое, — сказал Ефремов заученно. — Тем более что у кулаков хлеб еще есть.

— Я читал у Леннна, что кулаков в русской деревне — чнсленио — ие более пяти процентов. Этим вряд ли иакормишь города и армию... Ну, ладно. Теперь вот о наших местных расхождеииях... Почему мие прямо ие говорят, что я такой-сякой, ие нужен, должеи уйти? Потому, иаверное, что не хотят огласки, ие хотят, чтобы рядовые казаки после разбежались кто куда? Но что ж это за политнка? Раньше меня отправили в Смолеиск, на Западиый фронт, я понимал уже тогда, что это своего рода ссылка, ио смирился. Во нмя высших интересов революцин. Но теперь новая ссылка, в Сараиск! Вот что делают так иазываемые коммунисты. Впрочем, я зиаю кто это все делает. Остается только застрелнться!

Ефремов уже прнвык и знал: когда Мнроиова вот так занесет, он в горячности говорит миого лишнего, с перехватом. Человек, только что иаписавшнй большое нсповедальиое пнсьмо Ленину — о чем Ефремов тоже зиал, — ие стаиет стреляться! Пустое. Но надо тем более остановнть н успокоить комкора Мнроиова.

— Филипп Кузьмич, у вас иа руках маидат ВЦИК. Из этого надо исходить в первую очередь. Не горячиться. Мы должны разбить Деникина, никто другой... Даже если в группе Шорнна, то нас пустят авангардом! Второе. Я завтра выезжаю в Козлов, встречусь с Сокольниковым и Ходоровским, доложу самым подробным образом. О себе — тоже. И наконец, Кузюбердин обещал пополнить состав полнтотдела за счет партнйных казаков из Москвы. А тогда н посмотрнм.

Молодому этому комнссару Мнронов доверял полиостью. Поэтому откровенно махнул рукой, ннкак ие полагаясь на успех поездки.

— В Реввоенсовет? Это значит — снова к Троцкому? — и словно сник в безнадежности. — Надо бы вам в Москву, только к Леиину!

И повторил еще раз, когда Ефремов уже собрался уходнть:

— Да, да, только к Ленину!

Утром Ефремов снова зашел в салон-вагон командующего — проститься перед отъездом. На столе Миронова лежала свежая оперативная сводка. Сам Миронов был прн шашке, в полиой боевой готовности, хотя н сндел развалясь за столом. Поднял на вошедшего тяжелые, убивающне своей неподвнжностью и налнтые гиевом глаза.

— Вот. Пока мы с вамн совещались, генерал Мамонтов прорвал фроит на стыке 8-й и 9-й армий... Слышите, где именно? В районе Новохоперска, близ станцнн Анна, как раз там, где мы начинали формнровку и где у нас был бы теперь жнвой боеспособный корпус! А? Но оттуда нас предусмотрительно сняли по приказу высшего командовання, как будто с умыслом, расчистив дорожку белым... Сначала на Донце, теперь под Воронежем! Проклятые «носовичи»![1] А Мамонтов прошел за сутки семьдесят верст и мчит без помех, церемоннальным маршем! Рубит, стреляет и вешает наших же, ни в чем не повинных людей! А?

Обида стнскнвала ему горло удавкой. Сказал почти полушепотом:

— Передайте там, в штабе фроита, что еслн корпус и дальше будут держать в замороженном состоянии, ие вооружеииым и в бездействин, то я... подиму его по тревоге! Сам по путн найду н бойцов и оружие!

— Этого нельзя, товарищ Мнронов, — сказал Ефремов строго. — Ждите прнказа. Только прнказа. Я выезжаю.

Миронов пожал ему руку, пожелал успеха.

Почти у выхода нз вагона Ефремова случайно повстречал Болдырев, шагавшнй на доклад со своим ординарцем. Не задерживаясь, заметил с усмешкой:

— В Козлов спешите? Напрасио! Ничего не выйдет, я же предложил вчера: идите ко мне в эскадронные политруки!

— Мамонтов прорвал фронт, — как бы ие слыша нздевки, мрачио сказал Ефремов и заспешил к пассажирским вагонам.

---

[1] Носович — вренспец, бывший иачальник штаба Южного фронта, перебежавший к белым.

ДОКУМЕНТЫ

Доклад члена РКП(б) Ф. Кузюбердина Казачьему отделу ВЦИК 19 августа 1919 г.

Об Особом Донском корпусе, формируемом Мироновым

Корпус должен быть сформирован к 15 августа, а 19 августа он находится только в зачаточном состоянии, вместо предполагаемых пяти дивизий имеется одна из трех полков: 1-й полк с лошадьми и винтовками, 2-й полк без лошадей и винтовок и 3-й кавполк... без людей и лошадей.

Ни людей, ни вооружения не дают, никакого содействия не оказывают. По всему видно, что Особого Донкорпуса Миронову не сформировать.

Как личность Миронов пользуется огромной популярностью на Южном фронте в хорошем смысле. Армии Донского фронта под командованием Миронова с большим желанием будут бить Деникина. Все донское революционное казачество чутко прислушивается, где находится и что делает Миронов.

За Мироновым идут потому, что Миронов впитал в себя все мысли, настроения и желания народной крестьянской массы в текущий момент революции и потому в его открытых требованиях и желаниях невольно чувствуется, что Миронов — есть тревожно мятущаяся душа огромной численности среднего крестьянства и казачества и как человек, преданный соц. революции, способен повести всю колеблющуюся крестьянскую массу против контрреволюции.

Миронова надо умело использовать для революции, несмотря на его открытые и подчас резкие выражения по адресу «коммунистов-шарлатанов»... Итак, первопричина недоверия к Миронову — это вообще его популярность <...>

Заключение

Корпус не сформирован и еле формируется. Красноармейцы вооружены против политработников. Политработники вооружены против Миронова. Миронов негодует, что ему не доверяют... Вследствие этого вид тов. Миронова производит впечатление затравленного и отчаявшегося человека. В последнее время т. Миронов, боясь ареста или покушения на его жизнь, держит около себя охрану...

Миронов, по моему мнению, не похож на Григорьева и далек от авантюры, но григорьевщина подготовляется искусственно, хотя, может быть, и не злоумышленно, и немалую роль в том играют политработники. Миронов может быть спровоцирован и вынужден будет на отчаянный жест...

Если Казачий отдел по-прежнему находит необходимость формировать Особый корпус, то в первую очередь необходимо заменить политработников и в качестве комиссара выслать к Миронову одного или двух членов Казачьего отдела ВЦИК[1].

Почтой, из Пензы
Москва, Кремль, Казачий отдел ВЦИК

[1] ЦГАОР, ф. 1235, оп. 82, д. 15, ч. 1, л. 350—370.

О недопущении к работе тов. Рогачевым новых политработников

Получить ответственной политической работы в Особом корпусе тов. Миронова не удается, потому что на должности политработы и политкомов полков, сотен назначены лица — бывшие комиссары станиц Дона, тогда внесшие разложение в среду казачества, теперь же не отвечающие желаниям массы войск.

Вместо политической работы дают нам задания по заготовке сена, службу в интендантстве, обслуживание клубов, чайных.

Чекунов, член Казачьего отдела ВЦИК, член РКП(б)

Страхов и Соколов, члены РКП(б)[1].

19 августа

5

В тридцати верстах от Москвы, в Ильинском, бывшем имении великого князя Сергея Александровича, — покой и тишина.

Белый двухэтажный дом старинной постройки со стороны похож на огромный волжский пароход... Живали в нем когда-то Герцен, Огарев, потом дом этот приобрел великий князь, а теперь здесь первый советский санаторий или дом отдыха для старых подпольщиков, боевиков партии и политкаторжан. Вокруг старой усадьбы — зеленые луга, река, дивный простор...

Александр Серафимович не жалел, что поддался настояниям Розалии Самойловны Землячки. Секретарь Московского комитета партии, она прямо требовала от него успокоиться, отойти на время от общественных дел и забот, подлечить нервы, не усложнять вопросов. Он согласился. В Ильинском хорошо кормили, никто не дергал, не было желающих обвинить в каком-нибудь неожиданном «литературном уклоне». Наконец, здесь он мог закончить свою пьесу о революции, которую ждали от него фронтовые театры и агитбригады.

Но, странное дело, отчего-то не писалось ему. Не мог войти в здоровую колею после споров в пролеткульте: там требовали писать такие «массовые» пьесы-зрелища, в которых герой никак бы не выделялся из масс. Никаких героев, только массы олицетворяют и свершают все!

Хотелось выговориться, освободить ум и душу от этой псевдореволюционной блажи, но люди в санатории были все больше незнакомые, далекие от вопросов литературы, да и с возрастом он все труднее сходился в дружбе и приятельстве.

Соседом по комнате был моложавый, толстенький, улыбчивый человек, уроженец Южной Украины, но приехавший всего два года назад из Америки, человек совершенно удивительной судьбы. Звали его Владимир Наумович, он с удовольствием рассказывал о своих приключениях.

В свое время пришлось ему изведать и поселение в Сибири — по какому делу, Серафимович спросить постеснялся, — потом он по молодости лет и резвости

[1] ЦГАОР, ф. 1235, оп. 83, д. 13, л. 172.

ног рванул в Маньчжурию, оттуда в Японию и Америку. Исколесил эти «Соединенные Штаны» (как он называл страну) вдоль и поперек, жизнь изучил «во всех трех измерениях»... Работал на лесных промыслах, пас крупный рогатый скот и доил коров на фермах в Техасе, был забойщиком на прокладке туннелей, пришлось побывать и пароходным кочегаром. В Канаде видел лосей, а в Южной Америке дикобразов, которых там, между прочим, называют иглошерстами... Особенно со вкусом рассказывал Владимир Наумович про пастушеские обязанности в Техасе, повадки скота на ранчо, инстинкты лосей и иглошерстов. Речь его была занятна, не лишена даже и художественных тонкостей, но Серафимович отчасти не доверял всем этим рассказам, поскольку белые, нерабочие руки и выхоленное, улыбчивое лицо Владимира Наумовича никак не отвечали тем тяжким подробностям жизни, в которой будто бы пришлось барахтаться их обладателю.

— Вы могли бы все это записать, — между делом посоветовал Серафимович. — Получились бы неплохие рассказы для печати. Русским рабочим было бы все это интересно... Но как вам удалось именно в такое бурное время выбраться из американских джунглей и пересечь океан?

Владимир Наумович, весьма расположенный к пожилому писателю, пошутил с некой пропащей беспечностью, махнул неопределенно рукой:

— Я, к вашему сведению, ведь сын коммерсанта, для нас эти транзиты не в тягость, откровенно говоря. Отец в свое время наторил дорожку туда и обратно... Ну, как только разразилась мартовская революция, мы — большая группа интернационалистов — сразу же и вытребовали себе визы через океан. Со стороны Керенского никакого противодействия не было, скорее наоборот. Он тогда считал, по глупости, что для закрепления революционных позиций следует стянуть в Россию как можно больше горючего материала...

— Не всех, не всех, — усмехнулся Серафимович. — Насчет большевиков, например, он придерживался другого мнения, обращался к немцам, чтобы не пропускали через границу!

— О «межрайонцах» он, представьте, был другого мнения. Не странно ли? Таким образом, мы с вами, Александр Серафимович, вместе заседаем ныне в Моссовете. И здесь, в Ильинском, тоже рядом...

— Тогда понятно ваше стремление к путешествиям по Америке, — засмеялся одним ртом Серафимович. — Вы при всем том выполняли, конечно, поручения своего центра?

— Отчасти — да. Иначе просто бы не выдержал всех этих тягот!

На другой же день выяснилось, что выдержкой Владимир Наумович вообще не отличается. После обеда, когда вышли на веранду, он посетовал вдруг на плохой стол:

— Вы заметили: молоко сегодня — не цельное? А? Интересно, с каких ферм поставляют? И потом — рыба... черт знает, какой-то частник с местных прудов, одни колючки и жабры! Неужели семги нельзя достать или стерлядки — ведь мы, наконец, в России!

Серафимович не успел собраться с мыслями, как Владимир Наумович сам же и нашелся с ответом:

— Впрочем, вы видели этого местного эконома-подрядчика, или, как его по-новому называют, заведующего хозяйством? По-моему, он просто нечист на руку. Я узнавал, фамилия у него Грек, но никакой он не грек, а просто мелкий комбинатор с Молдаванки! Да. Не сообщить ли в Наркомпрод, Карахану или даже самому Цюрупе, чтобы этого Грека выгнали в три шеи?

Владимир Наумович заседал в Моссовете, был отчасти хозяином этих порядков, но не изжил в себе ощущения гостя и поэтому привередничал, — понял Серафимович. Хотел напомнить одно четверостишие из пролеткульта по поводу нынешнего положения с пайками, но не успел. Сосед уже острил по другому поводу:

— Вы не находите, что наш русский язык... м-м... несколько... экс-цен-тричен? «Гнать в три шеи» — представьте?

— Действительно, — кивнул Серафимович согласно. И как-то потерял сразу интерес к разговору, да и к заморским историям и приключениям Владимира Наумовича. Брал книги, большой блокнот, уходил по тропе в лес, к реке... И посмеивался, довольный, что не успел прикипеть душой к новому приятелю, не выложил ему все свои недоуменные мысли и жалобы на нынешних «ничевоков нового покроя» из пролеткульта, на литературные несуразицы переходного периода.

Вот ведь пустобрехи!

Главный специалист по новой культуре Плетнев, ничего никогда не написавший ни пером, ни кистью, собрал вокруг себя каких-то бойких мальчиков из Могилева, Родова и Лелевича, им по восемнадцать лет! Авангардисты с ночного горшка! — и вот теперь они диктуют новые, революционные правила в искусстве, утверждают героический пафос без... героя. Только в массе! Отец Лелевича, мелкий поэт-фельетонист, печатался под псевдонимом Перекати-поле... Черт знает что! Изобрели вот новый жанр поэзии, поэмы-«коммунэры», а классиков скопом с Пушкиным и Лермонтовым «сбрасывают с корабля современности». Такие вот дела.

На молодежных вечерах орут с подвыванием вирши:

Это был — труба, барабан! Их последний — да, раба!
И реши... — жик-жах! Тельный бой — иив и шахт!
С интер — пулеметы — наци...
Дзум-пыйх — биалом
Воспря — труба, — иет, род — барабан
Людской. Дуи! ввв!..

На памяти были и те плакатные стихи, которые он хотел прочесть Владимиру Наумовичу по поводу его жалоб на обеденное меню:

Товарищ, кольцо сомкнулось уже!
Кто верен нам, берись за оружье!
Братец, весь в огне дом,
Брось горшок с обе-дом!
В зареве пожарищ —
До жранья ль, товарищ?!

Наркомпрос Луначарский называет все это вздором, но воевать с ними почему-то не воюет, многие говорят, что «себе дороже...». Больно зубастые ребятки! Но пьесы настоящие для революционного театра все-таки необходимы, черт вас всех забери! На «коммунэрах» далеко не уедете, поверьте старому воробью! Серафимович и сам не знал, плакать тут или смеяться...

Еще недавно, всего-то два года назад, он воевал, спорил и горячился по другому поводу и окончательно разошелся с прежними друзьями по литературному цеху — Андреевым, Чириковым, Телешовым и даже Шмелевым, до смерти напугавшимися в революции того самого народа, над судьбой которого они печалились и пели ему осанну единым, хорошо спевшимся хором. Была с ними крупная ссора, которую хоть можно понять. Они ушли. Из жизни, из России — кто куда. Но свято место пусто не бывает: место писателей, откачнувшихся от нового дела, тут же заняла какая-то мошкара, которая ничего не смыслит в культуре, но тем не менее диктует свои условия...

Те злословили печатно, что-де «Серафимович продался «Известиям Совета рабочих и солдатских депутатов» за хорошие деньги», эти же потихоньку муссируют мысль, что Серафимович вообще-то никакой не пролетарский писатель, если остро атакует авангардизм и отстаивает старые жанры в литературе, а кроме того, защищает мелкобуржуазных попутчиков вроде Вересаева или Сергеева-Ценского...

Горько.

И при всем том уже два месяца нет писем от сына Анатолия, а ведь он не на пикник же уехал, а на фронт, да в самое пекло, против Деникина, там каждый божий день — игра со смертью!

Серафимович бродил в одиночестве близ старой усадьбы, забивался в лес, подальше от исхоженных тропинок, пристраивался где-нибудь на пне или поверженной ольхе и пробовал дописывать свою пьесу «без героя». Но его вновь тянуло к мысли о сыне, ближайшим заботам, давило тяжкое чувство зависимости от того, что свершалось где-то на стороне, вне пределов его власти и воли. Тяжело все-таки в такое время иметь взрослых сыновей!

С этим старшим Толей вообще беда. Бывали муки просто непереносимые... В самый критический момент боев с юнкерами в Москве позвали однажды к телефону. Сердце оборвалось от предчувствия, и тут голос, грубый, мужской, совершенно как будто спокойный:

— Вы писатель Серафимович?

— Да. Что случилось?

— Кремль только что взят юнкерами. Ваш сын вместе с другими пленниками поставлен под расстрел.

— Но... как же? Кто вы, откуда говорите?!

— Мне удалось его вывести, он жив. Но тут другая опасность: нас чуть не разорвали дворцовые служители, челядь... Кричат: большевиков покрываю! Грозят, но я употреблю все усилия...

— Кто вы?

— Я офицер. Жил когда-то на Дону...

— Я сейчас приеду... — заметался Серафимович.

— Боже вас сохрани, только испортите дело! Ждите нас где-нибудь у Кремля, нам потребуется убежище.

В самом деле, сын побывал под расстрелом. Всех безоружных, сдавшихся красногвардейцев ставили толпой к стене, били по ним из пулемета, люди корчились в стонах и крови, другие бежали врассыпную и падали замертво в нескольких шагах. Сын с товарищем забились за немецкую пушку, музейную, тем и спаслись. Тут этот офицер подбежал, выручил...

Между прочим, за несколько минут до избиения Анатолий увидел среди карателей сына директора гимназии Адольфа, на год раньше окончившего гимназию и теперь произведенного в офицеры.

— Подтвердите, что я гимназист из гимназии Адольфа, — попросил Анатолий. Гимназия была известная, учились в ней больше дети состоятельных граждан. Бывший сотоварищ по спортивным играм и библиотеке повернулся к юнкерам и сказал с мужественным хладнокровием:

— Этого... первым надо расстрелять: он большевик, и отец его большевик.

Хорошо, что юнкера не поставили сына перед строем, а просто оттеснили в толпу избиваемых...

После, когда повстречались, Серафимович почти не узнал сына: чужое, отстраненное лицо, чужие глаза, рассказывает обо всем спокойно-равнодушно, глуховатым голосом смертника, темно усмехаясь...

Такие петли вязала их жизнь с самого начала революции. А теперь вот о нем никаких вестей...

Вот уже и середина августа, по вечерам прохладно, от речки тянет сквознячком осени, после ильина дня нельзя купаться, на старых липах и березках уже проскальзывает первый желтый лист. Эти дни — прекрасное время для работы, но пьеса почти не продвигается, тусклое какое-то состояние, право... Предчувствия давят на сердце.

И не спится. Ни днем ни ночью нет забвения.

...Однажды в распахнутое окно к Серафимовичу кто-то бросил маленький сосновый сучок, обернутый листком бумаги; оказалось, записка: «М. Г.! (Милостивый государь) не сможете ли разделить скуку одного праздноотдыхающего старца? Очень хотел бы с вами познакомиться лично, так как читал ваши книги. С почтением, искренне ваш К. Т.».

Серафимович подивился шутливости приглашения и выглянул за окно. Внизу терпеливо стоял с поднятой головой в шляпе-канотье сухонький, седенький старичок профессорского вида, с тросточкой, в просторной дачной блузе и парусиновых брюках. Стоял и смотрел в окно Серафимовича с простодушием шалившего мальчугана, и только седая длинная бородка лопаточкой да трость, отставленная упором в сторонку, удостоверяли почтенный возраст шутника. Глаза, впрочем, молодо усмехались сквозь прищур.

— Простите, что побеспокоил вас, возможно, в рабочие часы, но... узнал, что вы здесь, и не стал ждать! Спускайтесь, пожалуйста, на землю, пользуйтесь тем, что хоть погода стоит превосходная, право!

Старичок снял шляпу-канотье и картинно отвел руку со шляпой, как бы приглашая входить в его обширные апартаменты. Под шляпой обнаружились еще здоровые, упругие волосы на прямой пробор (не то, что у Серафимовича!). Серафимович тоскливо провел рукой

по лысоватой своей голове, кивнул с дружелюбной готовностью и спустился вниз.

— Профессор Тимирязев. Прошу любить, как говорят, и жаловать, — представился веселый старик.

Серафимович смутился и прижал руку к груди. Шутливость мгновенно оставила его, пришлось чинно пожать руку и тоже отрекомендоваться.

— Ну и слава богу! — весело заговорил Тимирязев, не желая менять уже избранного им беспечно-веселого настроения и общения на этом курортном досуге, среди высоких сосен и белых колонн усадьбы. — И слава богу, что вы тоже простой и милый в обхождении! А то прямо беда, одни служебные лица и курьеры! Курьеры, курьеры, сорок тысяч одних курьеров, не правда ли?

Серафимович сразу освоился с ученым человеком, почетным членом Российской Академии наук, а также Оксфорда и Кембриджа, и вдруг заразился его настроением, веселостью:

— Простите, профессор, а что вы сего дня изволили... есть за обедом? — спросил, смеясь.

— Как то есть? Каков был паек, вы хотите сказать? Но вполне, знаете, приличный паек: какое-то молоко, хлеб, даже рыбка с жареной картошкой. А что? По-моему, неплохо, по нынешним-то временам?

— Вот и я думаю, профессор: кормят здесь прилично, забота проявляется отменная, только работай! И люди, как правило, забывают про отдых. Но тут один пансионер, знаете, заскулил по английским сандвичам и гамбургским бифштексам — так странно!

На Тимирязева это не произвело никакого впечатления. Только пожал плечами:

— Кому — что. Мне, например, вот осень на пятки наступает — в прямом и переносном смысле. Все тревожусь: а вдруг дожди? Кашель пойдет, никаким пледом шотландским не укроешься... Но пока погодка держится на славу! — он оглядел голубой свод над верхушками сосен. — Пойдемте, Александр Серафимович, к реке, там такая красота!

Сразу же возникло то взаимодоверие и заинтересованность в общении, когда люди в два-три часа становятся не только добрыми знакомыми, но старыми друзьями до скончания века. Ученый Тимирязев тут же узнал, между прочим, что его книга «Жизнь растений», читанная в юности студентом Поповым, уроженцем станицы Курмоярской на Дону, произвела на студента не только огромное впечатление, но учинила переворот в духовном сознании, освободила от религиозности и некой душевной замкнутости, толкнула к действию. С другой стороны, Серафимович узнал, что после Февральской революции, на выборах в Учредительное собрание, престарелый ученый Тимирязев голосовал по пятому списку, то есть за большевиков, за что и подвергся клевете и гонениям со стороны коллег! Точно так же, представьте, как и Серафимович в свое время...

Серафимовичу было приятно также услышать, что профессор заинтересовался его работой еще году в девятьсот шестом, после памятных событий на Пресне, помнит до сих пор сюжетную канву романа «Город в степи» — а это немаловажно, если прошло уже порядочно времени после чтения, — ну и, разумеется, хорошо знает его великолепный рассказ «Пески», за который сам Толстой поставил молодому тогда литератору оценку пять...

Сближала их общая работа, общая цель и общая же тревога за судьбу своего народа, потому что революция была еще в самом начале, испытаниям и бедствиям людским еще не виделось конца.

Вечером, на закате солнца, они стояли на краю луговой террасы в редких столетних соснах, откуда открывался широкий вид на окрестности с дальними деревушками, краснеющим глиной обрывом за Москвой-рекой, багровым в закатных лучах бором. Вечернее зарево над землей тяжелело, сгущалось мглой и как бы дымилось, точно бы за лесом бушевал огромный всесветный пожар. Ощущение огня и дыма, которого не было в небе, но который как бы предполагался, передалось обоим, они мельком глянули друг на друга и снова оборотились к закатной стороне.

— Какое чудесное пожарище и как волнует! — указал тросткой профессор. — Такую же удивительную картину я видел как-то за Лондоном на Темзе, там подобная игра красок возникает из-за тумана. Знаменитый лондонский туман... А почему же здесь? Здесь, по-видимому, из-за близости войны, залпов и настоящих пожаров?.. — и вздохнул. — Горят, горят на Руси пожары...

— И очень многое сгорает, знаете, — тоже вздохнул Серафимович. — Очень многое... Я уж отчасти начинаю понимать даже записных либералов, которые в самом начале посыпали пеплом главу и завопили на разные голоса: «Все кончено, все пропало!..» Очень много потерь, дорогой Климентий Аркадьевич. Поневоле затомишься душой.

— Да. Минуты роковые мира сего, — сказал Тимирязев, хитро щурясь перед багровым разливом заката, опираясь слабой рукой на сухую трость. — Но, знаете, должна быть вера. Ибо испытания могут быть совершенно по апокалипсису, хоть я и атеист. Да! О Лондоне я вспомнил не ради юношеских воспоминаний, а именно в связи с возникшей картиной этого всепожирающего пламени. Именно тогда я прочел у Байрона сильно поразившие меня стихи о Москве и России, которые теперь случайно пришли на память, через столько лет!

— Байрон о Москве? — подивился Серафимович.

— Представьте себе. Он там поминал пожар Москвы двенадцатого года, при нашествии французов. И, конечно, симпатизировал нам, России, Москве. Нет пока хорошего перевода этой поэмы, но дословно если, то стихи такие... — Тимирязев прочел:

Единственной в веках,
себе в истории соперницы не зная,
Ты выстоишь и в час того пожара,
грядущего,
В котором все империи, враги твои,
Погибнут!

— Так у Байрона, в оригинале, — сказал старый профессор.

Серафимович надолго задумался.

Закат темнел, понемногу истаивал по краям, почти не дымился.

— Видимо, такая уж судьба России и нашего народа: все преобороть, все пройти, — сказал Серафимович.

— Иногда впадаешь в робость действительно, и страшно становится, когда интеллигентные люди закрывают лица тонкими, немощными ладонями, как мусульмане в молитве, и повторяют, как заклинание: все кончено, все пропало! — сказал Тимирязев. — А вот один старичок в Калуге, наш смешной астрофизик Циолковский, недавно сказал на это, как бы мимоходом: «Ничего не кончено, милостивые государи, все только еще начинается!» — посмотрел на Серафимовича и повторил со вкусом: — Все только начинается! Каково?

— Мысль, конечно, афористически завершенная, — сказал Серафимович. — Жаль только, что высказал ее не философ, не «властитель дум», а именно естественник, человек точной науки.

— Поскольку «властители умов» наши, от интеллигенции, находятся в некотором смущении перед грандиозностью мира сего, то высказываются специалисты сугубо приватные, так сказать. Это не в обиду...

— Да, но каков все-таки закат! Не иначе как к порядочному ветру, — сказал, посмеиваясь, Серафимович.

На душе немного отлегло. Возвратились к ужину затемно, когда в окнах дворца празднично зажглись лампы.

...Ночью был небольшой заморозок, и когда Александр Серафимович поутру выглянул в окно, по глазам как бы ударила и ошеломила ярко-бронзовая, рыжая какая-то осинка, растущая напротив. В одну ночь ее одела в багряней подступавшая к порогу осень. К стеклу липла воздушно-легкая паутина, пахло сентябрем, и хотелось уюта за письменным столом, работы.

Было ощущение какого-то сдвига, он поверил, что до вечера обязательно получит письмо или какую-либо другую добрую весть о сыне. В обед принесли почту, письма не оказалось, а Владимир Наумович сообщил тайно, за столом, что новости из Москвы плохие: снова урезаны хлебные пайки и на фронте большие неприятности — вражеская конница под Воронежем и Тамбовом перешла в наступление...

Пожары горели по России.

(Окончание в следующем номере)

Анатолий Дмитриевич Знаменский

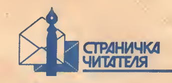
КРАСНЫЕ ДНИ

Роман-хроника

Редактор *Г. Панкратова* | Рис. *В. Терещенко*

Художественный редактор *А. Максимов* | Технический редактор *Л. Ковнацкая*
Корректоры *Н. Усольцева, Т. Калинина* | Фото *Н. Кочнева*

Сдано в набор 03.10.88. Подписано в печать 18.11.88. Формат 84×108 1/16. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 13,02. Уч.-изд. л. 16,36. Тираж 3 400 000 экз. Заказ 2618. Цена 1 р. 44 к.
Адрес редакции: 107882, ГСП, Москва Б-78 Ново-Басманная, 19.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература»
Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполиграфпром» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 142300, Чехов Московской обл.



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

На многие Ваши вопросы мы уже ответили, но почта приносит все новые и новые письма. Они изучаются, анализируются. Сегодня мы публикуем вопросы, которые чаще всего встречались в почте последних месяцев 1988 года, и редакционные ответы на них.

Когда будет выходить «Роман-газета» для подростков и юношества? Уточните ее название, подписной индекс, тираж.

В прошлом году вышли четыре первых номера «Роман-газеты» для подростков и юношества под общим названием «Поиск». В них опубликованы «Донские рассказы» и «Судьба человека» М. Шолохова, «А зори здесь тихие...» Б. Васильева, «Маршал Жуков» Н. Яковлева. «Поиск» распространяется через книжные магазины. Вопрос о том, чтобы сделать его регулярным и подписным, в настоящее время рассматривается.

Почему «Роман-газета» не печатает произведения из отечественного литературного наследия?

Согласно Положению о «Роман-газете», наш журнал призван отражать текущий литературный процесс. В его тематический план включаются произведения отечественной прозы, опубликованные в последние два-три года, вызвавшие живой общественный интерес и получившие большинство голосов наших читателей.

Ваш журнал приходит нерегулярно, хотелось бы получить пропавшие номера.

Письма с подобными просьбами в нашей почте нередки. К сожалению, редакция не располагает резервным количеством экземпляров «Роман-газеты». По всем вопросам доставки журнала надо обращаться в «Союзпечать».

Когда будет напечатано продолжение романа И. Стаднюка «Москва, 41-й»?

В плане издания на 1988 год мы объявили вторую книгу И. Стаднюка «Москва, 41-й». Как известно, «Роман-газета» печатает произведения только после их опубликования в журналах или выхода отдельной книгой. Объявляя в плане роман И. Стаднюка, мы рассчитывали, что в течение 1987—1988 годов он будет напечатан в одном из центральных журналов. Но публикация второй книги задержалась, поэтому мы не смогли включить ее в планы выпуска 1988 и 1989 годов.

В «Страничке читателя» использованы письма Д. Иванова (Таллин), А. Чернышева (Владивосток), В. Гнедова (Волжский, Вологодской обл), С. Стельченко (Волгоград).

1 р. 44 к.
РОМАН-ГАЗЕТА
1
70782